

# **НОВЫЙ ЖУРНАЛ**

**XXVII**

**НЬЮ-ЙОРК**

# **НОВЫЙ ЖУРНАЛ**

Основатель М. ЦЕТЛИН

**THE NEW REVIEW**

**XXVII**

9-й год издания

**НЬЮ-ЙОРК  
1951**

**Р е д а к т о р — М. М. КАРПОВИЧ**

**Секретарь редакции — Р О М А Н ГУЛЬ**

Printed in U.S.A.  
RAUSEN BROS  
417 Lafayette St.  
N. Y. 3, N. Y.

## О Г Л А В Л Е Н И Е :

<b>Алексей Ремизов.</b> — Четыре рассказа .....	5
<b>Н. Берберова.</b> — Мыс бурь .....	20
<b>М. Чехонин.</b> — Матильда .....	57
<b>Н. Воинов.</b> — Беспрizорники .....	67
<b>А. Неймиров.</b> — За океан .....	115
<b>С. Юрсов.</b> — Сегежская ночь (поэма) .....	119
СТИХИ:	
Д. Кленовский	19
	56
Юрий Одарченко .....	114
Г. Кузнецова	158
Т. Тимашева	273
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
Д. Чижевский. — Неизвестный Гоголь	126
В. Коварская. — Американское кустарное искусство	159
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:	
Ф. Степун. — Москва и Петербург накануне войны 1914 г. . .	169
Н. Павлова. — Киев, войной опалённый .....	202

<b>Н. Валентинов.</b> — Чернышевский и Ленин .....	225
<b>Д. Варецкий.</b> — Маршал В. К. Блюхер .....	250
<b>М. Карпович.</b> — Г. П. Федотов .....	266
<b>Памяти Т. Н. Тимашевой</b> .....	272

**ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:**

<b>Ю. П. Денике.</b> — Как открыть Россию?	274
<b>М. Вишняк.</b> — Идейные корни большевизма .....	286
<b>М. Карпович.</b> — Комментарии .....	304

**БИБЛИОГРАФИЯ:**

<b>М. Вишицер.</b> — S. M. Shwarz “The Jews in the Soviet Union”	312
<b>Д. Оболенский.</b> — Russian Epic Studies. Edited by R. Jakobson and E. Simmons .....	317
<b>В. Пастухов.</b> — А. Т. Гречанинов «Моя жизнь» .....	320
<b>Н. Берберова.</b> — А. М. Ремизов «Подстриженными глазами»	322
<b>Ю. Иваск.</b> — Новые сборники стихов .....	324
<b>Е. Рубисова.</b> — Н. Кодрянская «Сказки»	326
<b>Р. Г.</b> — Вл. Гессен «Герои и предатели»	328
<b>Р. Г.</b> — Н. Воронович «Всевидящее око» и «Русско-Японская война» .....	329
<b>Р. Г.</b> — Boris Shub and B. Quint “Since Stalin: a Photo History of Our Time” .....	331

# ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА

(ИЗ КНИГИ «ПОДСТРИЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ»)

## К а м е р т о н

Всё у меня начинается хорошо: «жил-был» и вдруг потеря и на какой-то срок разорение, как пропал. И тут какие-то волшебные силы подымают меня и выводят на свет. Чтобы, в свою очередь, всё отняв, погрузить во мрак.

Отнимается у меня дар, который освещал мою жизнь и вовсе не потому, что я нарушил зарок — «не послушался» — да и не отнимается у меня, отпущенное судьбой на мою долю, «счастье», а только переносится.

Моя левая рука, отмеченная от рождения, раздававшая «счастье», вдруг потеряла силу, но мой счастливый дар чаровать не пропал, он перешел в голос. А пропадет голос, чары перейдут в «слово» и стану читать, как петь.

Моя рука хлопаньем по чужой руке оделяла ее «счастьем», так и моим звучащим голосом то же самое «счастье» перешло к другим.

Когда всё хорошо — «жил-был», не замечается, и только с потерей я как схватывался, что было что-то и вот отнято. Да не «что-то», а «счастье» — источник счастья и себе и другим. Тут никогда в одиночку, а всегда вместе, с кем-то, с миром. Горчайшие «минуты», растягивавшиеся на дни, месяцы и годы, моего недоумения: за что? Вины я никогда за собой не чувствовал.

---

\*) Печатаемые рассказы А. М. Ремизова были присланы автором еще до выхода его книги «Подстриженными глазами», но по техническим причинам не могли быть напечатаны раньше. Редакция считает, что, несмотря на выход книги, публикация этих рассказов в журнале не нуждается в оправдании.

Редакция.

Copyright 1951, by "New Review." All right reserved.

Так случилось, когда мой редчайший «альт» вдруг погас. И от безголосого, как от «безрукого» когда-то, все от меня отвернулись.

Я заметил срок: семь лет. До семи — рука; до четырнадцати — голос.

Я видел ласковые глаза обращенные ко мне, ожидающие от меня мою руку «на счастье». А когда я пел в хоре, сколько было открытого сердца у молящихся, какими глазами — на них еще дрожат слезы — провожали меня, когда я выходил из церкви.

Всё это я видел и чувствовал и сознавал свою царскую власть, так легко мне доставшуюся, потому и с такой болью я принимал утрату, когда все от меня отшатнулись или просто не замечали. Из «исключений» я попадал в «общий порядок». И я, затихший, горбясь, сидел у своего стола или, прячась, проходил по улицам, грубо брошенный в судьбу тех, которым я раздавал «счастье»: меня не узнавали и встречу, помню, безразличный взгляд. В эти «минуты», дни и эти годы, как чувствовал я человеческую обездоленность, весь страждущий мир и пропадающий.

\*\*  
\*

Два хора в Москве: Синодальный и Чудовской. Синодальный — в Успенском соборе; Чудовской — у Храма Христа Спасителя. Оба казенные — митрополичьи. Попасть в такой хор всё равно как в хористы Большого Театра, голоса на подбор. И у певчих форма: синодальные в красных кафтанах (кунтушах), чудовские — в голубых. Синодальными управлял Кастальский — имя для историка русского церковного пения что то значит. Строгий устав, никаких новшеств; сунулся было Рахманинов, так митрополит Владимир только пальцем в воздухе почирикал: «никаких Чайковских!» Столповой знаменитый распев во всё «разливное море» — XVI век Стоглава — так при царе Иване пели, так и нынче поется. В Успенский заглядывали и с Рогожского старообрядцы.

Мое счастье — то-то я наслушался на всю жизнь и храню

в себе голос старой Руси, звучащую царскую трамоту за золотой орловой печатью:

«Черниговский, рязанский, ростовский, лифляндский, обдорский, кандинский, и всея северные страны повелитель и государь иверские земли грузинских царей и кабардинские земли черкасских и горских князей и иных многих государств государь и обладатель».

Редко, но разрешалось приглашать эти столповые хоры на сторону. У московских сорока-сороков были свои частные хоры, не такие богатые, как митрополичьи и не то, чтоб в голосах выбора не было, а просто средств не было содержать хор. Москва любит церковное пение, да уж очень на копейку туга. Частные хоры сипели. И еще расстраивало и без того осипший жидкий хор соревнование регентов: «переманивать» певчих стало за обычай. Было б чем платить, было б дело другое, а то сманят голос, разорят хор, а и у себя не удержать. Положение певчих было самое плачевное.

На первом месте из частных хоров: хор Сахарова и хор Лебедева. Сахаров побогаче, Лебедев победней.

С регентом Василием Степановичем Лебедевым или, как его величали: Стаканыч, — я встретился, когда был в голосе: Стаканыч мне и открыл мое «счастье».

Мы бывали у Лебедева в Таганке на Воронцовской. Был он одинокий, жена померла, а детей не было. Хозяйством управляла свояченица, вдова дьяконница Марья Константиновна Суворовская, которую приютил он с двумя детьми.

Старший племянник Александр учился в семинарии, а младший Николай в Московской Четвертой гимназии, одноклассник с моим старшим братом Николаем, с ними и их товарищ В. Ф. Минорский, старше меня на пять лет.

Суворовский часто бывал у нас и мы у него. Так я и познакомился с его дядей.

Жил Василий Стаканыч совсем не богато: всё, что выручит, всё на хор. В комнатах было тепло, и то слава Богу. Из семинаристов, к Зеленому змию вхожузымальства, любили поставить «стаканчик», обставя, честь честью, солеными и марино-

ванными грибками и всякой водочкой подпоркой. Пил не спеша, а с благообразием, не чавкал и не крякал, а именно «пропускал» легко и со вкусом — смотреть было приятно. Но больше всего любил он церковное пение, свой хор и умозрительные разговоры. Любимым его писателем был В. А. Слепцов, тут я впервые услышал это имя. Да кому было, как не Василию Степановичу со всей отчетливостью и толком воспроизвести слепцовскую «Спевку»; читал он ее, не перепуская букв и не путая строчек.

Голосу никакого, а был он весь «в слух».

Когда он входил в церковь ко всенощной и направляется, не спеша, к клиросу — маленький, в порыжелом несменяемом, закутанный пестрым шерстяным шарфом — с ним входила музыка. Певчие откашивались и всё настраивалось:

«Благослови душе моя, Господи».

Певчие регента побаивались, а любили, и потому что любили, слушались. И даже тенор Хлебодаров — пел сердцем, — переманиваемый и кочевавший из хора в хор, осел на постоянное у Лебедева.

При своем необыкновенном слухе и любви к стройному полногласию, Василий Степаныч частенько ворчал — конечно, ворчал! ведь не всякий и с голосом — ему под стать ушами. И когда он ворчит, губы его пожевывают — мне всегда казалось, что рот у него рыбный: судак.

Суворовский играл на рояли и баготворил Чайковского, но уломать дядю исполнить в церкви из Чайковского — «ладно», но тем и кончалось. У Лебедева была и фисгармония. И когда в первый раз под фисгармонию я начал догматик, Василий Степаныч насторожился, а когда я кончил, он заплакал.

«Пряничков, Марья Константиновна, дайте пряничков!» — засуетился он: очень я растрогал его моим голосом.

И всякий раз, когда мы бывали у Суворовского, я пел под фисгармонию. И если Василий Степаныч отдыхал, он всегда подымается послушать.

И вот я пришел с моим несчастьем проверить: неужто нет средств восстановить мой голос?

«Тебе сколько?» — Василий Степаныч ходил на цыпочках, точно при больном.

«Четырнадцать, — сказал я и чего-то испугался, — на Ивана Купала».

Он подошел к фисгармонии, а я начал любимый его «В черном море» — но только начал и остановился: мой голос, как в граммофоне, вдруг пискнув, сорвался в урчащий бас.

«Кончено, — сказал Василий Степаныч, — не вернуть. Из диксантса бас, а из альта — загадка. Бывает, и ничего. Но, всё равно, твой слух тебя не обманет! — и он вытащил из кармана свой камертон, — что бы ни случилось, бери и храни его: он будет тебе глазом за твоим ухом, с ним не пропадешь. Я передаю его тебе, потому что я тебе верю, понимаешь ты или не понимаешь?»

«Понимаю, — ответил я, — потому что вы верите в мою музыку, хотя бы и остался я безголосый».

Это был мой прощальный вечер.

Помню Михайлов день, выпал первый снег. И домой яозвращался обездоленный, а с каким-то радостным чувством по белой дороге, мне напептывающей зимние сказки, пусть безголосый, но с камертоном — какая уверенность и какая надежда, что моя музыка меня не оставит и непременно скажется — прозвучит.

Помню, Василий Степаныч рассказывал, как этот камертон достался ему не просто, а из рук архиерейского регента Николая Иваныча Кострова из Романова-Борисоглебска, первого колокольного города на всю колокольную Россию, и регент ему сказал: «придет срок, передай тому, кому поверишь несомненно».

Василий Степаныч и до Николы не дожил, перед Пасхой похоронили, и распался Лебедевский хор. А теперь и никого не осталось, кто бы регента вспомнил.

И только его камертон.

Всю мою жизнь во всё мое полувековое кочевье я с ним не расставался. Голоса у меня не оказалось, но всё во мне поет — музыка не покидает меня.

## Англичанин

*(Мое первое напечатанное)*

1890

Гете я нашел у нас на чердаке, как находят золотые зарочные клады. Имя Э. Т. А. Гофманн я услышал от матери. Шекспир и Свифт я получил от дяди. Это не тот известный на Москве «самодур», мой двойник, открывший мне с «Писцовыми книгами» Шевырева, Погодина, Хомякова, Аксаковых, Киреевых, Забелина, Строева, это другой — «англичанин».

Первое, что я увидел в Малом Театре, это «Макбет» с Федотовой и Ермоловой и «Гамлет» с Южиним. А «Гуливер» с картинками — подарок на Рождество с анненковским Пушкиным — первый камень нашей детской библиотеки.

А когда меня заодно с моим братом перевели из IV-ой гимназии в Александровское Коммерческое училище и начались мои английские уроки у знаменитого московского англичанина Маклелянда (застрелен провалившимся на экзамене), я нашел себе такого покровителя, о чем и мечтать не мог: это был старший брат матери и мой крестный — Виктор Александрович Найденов, «англичанин».

\*\*

Странное явление в русской жизни, и что-то не слышно, чтобы такое бывало у других народов: русский человек превращается и без всяких колдовских чар в любого не-русского.

У Тургенева Иван Петрович Лаврецкий, чего рүше, а играет в англичанина. В XVIII и в начале XIX игра во француза по-ветрие, образец у Фонвизина «Бригадир». «Русский молодой человек, возвращаясь из Парижа, привозил с собой наружность парикмахера, несколько ярких жилетов, несколько пошлых острот, разные несносные ужимки и нестерпимо решительное хвастовство». Это я выписываю из «Тарантаса» гр. В. А. Соллогуба.

В наше время — до революции — русские путешественники вывозили из Парижа повадки интернациональных кафе с Сен-Мишеля, отпечатывающих на русских природных рылых неизгладимую печать распущенного ухарства. Стоит вспомнить вечера у Ф. К. Соллогуба (Тетерникова) или, — совсем как в Париже — «Бродячую собаку».

Какой бульвар Сен-Мишель или Монпарнас переняли наши «английские» писатели: Чуковский (Корнейчук), обольстивший такого искушенного в языках, как Брюсов, и Замятин, обезкураживший своей Англией доверчивого, преклонявшегося перед заграничной культурой, Горького, не могу сказать, сам я в Англии не жил.

Но мне всегда при этих «английских» встречах вспоминалось что-то виденное на театре, какой-то с куплетным выстрелом водевиль, где наши, — одессы, как Чуковский, или воронежские, как Замятин, — доморощенные «любители» ломали английскую комедию.

\*\*  
\*

Виктор Александрович Найденов, как все его братья и сестры, окончив Петерпaulьшуле, уехал в Англию и после пятилетней науки вернулся в Москву на Земляной вал «англичанином».

Фабричные рабочие найденовской шерстепрядильной сразу наклеили ярлык «англичанин» в отличие от других хозяев — братьев Найденовых.

«Англичанина» никто не любил. Голоса он не подымет, но никогда и не услышишь от него человеческого слова. К «англичанину» незамедлЯ прибавилось: «скусный» (скушный) и «змея».

Всю жизнь прожил он одиноко на Земляном валу в белом Найденовском доме в семье своего знаменитого брата «Самодура», гремевшего на всю биржевую Москву. Ни малейшего сходства с Найденовыми, сам по себе, подлинно «англичанин». В его лице ничего, что так ярко и резко во мне — из рода суз-

дальского красильного мастера из села Батыева, ни китайских чувствительных бровей, ни тибетских скул. Европеец — Берн Джонс, тонкий профиль и тень печали без всякого намека на Азию.

Ближайший круг его брата «Самодура» — «славянофилы», а ему подавай московских англичан: его знакомые — обрусеши или приезжие англичане, директора московских фабрик и инженеры.

И дома, в обиходе не филипповские и чуевские пирожные изобретения и не от француза Трамблэ, а сухое английское от Бертельса. А в его библиотеке не русские, а английских и немецких имен стена.

Директор найденовского банка на Ильинке — почетное место, а настоящее его дело — он выписывал английские журналы и «беспредметно» следил за литературой, для него единственной с единственным языком английским. А кроме английских книг — оранжерея.

Круглый год парадные комнаты белого найденовского дома ярко цвели и благоухали. Помню, когда я с воли входил в зал, у меня разбегались глаза и кружилась голова, особенно в дни сверкавшие морозом.

Садовник Егор, побывавший с таганским садоводом Дюковым у первых садоводов в Париже, занимал одно из первых мест в найденовской дворне. Егор ходил по двору, не шарахаясь и, кажется, единственный на человека похож: ни всеобщего испуга, ни обязательной оглядки — сам требуя к себе внимания и никого не замечая.

Как набожный англичанин, Виктор Александрович воскресенье начинал с церкви и после обедни каждый нищий получит от него пятак. Нищие его не любили: этот пятак, не обычна копейка, но с какой гадливостью и из какой дали протянутый; обжигающую холодом перчатку и отмороженная рука почувствует.

Я не думаю, чтобы он кого-нибудь любил, но и у него была привязанность, кроме английских книг и цветов, это его Молли. Но живой я эту Молли не видел, я застал ее уже в мраморе —

какое нежное песье творенье. И за эту любимую Молли он имел преимущество перед всеми в собачьем царстве: подтишковые собаченки — напасть бесконечного найденовского двора — за ноги его не кусали, злые, радовались на его ласку. А ведь не было человека, да сколько раз и я терпел от их острого зуба, не уследишь, тяпнут молчком или снежным комом ударятся под ноги, только и знай, что вытаскивайся, как из липкой кусающейся грязи.

\*\*

При первых моих английских уроках я обратился к Виктору Александровичу за разъяснением о произношении — мне долго не давалось «*th*» и «*r*». С этого всё и пошло. И я убедился, что Виктор Александрович Найденов, трудно поверить, подлинно англичанин, не отличишь от Маклелянда.

Большую часть лета он проводил в Москве. Случалось, в воскресенье затевал, по английскому обычая, воскресную прогулку. Меня и моего брата, для которого, «чтобы ему не скучно было», меня перевели из гимназии в коммерческое, вызывали нас обоих к Найденовым отбывать повинность. Он брал нас с собой в Петровское-Разумовское: до вокзала на конке, потом поездом. И «на лоне природы» в молчанку мы пили чай с лимоном. Два часа такой прогулки тянулись для нас без срока, большего наказания не придумать.

Но когда он заговорил со мной по-английски, его не узнать было. Не улыбнется, а тут улыбнется — магия по существу безулыбных английских слов! — улыбнется он по-русски. Некурящий, казалось, вот-вот закурит и добродушно пустит дым сквозь ноздри после вкусной затяжки; непьющий, вот хлопнет рюмку и скажет: «за ваше здоровье». Тут я узнал и историю его любимой Молли: вывез он ее из Англии и как он без нее тоскует, и всегда ему памятна — мраморная, а как живая. И о цветах, сам повел меня в оранжерею, а ведь в другое время, раньше-то и глядеть не разрешалось, а не то, что войти и потрогать.

Помню я, как Диккенса начитался, и в первый раз, прощаясь, я назвал его «дядя».

\*\*

По английскому я был первый в классе. Мои английские изложения, заданные на дом, исправлял Виктор Александрович Найденов. У Маклелянда первыми учениками считались только те, кто брал у него домашние уроки — цена очень высокая: 5 рублей за час. Я был исключением.

Однажды английский дядя для испытания моих успехов дал мне перевести из «Times» статью. Но это был не рассказ, а, со всякими цифрами, исследование о «атмосферических осадках». Очень скучно, но я исполнил, одолел. И, неожиданно для себя, в «Московских Ведомостях» я увидел свой перевод: «Атмосферические осадки»; статья была проредактирована, сокращена и, конечно, без моей подписи.

Так безымянным «англичанином» я в первый раз попал в русскую литературу. Не помню номера «Московских Ведомостей», а год 1890. Мне было 13 лет.

В то лето я собирал бабочек. Но, кроме бабочек и гербария, географические карты: всё цветное меня привлекало. Я всё думал, если бы мне достать такой атлас, чтобы с горами, реками и лесом — елочками — мое «зографское» ремезовское пристрастие (Семен Ульяныч Ремезов, первый русский географ).

Английский дядя мне обещал за перевод гонорар. И на Рождество я получил от него подарок: немецкий атлас бабочек — не цветные, черные иллюстрации: все бабочки на одно лицо.

### Л я г у ш н и к

Михаил Семенович Ежов, наш дальний родственник, вторая вода на киселе, когда-то считался своим и везде бывал, желанный гость, но со временем обратился в безместное и беспризорное, о чем говорится безжалостно: «не велено пускать».

Подробности о его превращении из желательных в нежеланное не знаю: не то проигрался, не то неудачно смешеничал

— мало ли всяких непрямых способов поправить дела, только надо наловчить руку, чтобы чисто, а не всякому удается. Я думаю, всего скорее, что он «попался» и не раз — раз прощается, а в другой — без спуску. Тоже и запивать стал. Так одно к другому — и опустился. И уже не Михайло Семеныч Ежов, а зовут его нынче «Лягушник» и за глаза и в глаза с заявшим отчеством — Иваныч: «Лягушник Иваныч».

Почему «Лягушник»? То ли, что на нем бессменно висело зеленое пальтишко, когда-то щегольское, но до такой рвани изношенное, точно тиной занесло; то ли его повисшие рачьи усы и эти без слов о беде говорящие глаза, вот оборвутся и на пол — раздавленный зеленый крыжовник.

Не раз я его встречал, как шел он по бесконечному найденовскому двору, согнувшись: он возвращается куда-то к себе с ни-с-чем, нищий. В трезвые минуты он всё мечтал поправиться и жить «по человечески» и таскался к Найденовым просить место и получал неизменный ответ: и не то, что как принято в случаях отказа: «не принимают» или «нет дома», а откровенно — «не велено пускать». И куда он возвращался к себе — в какую тьму?

Я отчетливо вижу, как бессмысленно смотрит он в пустоту, напряженно, гонясь — в пустоту, но в конце-то концов из ничего вдруг мелькнет надежда. И потому завтра по бесконечно му найденовскому двору он пойдет просить место.

Как-то я услышал и уже с сердцем сказанное. Говорилось в конторе у Найденовых «белому» дворнику, по петербургски «старшему», и я всё понял:

«Шляется всякая сволочь, гнать в три шеи».

«Лягушник» пропал.

По двору говорили: «в больницу свезли» или «на Хитровку переселился».

\*\*  
\*

Однажды, в час совсем непоказанный, мы только что вернулись от всенощной, в наш дом без звонка через черный ход вошел Михаил Семеныч. И заметно было, что выпивши.

Мы сели чай пить. И его усадили с собой. Но от чаю он отказался. Попросил пива. Еще не поздно, послали за пивом. И две бутылки ему поставили.

Он пил молча, обсасывая свои рачи усы. И единственное вырывалось у него под пивной глоток: «устроиться»!

Он хорошо знал, что мы никак не можем помочь ему, но это вошло у него в привычку: «устроиться» или распространенно — «хоть на какое-нибудь самое маленькое завалящее место».

Я и тогда понимал, а потом уж как почувствовал, как это не то что трудно, а постыло человеку «без места». И мне всегда жутко, когда вспоминаю или вижу перед собой человека растворившегося «без места».

На второй бутылке он захотел музыки.

Брат сел за рояль. И на первые звуки он, неуверенно поднявшись, стал у рояля, облокотясь.

Надо было видеть, с какой болью он слушал. Он проходил весь свой путь с того самого времени, как был он еще не Лягушник, и Лягушником, каким стал он.

И тут совершилось музыкальное чудо. Во-истину, музыка колдует. Его мечта «устроиться» осуществилась. Как он и подумать никогда не посмел бы. И он, от неожиданности, только разводил руками. Его удивление перешло в восторг, рук оказалось мало и, неудержавшись, беспомощно, он навалился на рояль.

И оттого, что по природе своей я был затаенно чувствителен, я изо всех только один не смеялся: Лягушник выворачивал мне душу.

Мне что-то говорило, что так и со мной будет в жизни. И пусть же скорее! с ожесточением торопил я судьбу. И из тянувшейся, уходящей в даль тьмы моего будущего, вдруг видел себя, свою согнутую спину удалявшегося ни с чем.

Я и тогда понимал, куда и как ведет человека жизнь и, что бы он ни делал, цвет жизни боль, и для устроенного в жизни и для неустроившегося «без места» — боль беды и боль совести. Я чувствовал свою вину — и вольный и невольный грех: люди страдают друг от друга чаще не от злого умысла, а оттого, что,

не подумав, сделают или, когда непременно что-то надо было сделать, проходят мимо.

И теперь, глядя в прошлое, я готов хоть тысячу раз начинать жизнь на земле и еще тысячу лет жить, повторяя тысячу ошибок, но я не хотел бы, как сейчас вот говорю себе с упреком: «я чувствовал и не сделал, не пошевельнулся, я видел и прошел мимо». И я себя спрашиваю: почему так поздно открылись мои глаза? И кто или что освободит меня от этого режущего голоса, вдруг окликающего меня?

Михаил Семеныч, обессиленный от восторга или какая-то дверь неожиданно захлопнулась перед ним, тяжело повалился под рояль.

Без музыки и без улыбки много было возни и старания выпроводить Лягушника. Была ночь — в ночь.

### З л ы е с л е з ы

Когда я пел в церкви на клиросе, я следил за нотами, чтобы в лад, моим кубовым альтом, покрыть серебро голосов. И только начало всенощной, когда доносило до меня старинный распев:

«Приидите поклонимся,  
И припадем к Нему»,

возглас проникал меня, наливая голос той силой, о которой сile в другое время не догадывался ни сам я, ни те, кто меня слушал. И всю всенощную я стоял в ноте, весь выладонный, воздушный и шелковый.

И долго потом — через годы — вдруг увижу себя: недоумение и боль в моих глазах, я вспоминаю каким вниманием я был окружен, а в мире не узнавали меня — весь исполосованный, изляганный, выбивавшийся из-под камней.

У наших злок бабок и ласковых бабушек их подслеповатый глаз, как ни прячься, найдет. Расходясь после всенощной, они всегда щуяли меня:

«Стоишь, как каменное идолище, лба не перекрешишь!»

А и в самом деле: за моим забыдущим пением, какие поклоны и, даже больше, не до внимания к службе.

А я, всё понимая, озорства ради, грозил и язвился: «обращу де всех вас, бабки, в идолъскую веру».

«Не поддадимся», — выплевывали змеиные и птичьи рты.

Но они, и сами того не зная, всякий раз поддавались моей «идольской вере», уносясь, Бог знает, в какое лиловое свое прошлое и в какое яблоновое загробное под колдующий голос, мне и самому не открытой тайны моего существа.

\*\*

Очень нам хотелось, хоть раз, на всенощную в Кремль — в Успенский Собор. Ночные службы с крестным ходом мы не пропускали, но на всенощную никогда не удавалось.

В доме у нас был «ад», мне непонятное тогда глубоко потрясающее своей безысходностью, всё было как слизано злобой, задавлено и беспокойно. И только в церкви — я стоял под наведенными на меня глазами — дома так никто на меня не смотрит — светящимся тихим светом с чудотворного образа. Как же без нас в нашей приходской церкви Грузинской Божьей Матери?

И всё-таки решились: один только раз пропустить службу — и мне показалось, с чудотворного образа несводимые с меня, такие близкие и памятные мне, глаза, прощаюсь, отпускали меня. Под Преображение мы отправились в Кремль.

Незанятый нотами, я не проронил ни слова, следя за синодальным хором. Я вслушивался в «столповой» распев соборян — управлял заштатный протодьякон Полканов с волосатым горлом.

И когда, выйдя на литию — перед благословением: «пшеницы, вина и елея» — протодьякон Шаховцов возгласил имена, утвердивших на русской земле русскую веру — Антония и Феодосия Печерских — и особенно трепетно такие близкие родные Москве — Петр, Алексей, Иона и Филипп (их мощи по-

коятся в Кремле), а хор соборян на басах в унисон отозвался сорокогулким «Господи помилуй»; когда после моления о России и о всех православных вдруг слышу, точно впервые услышал — и «о всякой душе скорбящей и озлобленной, помощи требующей», мое сердце, как осветило: и в другом, понятном мне свете, я увидел весь «ад», весь мрак нашей жизни, всю черноту отравляющую и самую весеннюю мою звонкую радость. Передо мной засияли не материнские глаза с чудотворного образа, а «злые слезы» надорвавшегося и всё-таки непокорного виновного сердца, а еще и это — нестерпимо человеку смотреть — глаза со следами выжженных слез.

И один открылся мне путь. Мой голос, как кремлевский ясак, прозвучит через колокольную черноту не «Господи помилуй», а своей волей и своим словом — за весь мир — «за всех помоши т р е б у ю щ и х ».

Вот откуда — за что меня будут гнать по тюрьмам, и неприкаянным проживу я жизнь среди людей.

**Алексей Ремизов.**

\*\*

Пирог с грибами стынет на столе.  
Меня зовут. Бегу столетним садом.  
Вот этот цолдень, в Царском-ли Селе  
Иль в Павловске, он здесь, со мною рядом.  
Он был хорош не только тишиной,  
Не только беззаботностью и ленью,  
Он был взыскательный учитель мой  
И научил высокому уменью:  
Уменью жить цезурою стиха,  
Как эти вот дворцы, аллеи, шлюзы,  
Как тот кувшин в бессмертных черепках,  
Откуда пили ласточки и музы..

1951.

**Д. Кленовский**

# МЫСБУРЬ\*

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### Тетрадь Сони Тягниой

В том, что происходит вокруг меня в мире, я не слышу одного голоса. Я жду его. Он необходим мне. Я жду его уже много лет, но там всё молчит, и ожидание мое делается таким острым и мучительным, что не дает мне жить, заполняет все мои дни и ночи, всю меня. От России нужны мне не книги и не оперы, не люди, с их старыми и новыми разговорами. Мне нужен голос, акт воли, слово, которое стало бы действием... Я не знаю, я не могу знать, каким оно должно быть. Откуда мне знать это? Этого никто не может знать. Может быть, большинству уже безразлично, каким оно будет, это слово, скажанное, наконец, на всю нашу планету, но я мысленно связала свою судьбу с этим словом, с этим актом воли. Если его не будет, я пропала.

Фельтман, милый, старый Фельтман, которого я очень люблю, но никто, конечно, об этом не догадывается, потому что я дерзко отвечаю ему и выхожу из комнаты, когда он приходит, глядя однажды на меня своими умными лучистыми глазами, сказал, обращаясь к моей матери:

— Нет, вы напрасно так судите, Любовь Ивановна, вы ошибочно судите. Сонечка совсем не такая иностранка, она очень даже русская. Даша куда больше иностранка. Или Зай.

Моя мать, однако, упорно отстаивала свою точку зрения:

— Если бы Зай была иностранкой, то это было бы нормально, подумайте сами! Даша же стопроцентно русская, такая русская, что дальше некуда. Имя русское, прическа рус-

---

\* ) См. кн. 24-ю, 25-ю и 26-ю «Нового Журнала».

ская, темперамент русский. Но эта! Откуда у нее всё это, просто не понимаю. Ничего в ней нет, ни от меня, ни от Тягина.

— Они все три — иностранки, — примирительно сказал мой отец. Но Фельтман был не согласен; он опять внимательно посмотрел на меня. Любимый разговор отца о гражданах кантона Ури пошел своей обычной дорогой. Я смотрела на Фельтмана неприязненно, но он никогда не замечает этого или не хочет замечать, и весь лучится удовольствием. Мне просто страшно за него: как уцелел он до сих пор и что с ним будет дальше?

И вот: я жду. Живу этой безумной и тайной надеждой, единственной, последней, что войны не будет, той которую предчувствует мир и которая, если начнется, может никогда не кончиться или продолжаться так долго, что это будет как бы навсегда. И я, оторванная от всего на свете, цепляюсь теперь за эту надежду. В ней заложен для меня некий туманный еще, но решающий абсолют.

В поисках абсолюта прошла моя жизнь, те двадцать девять лет, которые я прожила на свете. Сначала всё было бесформенно, потом появились контуры и цели существования. Я искала людей, которые были бы на том же пути и жаждали бы, как я, полноты единственной, ради которой только и стоит жить. Я искала чувств, могущих принести мне сознание и ощущение полноты. Я гордо проходила мимо всего, что не могло привести к ней. Радости бытия, в сущности, не существовали для меня, потому что радости бытия не приносили даже слабого предвкушения абсолюта. К радостям бытия, между прочим, отношу я и дружбу. Я никогда не знала ее, потому что безответственность дружбы всегда расхолаживала меня. Дружба — это полумера в людских отношениях. Абсолюта в дружбе нет и быть не может.

Что-то нравится, что-то не нравится; кое на что закрываешь глаза; кое-что прощаешь, кое с чем борешься. Вообще прощаешь многое, потому что тратишь себя ровно столько, сколько самой угодно, оставаясь свободной во всем: в поведении своем, во времени своем, в своей воле. Прощая кое-что,

знаешь, что и тебе простят, а значит — живи, не напрягая сил; а если нужна твоя услуга (материальная или моральная), то оказывая ее, помни, что и ты в нужную минуту получишь ее, и значит всё — только взаимная страховка от житейских бед. Одно удовольствие, никакого риска. Никто ни с кем не меряется силами: равенство в даваемом и получаемом; контакт только тогда, когда есть желание его: раз в день, раз в неделю или раз в месяц, по молчаливому договору и без усилий. Это может продолжаться вечно.

Есть, между дружбой и любовью, одно явление, я часто думала о нем: оно даже не имеет названия; между тем, таким неокрещенным оно существует и один из двух в нем чувствует минутами близость и возможность абсолюта. Это то, что было между Людвигом Баварским и Вагнером, между Брамсом и Шуманом. Как назвать это? Тут и обоготворение, и ученичество, и дружба, и любовь, и свобода, и закрепощение, и личность, врастающая в личность, и образ друга, перерастающий образ человека. Мне никогда не было дано испытать этого. Может быть, если бы это было мне дано, всё было бы иным. Но я и не могла испытать этого: мой век не дает человеческой личности высечь такой искры из своей жизни. Без Бога и в опьянении социального равенства (уже приобретенного или постепенно завоевываемого), человек потерял путь к этой разновидности любви (или разновидности дружбы). В ней нащупывается путь к полноте, но только нащупывается; за полу-прозрачной, но прочной перегородкой спрятана большая, вечная тайна взаимоотношений между двумя людьми. Но она не открывается

Да, путь к этой разновидности дружбы утерян и есть еще одна важная причина для этого: наша чудовищная изменяемость. Современный человек претерпевает в течение своей жизни ряд метаморфоз, так что под конец перестает узнавать себя, и длительному поклонению чему-нибудь в нем всё меньше и меньше находится места. Эти метаморфозы не были известны людям прежних времен; они иногда меняли в течение своего существования (если оно было достаточно длительным) свои

замашки, свои вкусы, свои убеждения (за что их неукоснительно осуждало их окружение), но суть оставалась в них также, и это считалось естественным и не подлежало сомнению. Если в человеке происходила эволюция, то непременно можно было найти в его юности или детстве черты, предсказывающие и намечающие ее. Мы же меняемся скачками, наша жизнь есть непрестанное метание, словно какие-то частицы в нас, прежде дремавшие, пришли в движение. Горе тому, кто попадется им на пути!

Опыт любви у меня не слишком велик: те два раза, когда она начиналась, ее начало было уже ее разгаром, словно оркестр начинал с «тутти» и «форте». Она, если сказать точно, начиналась прямо с середины, т. е. уже не внушая никаких сомнений, что это именно она. В ту минуту, когда я сознавала, что это любовь, уже обратного пути не было. И я не думала о ней, я жила, я летела куда-то, чтобы удержать, чтобы зафиксировать свое счастье, потому что абсолют — не в мгновении, но в длительности и «радость жаждет вечности». А когда всё кончалось, я возвращалась из этого опыта едва живая. Как кончался он? Не бурей, не взрывом, но только маленькой трещиной, и этого было довольно, чтобы я грубо и безжалостно сама приканчивала свою любовь: испорченная вещь годна на слом и надбитая посуда выбрасывается на помойку. Ничего никогда не надо склеивать, залечивать, поправлять.

Лети, пропадай, отправляйся в тартарары всё, что тронуто, или только задето порчей! Совершенства уже не будет, прекрасное и цельное недостижимо. Абсолюта не будет на этом пути и значит: ни шагу дальше. Абсолют оказался с червоточинкой.

Да и как же иначе? Последние романтики, самые близкие нам по времени, успели нам оставить эту жажду абсолюта: “*Comme si quelque chose de la religion se mêlait aux douceurs d'un amour, jusque là profane, et lui imprimait le caractère de l'éternité*”, — робко сказал один из них, в конце концов, повесившийся в доме над той самой скамейкой у Сены, где мы с Б. столько сидели. В этом направлении мы двинулись дальше,

но уже по своим собственным дорогам, кто во что горазд, — вне жизни, скажут мудрые практики; кощунственно — скажут верующие. Мы еще не выдумали этому оправдания, мы двинулись — вот и всё.

О, эта жажда полноты и цельности! Жажда единообразия законов! Тайное стремление удержаться от распада и тем самым удержать мир, с грохотом раскалывающийся на тысячу частей. Тайное стремление осуществить гармонию в себе, а значит и в мире, спасти себя, спасти его... Безумные идеи, сумасшедшие цели. Неосуществимые? Но если их нет, то как же и жить? Как собрать то, что распалось, если не в себе самом? У нас не было другого пути. Старый путь был когда-то так соблазнительно прост, всегда под рукой, утешительный, удобный: если в тебе самом что-то неблагополучно, скрипят колеса, пищат скрепы, ржавеют гайки, взгляни вокруг себя (природа, люди, искусство, мироздание) и вспомни, что ты только часть общего, такого цельного, мудрого и прекрасного (а некоторые еще добавляли «доброго») и, сливаясь с ним, благодари Творца! Старый путь оказался... не то что ложным, а совершенно бессмысленным, потому что вдруг на месте этого живописного шоссе оказалась яма, пропасть, обрыв такой глубины и мрака, какие любил рисовать Густав Доре в своих иллюстрациях к Библии.

И начать надо было уже с совершенно другого конца: с нас самих. И задача была на много раз труднее. В себе самом надо было найти не свое, но мировое равновесие. Мой абсолют должен был связать меня с мирозданием, всё оправдать, всё воссоздать. Такова была мечта. Была мечта: склеить сломанный предмет, создать собственными силами мировую гармонию. Но я не нашла той нити, которая бы меня связала с миром, и я еще не знаю человека, который бы нашел ее. И я не нашла абсолюта. И постепенно я прониклась глубоким, страшным, непоколебимым равнодушием к треснувшей посуде. Долгое время, тревожно и ревниво, я любила мир, но не встретила в нем никакой взаимности. И дикое, безнадежное, отчаянное чувство покинутости сошло на меня. В нем есть малень-

кое место, последнее место, для маленькой надежды. Если не я, то, может быть, моя страна склеит его, не склеит, нет, но воскресит, воссоздаст его. Мне кажется, ждать не долго, чтобы разрешился один вопрос... «Такие отвлеченные вопросы и ожидание на них такого конкретного ответа!» — сказал однажды Б. «Читай поменьше газет!» — сказала однажды Даша. Если же ответа нет, если действительно то, что распалось, уже не воссоединимо и в с ё п р о п а л о, то тогда пропала и я. И в окончательном провале всего возникает мое спасение: я гибну со всем вместе, я сливаюсь с вселенной, я, наконец, нахожу свое место в ней, я разрушаю себя вместе с миром.

Не в смерти одиночество, но в жизни одиночество; и выбор конца есть свобода и общность, когда существование есть разобщенность. Если всё мертвое вокруг, для чего я одна еще жива? Не потому ли все эти мучительные и бесплодные поиски соединения с общим, что общее умерло, что дух отлетел от мира и мы живем рядом с трупом и не знаем этого, и хотим (о, святая простота!) слиться с ним? Если я еще жива, одна из немногих (кстати, где же эти «немногие»?) жива, то я в дисгармонии, и я сама виновата в ней; я учились жить, как жил мир, но я не поняла, что всё это в прошлом, и что проделав его путь с завидным усердием, я опаздываю, не поспеваю за ним, не делая последнего жеста, чтобы быть ему подобной. Всё во мне — наоборот, а я еще ищу какой-то связи! Связь моя с ним — в небытии.

Для другого она, может быть, не в небытии в буквальном смысле этого слова, но только в небытии относительном: в не-думании, в отупении, в «что прошло, то будет мило» дураков и лентяев, в «разроем-построем» рабочего класса. Не важно, какие конкретные формы принимает оно изо дня в день: тяжелой жизни, густого быта трудящегося, или легкой жизни, пустой бессмыслицности тунеядца; страха и гнета париев или скуки и власти негодяев. Но я не могу примириться с небытием относительным. Я еще жива и свободна. О, какое это счастье, мочь сказать громко, вслух, эти слова: я еще жива и свободна. И именно потому, что я жива и свободна, я выбираю мой един-

ственний, доступный мне абсолют: я выбираю абсолютное небытие.

Если только... Никогда я не пыталась анализировать эту неизвестно на чем основанную надежду на то, что смиренные возропщут и немотствующие заговорят. Она вне-рационально живет во мне. Она не в разуме моем и не в чувствах, но как бы в крови. Где-то, когда-то, давно-давно, я прочла одну мысль, которая поразила меня и дала пищу этой надежде. Я забыла, кто и когда высказал ее, может быть, я сама придумала ее: трудная жизнь — залог воскресения индивидуальной души и возрождения народа, легкая — разложения души и вырождения народа. Из всего этого и из чего-то неосознанного, уже почти улетучившегося, но следом чего я дорожу, эта надежда черпала свою внераразумность, свою парадоксальную прочность. Нет, теперь я вижу: корни мои не были обрублены, они ведут меня в мое детство, когда я жила в том особом измерении, которое называется: милосердие, сострадание, способность к всемирности, вечная тревога о социальном неравенстве, умение видеть дальше других, бесстрашие смотреть в глаза самой страшной правде. Неужели и это всё было зря, было маревом, которое ныне рассеялось там, в молчании и смирении? Нет, до последнего мгновения не поверю; вернее, наоборот: когда увижу, что надежды больше нет, то это и будет моим последним мгновением.

Это значит, что изверившись во всём решительно, я, как простая баба, верю собственной крови, или жду чуда, которое, хоть и бывает, конечно, но только в цельном мире. А какого чуда можно ждать в нашем, где всё стало наоборот: люди молчат, когда надо говорить, и говорят, когда надо молчать; единственным поступком, который может привести их к гармонии, считают самоубийство; естественным считают двусмысленное; страдание предпочитают счастью? Из такого мира, подозревая, что иного нет, я уйду, и именно уходя из него, осуществляю с ним мое соединение.

Мне кажется часто, что это лето держит не меня одну в напряжении. Все люди стали другими за этот последний

год. Почему «последний»? Просто — за этот год. Июнь прошел, пройдет июль, наступит август. Жан-Ги почти не приходит больше, Зай здорова.

Когда он был здесь в последний раз, он опять долго сидел у меня в комнате.

— Чего бы вы хотели? — спросила я, глядя на его не то сердитое, не то мрачное лицо.

— Чтобы всё полетело вверх тормашками.

Я засмеялась:

— Ну, это непременно будет, и очень скоро. Только вряд ли вы обрадуетесь.

— Тогда можно будет что-то выдумать.

— Какие это всё безответственные слова! До вас уже кто-то говорил именно так. И зачем вам выдумывать что-то? Разве вам плохо живется?

Он оперся на тонкую руку и в его больших, темных глазах, где заметно каждое его настроение, прошла какая-то печаль.

— Она меня мало любит, — сказал он, и я подумала: зачем он это говорит мне? Неужели же я, вовсе этого не ища, располагаю людей к откровенности?

— Что вы хотите от нее?

— Чтобы любила. А этого нет. То-есть, той любви нет, которую я ждал. Она постоянно уходит от меня мыслями, говорит о других, смеется чему-то своему. Словом, живет без меня, вне меня, даже, когда я рядом. У меня нет над ней настоящей власти. Я не того хотел.

— А вы сами?

— Я? Я хочу, чтобы меня любили. Я иначе не могу, если этого не случится, я не знаю, что будет со мной.

— Я не понимаю вас, — сказала я совершенно искренне, — вы мальчик неглупый, красивый даже (вы сами знаете, какой вы), и вы боитесь, что никто не полюбит вас? Сколько вам лет?

— Двадцать пять.

— И никто до сих пор не любил вас?

— Никто. То-есть никто не любил так, как мне хотелось, так, как будто это и в самом деле на всю жизнь.

— Очень хорошо сказано: «как будто». Вам не кажется, Жан-Ги, что мы все дошли до точки? До высшей, кульминационной точки, до некоего апогея.

Он потянулся в кресле и не ответил на мой вопрос. Мы замолчали.

В сером своем халате, бледная и худенькая, превратившаяся опять в четырнадцатилетнюю девочку, вошла Зай. Она уже привыкла за эти две недели, что Жан-Ги вечерами сидит у меня, не протестует, как в первый вечер, и теперь пришла послушать, о чем мы говорим. Минуты две она сидела на одном из колен Жан-Ги, спиной к нему, лицом ко мне, потом тихонько пересела на кровать, и так как мы молчали, стала напевать что-то совсем тихо. Грусть, недовольство, хмурость, всё исчезло в лице Жан-Ги; оно стало беспокойным, и я почувствовала, что он начинает следить за собой.

— Каждый день, — сказала Зай, ни на кого из нас не глядя, — должен бы, собственно говоря, приносить с собой что-нибудь. С таким усилием солнце встает на небо, и вдруг — ничего. Пили-ели, спать пошли. Но теперь есть книги. И потом — болезнь была; она дала время о стольком подумать. Завтра я встану с утра, а послезавтра — на работу.

Я молчала. Жан-Ги смотрел на нее долго, не мигая.

— Я пришла послушать, о чем вы тут говорите, — продолжала Зай, — а вы молчите, говорю я. Вы поссорились?

— И не думали.

— Мне хотелось бы, чтобы вы были союзниками, не обязательно против кого-нибудь, просто — союзниками. Вы можете быть во многом друг с другом согласны.

— В чем? — спросила я, и она, конечно, почувствовала в моем голосе насмешку. — В чем нам быть согласными? И для чего нам быть союзниками?

— Главное знать, — сказала Зай очень тихо, — кто союзник и кто враг. Умные люди всегда это знают.

— И потом?

— Потом — ничего... Я хотела бы уехать куда-нибудь далеко... Нет, я хотела бы всю жизнь жить в Париже, никуда не выезжать. Здесь так хорошо.

— Да, здесь хорошо.

— Я хотела бы всё испытать, всё понять и никого не видеть, ничего не знать. Я хотела бы разбиться на куски и всегда быть в целости. Не смейтесь! Всё это странным образом уживается во мне.

— Это вовсе не смешно.

— Я хотела бы любить всю жизнь только одного и в то же время я боюсь упустить другое какое-то счастье...

— Двойника?

Но она не ответила. Он вступил в разговор запальчиво, страстно:

— Вот видишь, видишь, я всегда это знал, я тебе говорил, ты сама не знаешь, чего хочешь, ты не любишь меня никаколько.

— Вы не могли бы пойти объясняться без того, чтобы я была при этом? — спросила я.

— Конечно, мы уйдем. Вы обе вызываете меня на разговоры, которые я совершенно не желаю вести. И как можно говорить на такие темы втроем? На такие темы говорят вдвоем.

— Но надо, чтобы в мире всё было уравновешено, — сказала Зай, не двигаясь. — Ты согласен, что всё, что существует в мире, должно быть уравновешено?

Он пожал плечами.

— Я хотел бы знать, — сказал он сердито, — что именно уравновешиваем мы сейчас все трое, в этой комнате, этим разговором. Одно для меня бесспорно... Но я решительно отказываюсь говорить о себе и тебе при посторонних. Что у вас за привычка выносить всё на обсуждение!

— Выдите оба вон! — сказала я сухо. — Зай проводи его.

Я осталась одна. Я ни в чем не могла упрекнуть себя. Разве я «ссорю» их? Конечно, нет! Но если бы меня не было,

они оба были бы спокойнее. Они были бы счастливее. Всё вокруг них движется, и они движутся, он волнуется и сомневается, она ищет чего-то, она растет. Всё это похоже на ход планет в небе, на всё кругом, потому что всё кругом живет. Одна я не живу, я жду, изо дня в день, из ночи в ночь: что-то должно произойти. Должен долететь до нас голос, должно раздаться слово. И это слово должно повернуть всё и воскресить меня.

— Сонечка — самая русская из трех, — повторяет Фельтман, милый Фельтман, с такой нежной, умной и всегда улыбающейся чему-то душой. Их немного осталось таких, как он. Вчера он рассказывал о смерти какого-то своего приятеля, которого он похоронил недавно, и у меня было такое чувство, будто он рассказывает о своих собственных похоронах: почему то я так отчетливо вижу за ним его близкую смерть и почему то мне кажется, что она будет нелегкой. Отец мой старше его и часто в последнее время болеет, но я не вижу смерти за ним. Мне даже кажется, что он становится всё легкомысленнее, к великому огорчению моей матери. Я не удивлюсь, если окажется в один прекрасный день, что у него еще где-нибудь есть дочь или сын. Он много на своем веку обманывал.

Володя Смирнов, на своем дурацком русско-французском языке, сегодня признался мне, что «в случае чего» он будет мобилизован в первый же день. Я не удержалась:

— Ты думаешь, что это произойдет?

— Я думаю, скорее, чем мы предполагаем. Я таки решил жениться на Мадлэн, чтобы «в случае чего»... всё было бы в аккурате.

Я похвалила его за такую предусмотрительность. Прощаясь, я спросила, куда делся его пражский брат? С великим трудом получив визу, он, наконец, отбыл третьего дня в Америку. С этим человеком мы так хорошо помолчали однажды вечером. Я долго не забуду этого часа. Это одно из моих самых лучших воспоминаний за весь год. У других — разговоры, у меня — молчание. Неудивительно, что у меня такое впечатление, что я иду и не попадаю в ногу с остальными.

Уже давно замечала я за собой это резкое несоответствие, делавшее мою жизнь особенно трудной и безуханной: несоответствие касалось меня в целом и мира вокруг меня: временами я видела себя слишком отчетливо, ясно, трезво, и в эти минуты ничего кругом себя не видела. Остальное было всё, как в тумане сгустившегося сна, я одна была в центре луча прожектора. И наоборот: когда я видела окружающее меня в обнаженности, в его реальности, я сама исчезала в едва земном облике, едва различимом. Возникало болезненное ощущение разделенности между сном и явью, когда мир вокруг такочно и так несложно стоит, а я колеблюсь где-то не в фокусе собственного зрения; или будто мне видится мир сквозь пелену, мир зыбкий, неуловимый, в то время как я могу разглядеть в себе самой каждую жилку, могу различить каждую, едва наметившуюся, черту свою.

Стройности нет. А если в чем-то нет стройности, гармонии, меры, то это «что-то» не существует. Во всяком человеке должна быть гармония. И вот я не существую, я никогда не существовала. Во мне достаточно силы, чтобы это признать.

Есть люди, есть книги, в которых можно встретить это сознание собственного несуществования. Но наряду с ним какую-то бешеную гордость: я горжусь, что я не такой, как все, что я сломан, что я пропал, что мой мир таков, что мой век таков, что ничего вообще нет и ничего не надо. Почему же я не испытываю при этих мыслях никакой гордости? Никакой зловещей радости? Гордость и радость ослепили бы меня на всю жизнь, и я бы не увидела той страшной духовной нищеты, той «безопорности», в которую я забрела. То, что я ее вижу, не дает мне никакого удовлетворения: да, вижу; да, без иллюзий; да, пустота.

Но разве не могло быть и иначе? Иногда мне кажется, что могло быть, что бывает иначе!

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Август наступил, жаркий и ветреный, с пылью и грохотом опустевших улиц. Любовь Ивановна и Тягин выехали из Парижа в деревню неподалеку, высчитав всё до последнего франка; Зай ходила в книжный магазин (отпуск в первый год работы не полагался), возвращаясь вечером, усталая от жары и работы; Соня, написавшая и отославшая свое прощание, целями днями лежала у себя в комнате и курила. От Даши, по само собой заведшемуся порядку, раз в две недели приходили письма, без обращения — об Африке, мальчиках, прислуге, собаке, погоде, о Моро и о себе самой. Их распечатывала и читала Зай, складывала на камине в столовой и грустила над ними.

Фельтман больше не приходил. Он был всего один раз после отъезда Тягиных: принес часы, которые носил чинить какому-то своему знакомому. Было девять часов вечера и он почему-то думал, что «девочки», как он их про себя называл, давно пообедали. Но Соня и Зай сидели друг против друга за столом в столовой, на конце его сидел Жан-Ги, который жевал хлеб и от еды отказывался; в квартире горело электричество во всех комнатах, и в первые минуты Фельтману показалось, что дом полон гостей. Но никого не было, и всё было как-то даже слишком тихо, а в столовой тоже, видимо, до его прихода никто не разговаривал.

Он присел на стул. Зай спросила, не хочет ли он есть, но он уже обедал и, выложив на стол тягинские часы, осведомился, всё ли благополучно? Да, всё было благополучно. Соня показалась ему похудевшей.

— А вы никуда не уехали? — спросил он, чтобы не молчать.

Она взглянула на него равнодушно.

— Куда мне ехать? На дачу? Нет, я не еду на дачу.

— Жаль, — сказал он, — в городе ужасно жарко и пыльно.

— Всюду жарко, — ответила она. — Но в будущем году

я непременно поеду на дачу и даже отложу для этого денег заранее.

Зай с тарелками отправилась на кухню и, возвращаясь оттуда с бумажным мешком, полным абрикосов, погладила свободной рукой Жан-Ги по волнистым, черным волосам.

— Вот абрикосы, — сказала она, выкладывая их на блюдо. — Ешьте и кладите косточки на бумагу.

Все послушно взялись за фрукты, даже Фельтман.

— Опять кого-нибудь хоронили сегодня? — спросила Соня.

— Разве я так часто хороню?

— По моему, очень часто.

— Когда же я хоронил? Только на прошлой неделе. Ах, нет, в начале июля тоже случилось, и весной, бедного Петра Семеновича... Верно, вы правы. Я часто хожу на похороны. Много умирает людей, много знакомых. Отчего бы это? А незнакомых сколько умирает, вы себе и представить не можете.

Никто ничего не ответил. Соня сказала после молчания:

— Знакомых и незнакомых. А еще больше — безымянных. Фельтман ожился:

— Вы это хорошо сказали: безымянных. Я ведь так давно вас знаю, Сонечка, вы никогда так хорошо не говорили.

Зай опять собрала со стола и, медленно прижимая к груди солонку и перечницу, пошла на кухню и загремела там посудой. Жан-Ги пошел за ней. Там, на табурете, он сел и стал ждать, когда она окончит мытье посуды.

— Эта барышня с дипломами могла бы, всё-таки, помочь тебе иногда. Ведь она целый день ничего не делает, а ты целый день служишь!

— А ты целый день ворчишь!

— Если бы мы жили вместе, ты бы поселилась у нас и мы маму заставили бы всё в доме делать, довольно ей блох собаке вычесывать и на картах гадать.

— Скажи мне, Жан-Ги, правда, что она занимается одним делом, за которое в тюрьму сажают?

— Ты с ума сошла! Кто тебе это сказал? По крайней мере года два уже этого не было.

Зай положила ему на руки кухонное полотенце, вилки и ножи, он тщательно, медленно и думая о другом, стал их перепроверять и осторожно складывать в выдвинутый ящик стола.

В столовой Соня, уложив подбородок в ладонь, смотрела на Фельтмана и думала: отчего он не уходит? а он, рассматривая сухую, замшевую косточку абрикоса, задавал себе тот же самый вопрос: почему я не встаю и не ухожу?

— Я бы мог рассказать вам столько интересного, — говорил он между тем, — о разных безымянных. Куда только и каким только способом они не исчезали. Вообразите себе, был недавно такой случай: жил на берегу моря какой-то господин, русский, конечно. Любил детей, угождал им сладостями. Его заподозрили в совращении малолетних, только заподозрили, не обвинили. Он пришел домой от следователя и повесился. Так никто и не узнал, кто он был, откуда. В газетах были только инициалы.

— Вот так конец!

— Или еще тот безымянный эмигрант, который выкинулся из окна, когда президента Думера убили.

— Неужели?

— Оставил записку: не могу, говорит, больше жить. Чувствую себя ответственным за это преступление.

— Как это странно!

— Вы себе представляете, Сонечка, — оживлялся всё больше Фельтман, и когда он наклонялся под лампой, его сердой ежик отливал чистейшим серебром, — вы себе представляете, чтобы во Франции ваш консьерж почувствовал себя ответственным за какого-нибудь, скажем, грабителя?

Соня молчала.

— Или Поль Валери вдруг объявил, что на него упала тень от чьей-либо глупости или чьей-нибудь подлости?

— Нет, конечно.

— Но вы, вы еще понимаете это? То-есть тот факт, что можно от стыда за другого сгореть?

Соня отвернулась от Фельтмана.

— Я не понимаю, — сказала она, — почему вы это спрашиваете? У меня нет мнения на этот счет.

Фельтман откинулся в тень.

— Нет мнения? Почему же тогда вы интересуетесь безымянными?

— Разве я заговорила, а не вы?

Настало молчание. Часы Тягина, круглые, плоские, золотые часы, которые Фельтман положил на стол перед собой, тикали совсем тихо, так что их слышал только он, и они напоминали ему, что надо уходить. И придет он сюда через неделю, когда вернутся Тягины. В конце месяца.

Он встал, прокашлялся, подошел к Соне.

— До свиданья, — сказал он, улыбаясь своей спокойной, детской улыбкой, — оттаять надо, Сонечка, оттаять. Когда вы оттаете?

Она встала тоже.

— Мыслящий гвоздь, — сказала она сухо, — вы слыхали о таком предмете?

— Это вы? — испугался он.

— Нет, это не я, — усмехнулась она, — но это бывает. — Секунду она думала. — Я выйду с вами, подождите меня.

Они зашагали по улице. Фельтман шел к метро. Он жил далеко, но передвигался во все концы города с завидной легкостью, дальность расстояний никогда его не останавливало, времени у него всегда бывало достаточно.

Он спросил ее, в какую ей сторону. Она не знала, что ответить, самое простое было сказать правду: я провожу вас, — и она это сделала.

— Вы меня хотите проводить? — воскликнул он, тронутый и удивленный. — Вот какие вещи бывают на свете!

И, слегка посмеиваясь, он бодро зашагал рядом с ней. Она не смеялась, не улыбалась даже. Она была занята своими мыслями.

— Я бы мог рассказать вам много разных интересных случаев, чего только я не видел в жизни! Жизнь проходит,

уже прошла, собственно. Еще годик-два, может быть — три. Иногда очень печально делается на душе, когда подумаешь, что некому передать своего опыта, всякие такие ничтожные фактики, занятные и смешные, которые очень много, в сущности, значат, и которые пропадут. Сколько с собой человек уносит, прямо страшно подумать! Какой багаж на двадцать четыре персоны! Ни в какую книгу не уместишь.

— Ни в романс, — сказала Соня.

— Куда там, в романс! Только нотка одна какая-нибудь скажется в целом романсе. Никто и не узнает этой нотки, только для автора она и звучит, а за ноткой — целая драма в пяти частях.

— А всё-таки в этой ноте сказалось хоть что-то. Хуже было бы, если бы и ее не было.

— По правде сказать, разница невелика. Разница единственно в какой-то бесконечно малой величине. Я, между прочим, и себя ощущаю, как бесконечно малую величину.

Они простились, он спустился под землю, она пошла к дому. Она никогда не ощущала себя бесконечно малой величиной, но сейчас ей показалось, что между бесконечно малой и бесконечно большой разница не так уж велика. Эти руки, эти худые пальцы, это лицо с глазами и ртом, окруженнное легкими выющиеся волосами, ноги, мерно ступающие — какое и вправду малое тело, едва прикрепленное к почве — вот здесь оно начинается, вон там кончается, за ним, перед ним, вокруг него — пространство бесконечное, миллиарды миль и миллиарды лет. Но то, что внутри этого маленького, слабого и хрупкого предмета, то, что заключено внутри и хочет вырваться, так огромно, так мощно, так страшно взрывчато.

В тихом в этот летний час квартале слышно было лишь, как вокруг, вдалеке, дышет и живет город. В августе уже не только тягинский тупик, но и все улицы, окружающие его, начинали приобретать сходство с какими-то молчаливыми покоями громадного, насквозь каменного строения. Залы и переходы, кордегардия какого-то замка, парадные хоромы неве-

домого дворца, коридор тюрьмы, когда-то возникшей в мозгу Пиранези, и наконец — сквер, словно зимний сад в барском доме, где в этот, совсем уже темный час наступающей ночи, платан и кедр, акация и сирень могут показаться нездешними, тропическими, а может быть, и искусственными растениями.

Пройдя подворотню, Соня шла теперь по тротуару тупика. По другой стороне уходил Жан-Ги, почти бегом. Стоит только крикнуть, позвать... Убегай, Жан-Ги, убегай скорее, она не любит тебя, ты был для нее только средством узнать жизнь, она уже ушла от тебя; у нее одно желание: расти. С ней трудно будет сладить. Да и зачем стремиться с ней сладить? Пусть растет, изменяясь и изменяя, пока не вырастет и не найдет то, что окончательно освободит ее... Соня смотрела вслед Жан-Ги, он скрылся, выбежав на улицу. Невероятным кажется сейчас, что она и в эти двери стучалась. Он, конечно, не ответил. Может быть, он неправильно понял ее? Намерения ее были совершенно «чистые», с такими же намерениями стучалась она сегодня к Фельтману. Ей все равны. Впрочем, что такое «чистые намерения?» Как знать, чем могло всё это кончиться, и, значит, у нее теперь на совести не один Ледл.

Зай стояла в столовой у камина и в глубокой задумчивости перебирала Дашины письма. Всё одно и то же. Может быть, всё неправда? Нет, конечно, Даша не умеет, лгать, да и зачем ей лгать? Это всё правда, и в жизни вообще бывает больше правды, чем вымысла. Зай делалось всё грустнее. Она облокотилась о камин и посмотрелась в зеркало: не похорошела!.. В это время вошла Соня и остановилась у стола.

— Ты что же, одна?

Зай не ответила.

— Спокойной ночи!

Зай опять не двинулась и не оглянулась. Соня поиграла выключателем.

— Я верю в чудо, — сказала вдруг Зай. — Я один раз в жизни видела чудо. Но из этого ничего не вышло. Оно было зря.

Соня подошла к ней и внимательно посмотрела ей в лицо.

— Из этого ровно ничего не вышло. Всё растворилось, растаяло, позабылось. Словно его и не было.

— Ты, значит, хотела, чтобы была цепь чудес? Этого не бывает.

Зай повторила тихо: «цепь чудес». Это было верно, этого хотела она. Этого не случилось: Даша оказалась неспособной на цепь чудес. А всё-таки чудо было!

— Цепи не было. Но чудо было. Одно единственное. Из него ничего не вышло.

— Кто же виноват в том, что ничего не вышло?

— Не знаю, — сказала Зай, опять глядя в зеркало, где в полоборота видно было теперь сонино лицо, — может быть, ты. Впрочем, этому скоро год уже. Не стоит вспоминать об этом.

— Я? — удивленно проговорила Соня. — Сильнее кошки зверя нет. В своей неудаче с Жан-Ги ты, надеюсь, не обвиняешь меня?

— Это была удача.

— Слава Богу! Значит, тут я, по крайней мере, не при чем.

— Ты хотела бы быть при чем, Соня, — сказала Зай, отходя от камина. — Но не вышло. Ты вообще в жизни не при чем.

— Ты отдаешь себе отчет в том, что ты говоришь?

— Отдаю. И это правда.

— Значит, ты думаешь, что я не могу всего, чего хочу?

— Да, я так думаю.

— И что я не могу добиться цели?

— Думаю, что нет. Да ведь ты пробовала, Соня, у тебя не вышло. И с Жан-Ги не вышло, хотя я сама помогала тебе, потому что после первого вечера у тебя, когда я еще больная лежала, он уже оказался для меня не тем, он уже был как бы свободен... Но разве дело в Жан-Ги? Это всё кончено, это всё прошло, об этом когда-нибудь будет даже приятно вспомнить. Но этого уже не существует. А вокруг тебя так тяжело, Соня, так тяжело дышется.

— Да, я это знаю, — ответила Соня, неподвижно продолжая стоять посреди комнаты и смотря, как Зай медленно, бесшумно начинает закрывать на окнах ставни. — Но может быть, когда-нибудь это переменится. Тогда ты мне скажешь, что ты это заметила. Есть впереди одна надежда. Скоро это должно произойти, очень скоро. До зимы, во всяком случае.

— Ты говоришь «одна надежда», а таким голосом, словно говоришь о чем-то безнадежном, о катастрофе какой-то. Несмотря на то что делается. Я, знаешь, Соня, уже почти ничего не боюсь теперь, а вот таких твоих «надежд» мне страшно.

— Значит, прошли все детские страхи?

— И детские, и не детские. Как будто все прошли. У меня теперь столько храбрости, что иногда самой не верится. Но я, конечно, тоже не могу всего, чего хочу.

— А есть люди, которые могут всё? — засмеялась Соня невесело.

— Ты смеешься надо мной. Тогда я не хочу больше разговаривать.

— Ты еще ребенок. Смотри, как легко тебя обидеть.

Наступило молчание.

— Как ты выросла, Зай. Сколько тебе сейчас лет? Двадцать?

— Девятнадцать с половиной.

Соня обошла стол, опять приблизилась к Зай и внимательно и с каким-то странным чувством смотря ей в лицо, тихонько потрогала ее волосы, поправила прядь, внезапно отдернула руку.

— Проживешь ты свою единственную жизнь не хуже и не лучше других.

— А если не единственную, тогда что?

Соня медленно и напряженно улыбнулась, не ответив ничего. Она отошла, мгновение разглядывала что-то на буфете, старую солонку, давно вышедшую из употребления, и ушла. Зай подняла салфетку, забытую под стулом, потушила свет, спрятала отцовские часы в комод в спальню, и пошла к себе. Там она быстро разделась, легла, пристроила над книгой ма-

ленькую лампочку с колпачком, и погрузилась в чтение. В доме наступила тишина.

Мир, в котором проходил теперь день Зай, был особый, волшебный, пленительный мир, захвативший ее в последние недели полностью. Она вставала рано, пила кофе на кухне, одевалась и, стараясь не шуметь, шмыгая мимо Сониной двери, уходила на службу, в книжный магазин, одновременно бывший складом большого издательства, помещавшегося в Латинском квартале, и куда она быстрым, деловым шагом шла пешком. Внизу, в громадном вестибюле старого дома, где на почерневшем потолке еще целы были какие-то лёгкие украшения (а по углам настроены были фанерные перегородки для телефонов), шла упаковка книг: две толстые женщины в серых передниках работали там, увязывая пакеты, и молодой человек, худощавый и близорукий, kleil этикетки. Старый служащий, видимо, болыпой знаток своего дела, с реестрами в руке, принимал заказчиков, в окошечке перегородки виднелись взбитые локоны телефонистки. Стены от пола до потолка были в книжных полках, а между окнами висели плакаты и афиши — тут когда-то издавались добродушные авторы XIX века, смотревшие теперь со стен на всех, мимо снующих, довольными глазами, как подобает людям, прожившим свой приятный век не зря. Арка вела в магазин, где три приказчика и кассирша торговали книгами, а широкая лестница шла в конторы первого этажа, в приемную, где стояли два разнокалиберных больших дивана и стол с пепельницей, в кабинет секретарши, в кабинет директора, и наконец — в кабинет патрона, которого Зай, усвоив Сонину привычку, про себя продолжала называть «Б».

После первого этажа, лестница становилась узкой и темной. Наверху был ряд комнат, где стучали пишущие машинки, сидел корректор и было столько служащих, тесно работавших один подле другого, что Зай до сих пор еще не всех знала. В одной из этих комнат было ее место. Это было «самое маленькое место во всем большом деле», как выразился однажды Б.: приходилось и kleить, и орудовать ножницами, и бегать вниз, в упаковочную, и штемпелевать конверты, и ходить на почту...

Зай получала восемьсот франков в месяц. Впереди нее было будущее.

Но за всем этим видимым миром, угнездившимся в старом доме, был еще мир, невидимый простому глазу. На площадке первой лестницы вдруг открывалась узкая, незаметная, почти потайная дверь и электрический свет озарял длинные ряды книжных полок, тесные комнаты, одну за другой (двери были сняты и счет комнатам давно утерян); пройдя их все, можно было опять оказаться в первой, словно это был лабиринт премудрости, в котором каждый раз едва не терялась Зай. Пахло книгами, потому что, кроме книг, здесь не было ничего, не было ни окон, ни мебели, были одни полки.

Каждый раз, когда ей доводилось вступать в это единственное место, у нее было такое чувство, появившееся еще в первый день, будто с ней в жизни уже было однажды нечто подобное: удивление, любопытство, трепет, восторг, ощущение собственной ничтожности. В первый раз она вошла сюда, когда директор и Б. перелистывали аккуратные белые томики, весьма чем-то довольные, поднося к свету образцы будущих обложек. Скоро директор ушел, а Б. стал смотреть на то, как Зай, встав на подвижную лестницу, снимает с верхней полки тома сочинений Гонкуров, проверяя их по списку. Он улыбнулся, поймав ее напряженный, внимательный взгляд, гуляющий по полкам.

— Элизабет, — сказал он, — если вам хочется брать книги домой читать, то через мадемуазель Пэнсон вы можете иметь уже разрезанные экземпляры. Скажите ей, что я прошу ее давать вам всё, что вы захотите.

Зай покраснела.

— Они наверху не называют меня Элизабет, потому что одна из упаковщиц — Элизабет. Они дали мне другое имя.

— Какое же?

— Лили.

— Хорошо. Значит, Лили.

Зай поблагодарила. Он вышел, а через несколько дней, поднявшись наверх по какому-то делу, он сам принес ей и по-

ложил на стол два тома «Переписки» Ван-Гога, еще пахнущих типографией. С этого дня началась для Зай новая жизнь.

Она поняла внезапно, что означало это смутное воспоминание когда-то уже бывшего, которое охватило ее в тот первый раз, когда она ступила за порог книжного склада. Не одна маленькая, вещая книга, в руках чужого ей и затерявшегося в прошлом пассажира скорого поезда Варшава-Париж, но сотни книг вокруг нее стояли тесными рядами, звали ее к себе, шли к ней, открывали ей новую, драгоценную жизнь, и каждая казалась частью чего-то большого и необходимого, о чем та, неизвестная книга в вагоне, только смутно намекнула. Она чувствовала подле себя сокровище, она прикоснулась к нему, и оно стало ее. И вся вдруг, без остатка, поддалась ему.

Ей не приходило в голову, что она могла бы служить в другом месте. Всё, что ей было необходимо, всё находилось здесь, и только здесь, и этим владел Б. — не тот смешной, похожий на пастора, путешественник, но Б. — серьезный, высокий, сдержаный человек, с лицом некрасивым и особенным, от взгляда которого она теперь трепетала. Когда он улыбался, что бывало редко, было так, что вся она наполнялась счастьем и каменела, боясь сделать движение и спугнуть это таинственное очарование. Он был хозяином этого нового мира, где она теперь жила, и никакого другого мира ей не надо было.

Мадемузель Пэнсон равнодушно отпирала дверцу высокого шкафа, вделанного в стену ее кабинета, и оставляла Зай перед рядом книг; она смотрела на корешки, иногда вынимала их одну за другой. В эти минуты мадемузель Пэнсон, смотрясь в карманное зеркальце, надевала свою шляпу с виноградом и натягивала ирландского кружева перчатки.

— Монтеня я кладу обратно, — говорила Зай, — а Анатоля Франса беру, если можно. И у меня еще остался последний том «Утерянного времени». Его я верну завтра.

Ответа на это не требовалось, и мадемузель Пэнсон только говорила: «ключ положите в ящик» или «до свидания, Лили». И Зай выходила из комнаты, уже обволакиваясь туманом, шедшим с незнакомых страниц.

Бывали дни, когда Б. наверху не появлялся, а Зай за весь день не спускалась вниз, и тогда она старалась увидеть его издали, в пролет лестницы, например, или услышать его голос, когда он повышал его, отпуская посетителя. Мир был населен им, этот мир, где Зай теперь жила и росла, где всё было полно таким важным смыслом, куда она входила каждое утро, с тревожным восторгом, скрывая его ото всех и который потом уносился с собой, в свою вечернюю комнату.

Элизабет и другая толстуха заворачивали и увязывали пакеты; в магазине тихо шелестели страницами покупатели; по лестнице бегала мадемузель Пэнсон; телефоны звонили; какой-то длиннорукий, тонкошней автор сидел в приемной и ждал своей судьбы, внимательно разглядывая пепельницу. Маленькая дверь, заклеенная обоями, открывалась, зажигался свет. Список в руке, в голове буря мыслей, ноги подкашиваются при мысли, что, быть может, сегодня или завтра он опять улыбнется ей, скажет:

— А, Лили! Ну как, привыкаете?

Или, если они будут одни, что-нибудь подлиннее, как уже было один раз:

— А, Лили! Ну как, всё в порядке? Свободы своей не жалко? Не в Соню, значит. А как она? Кланяйтесь ей, пусть зайдет как-нибудь...

Она не успела ответить, он уже вышел из комнаты, а между тем, когда они были вдвоем, никакого страха перед ним не было, страшно бывало только при посторонних и не его, а именно этих посторонних. Страшно не было, было хорошо, было так, как никогда еще не было. И на этот раз не казалось, что и это пройдет, что и это ей нужно для чего-то. На этот раз она принимала всё совсем по новому, угадывая, что когда нибудь это станет очень важным, очень решительным. Да, по правде сказать, оно уже таковым и было.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Тягины вернулись из деревни во второй половине августа, а через несколько дней пришло от Даши тревожное письмо: она писала, что у нее на сердце неспокойно, какие-то дурные предчувствия, что нет никаких сомнений в том, что наступают события, и просила Зай приехать к ней, пока это возможно. Она говорила, что ей будет хорошо, что она погостит с месяцем, а там видно будет, что сама Даша в ближайшее время приехать в Париж не может, как обещала, и что «у нас», как писала Даша, Зай без дела сидеть не будет: есть, например, курсы языков, и Зай могла бы поучиться испанскому...

— Но я совсем не хочу учиться испанскому, — сказала Зай и это ей самой напомнило, как когда-то она говорила: «но я совсем не хочу в Париж!».

В конце месяца город стал, как обычно, наполняться людьми, но из сонина тесного кружка не было еще никого, и она целыми днями лежала на кровати в оцепенении. Любовь Ивановна, занятая заботами и домашними делами, испытывая непрекращающееся ни на минуту раздражение против нее, и отчасти — против себя, вовсе с ней не разговаривала. «Против судьбы не пойдешь, — приходило ей в голову по несколько раз в день. — Жиличка! В кого она? И кто ее сделал такой? Лентяйка? Нет. Дура? Нет. Что нам с ней делать? И чего-то эдакого в ней нет, чтобы мужчинам нравиться, при всей ее красоте. Я ее так боюсь, что не смею спросить, был ли ответ на ее прошение и какой именно?» И Любовь Ивановна злилась на себя все больше, но вопросов Соне не задавала.

Тягин служил. Он к старости становился большим любителем долгих разговоров на темы международной политики. Опять приходили Фельтман и Сиповский и они подолгу решали вопросы военного дела. Темнело рано. В столовой, где они обычно сидели, Любовь Ивановна шила и штопала, слушая их неторопливые беседы. Иногда открывали радио, слушали сладкую, мирную музыку, голоса — воинственные и грозные, или усталые и зловещие. Бессознательно Зай ограждала себя от

всего этого книгами; у нее было теперь свое, таинственное и огромное, похожее на счастье, существование; мир книг и сам Б. — всё связывалось в один узел. Жан-Ги она уже давно не видела.

Соня иногда приходила к ней в комнату и немного мешала этому волшебству, в котором Зай вечерами продолжала жить. Ей было заметно, как и другим, как Соня изменилась за это лето. Она была так худа, что избегала носить платья с короткими рукавами, чтобы не было заметно ее рук. Даша писала, между прочим: «Я совершенно перестаю ее понимать. Всё это просто неумно! Неужели она не понимает (прочтите ей это, пожалуйста), что она, наконец, становится всем в тягость? Папа далеко не молод, Зай работает и кормит себя. На кого Соня рассчитывает? Если бы не валяла дурака всю зиму, она бы теперь была где-нибудь на море, и переди была бы спокойная зима. Стоило писать о Ксенофонте! С таким же успехом можно было...» и т. д.

— Какая она стала благоразумная, — тихонько сказала Зай, прочтя это.

Когда Соня входила к ней в комнату, очень часто Зай с сожалением отрывалась от книги. Но бывали вечера, когда она продолжала читать, а Соня садилась тут же к столу, закладывала руки за голову и смотрела в пространство. Через четверть часа Зай говорила:

— Соня, что это ты сегодня такая?

Соня неизменно отвечала:

— Ты вчера или третьего дня задавала мне этот же самый вопрос.

— Разве? — Зай откладывала книгу, наклонялась к ней. Один раз ей захотелось обнять ее, поцеловать, но Соня отвела ее руку: что за нежности? Пожалуйста, без них.

Были дни, когда и в книжном магазине, и дома, чувствовалось какое-то возбуждение. У Любовь Ивановны было расстроенное лицо, а у упаковщицы Элизабет — заплаканные глаза. Даша опять писала: «Пусть Зай выезжает немедленно сюда, вы все там живете в каком-то отупении. Поймите, что

мы можем быть отрезанными друг от друга». Но Зай решительно заявляла, что никуда не поедет.

Тягин, зевая и вздыхая, оборвал последний календарный листик месяца и хмуро посмотрел на его изнанку. Это был русский отрывной календарь, покупаемый ежегодно, вот уже семнадцать лет. Постепенно отпадали от Тягина: полковые обеды, полковые панихиды, русские привычки — ежедневно начищать до блеску башмаки, спать в ночной сорочке, поститься Страстную неделю, париться, если не в русской, то в турецкой бане; одной из последних осталась привычка к календарю: афоризм о суете суёт, четверостишие на тему «что пройдет, то будет мило» и меню на завтра. Святые: Флор и Лавр, Илларион, Серапион... Любовь Ивановна уже несла ему грелку на живот. Пора было ложиться.

Зай всё сидела у себя за столом. Соня не приходила. Зай отчасти была рада этому: сегодня разговор непременно коснулся бы событий, мировых событий, в которых Соня так ловко умела разбираться. А Зай делала всё, чтобы оградиться от них. Перед ней лежало письмо Жан-Ги, написанное его неразборчивым, корявым почерком, буквы налезали одна на другую, образуя слова, а слова — решительный и окончательный вопрос: да или нет? Отвечать ей не хотелось. В памяти вставал сегодняшний день: Б. встретил ее на улице, когда она возвращалась после завтрака: «Скорей, скорей, — сказал он, делая строгие глаза, — опоздаете на работу и хозяин выгонит, не посмотрит на то, что платье горошком и очень вам к лицу». Об этом теперь она будет думать в течение долгих дней. Жизнь прекрасна! Можно жить в действительности, как в чудном сне. Можно от всего отгородиться и создать чудный мир радости, молодости и надежд.

Соня не приходила сегодня, она уже давно заперлась у себя. Все эти последние дни она ходила по дому, как тень, будто что-то случилось, но ничего, кажется, не случилось особенного, ни вчера, ни третьего дня, ни неделю тому назад. На службе у Зай было много дела (половина служащих была в отпуску) и никаких особых разговоров не было. Она не по-

смела спросить Б., уезжает ли он куда-нибудь, по всей видимости, он никуда не думает ехать. Видеть его каждый день. Видеть его. Видеть. Ничего другого ей не надо.

За сониной дверью всё затихло около половины одиннадцатого; в дверной щели, в коридоре, был виден свет. Он так и не погас до утра, и Зай много дней спустя вспоминала, как идя на кухню утром на следующий день, она увидела этот свет из-под двери, но не обратила на него никакого внимания. Впрочем, утром это могло показаться и солнечным светом: по утрам, в летние месяцы, в маленькую комнату Сони доходил его узкий луч. Между тем, Соня не спешила раздеться, она только сняла туфли и босая ходила по комнате; беспорядок на столе мешал ей почему то, и она принялась складывать книги стопкой, раскладывать привычные предметы по местам и кое какие бумаги выкинула в корзину.

Беспорядок комнате придавало количество накопленных за последнюю неделю и разбросанных газет, как только они были собраны, вдруг сделалось просторно и чисто. Присев на постель, она аккуратно сложила их. Сколько слов! Всё прочитано, узнано, понято. Не рассуждения хитрых и ловких людей, но факты; не предсказания, не предчувствия, но действительность. В последний месяц она вовсе не читала больше книг: в книгах сквозила для нее какая-то нечестность, какая-то игра: нельзя сказать просто — Иванов пустил себе пулю в лоб, надо окружить это действие какими-нибудь облаками, то и дело наплывающими на луну, паровозом, стонущим вдали, или время от времени капающим на кухне краном. Всё это, конечно, верно: и паровозы стонут, и капают краны, и луна обрамляет самоубийцу идущими и на нее, и на него облаками. Но иногда не хочется об этом знать. В газетах было меньше игры, иногда ее совсем не было. Номер от прошлой пятницы, номер от вторника... всё уже прошло. Завтра наступит новый день, или, вернее, не наступит.

В доме тихо. Хорошо, что тихо. Если бы сонин слух был раз в сто острее, она бы могла услышать журчание тихого разговора у Тягиных, в спальне, шелест страниц зайнной книги,

сонный брёд соседа по квартире, легкий звон спиц жилицы на-верху... Люди. Она жила так, как если бы их не было, вернее: они жили так, как если бы не было ее. Им нет дела, что в один из этих дней она почувствовала всю свою ответственность перед ними, — и перед ними, и за них. И за тех; и вообще за всё, что происходит. Это рухнула та единственная и последняя, жившая в ней столько времени, тайная, не облаченная в слова, надежда. Она была в ней, закравшись обманным путем в душу, и когда она умерла от страшного, дикой силы, рокового толчка (около недели тому назад), всё стало ясно: будем до конца честными, не побоимся ответить за всё и одним разом! Не будем задавать бессмысленных вопросов (имеющих некоторую традицию): «кто виноват»? и «что делать»? Я виновата, я виновата во всем, и отвечаю за всё. Я всё это сделала, никто другой.

Стакан, до самых краев наполненный водой, она поставила на стул подле своего изголовья, откинула одеяло, сняла кофточку и вышла из упавшей к ее ногам юбки. Поясок с подвязками сносился совершенно, хорошо, что никто не видит его. Узкие, босые ноги холодны, лифчик два раза ушил сзади — так она исхудала. Плотно завернуться в одеяло, глубоко уложить голову в подушку. Какие будут сны и будут ли?

После долгих пререканий с Любовью Ивановной и отцом, Зай настояла на своем: она теперь не возвращалась завтракать. Она шла в маленькое кафе около церкви св. Сюльпиция и там съедала аршинный сандвич с ветчиной и выпивала чашку кофе. Туда приходила иногда Тереза, машинистка, и вместе, в сквере, на скамейке, они ели яблоки и кормили птиц хлебными крошками. Там она читала до той самой последней минуты, когда надо было бегом бежать на работу. «Не посмотрит на то, — сказал он сегодня, — что платье горошком». Он это сказал, делая жесткое, страшное, чужое лицо. «И очень вам к лицу». «И очень вам к лицу». Иногда он смотрит совсем по другому, такими добрыми и очень печальными глазами, а говорит деловые, сухие фразы. «И очень вам к лицу», — сказал он сегодня.

На следующее утро, как обычно, она встала рано, но Тягин вставал еще раньше нее: он теперь работал в Клиши счетоводом и уходил из дома в восемь. Любовь Ивановна хлопотала на кухне, у них там иногда происходили по утрам объяснения: она подозревала, что он не равнодушен к какой-то конторщице, он сердился, отрицал какой бы то ни было интерес к женскому полу, и не только теперь, но и вообще в жизни (ему самому сейчас это искренне казалось). Внезапно, он припоминал ей какое-то недавнее ее кокетство с Сиповским или любимый кусок Фельтмана, с чувством положенный ему на тарелку, на прошлой неделе. Зай входила и разговор обрывался; выпив кофе, Тягин прощался, многозначительно смотрел на жену, та кидалась ему на шею, и они, довольные друг другом, расставались до вечера. Зай медленно пила кофе, держа под столом книгу, грела утюг, разглаживала свое платье, осматривала, нет ли на нем пятнышка, одевалась и уходила тоже.

У бледной цветочницы на углу бульвара всё благоухало от поливки, она только что открыла лавку и вывесила черную дощечку, на которой мелом было нацарапано: «Сегодня пятница, 1 сентября. День св. Жиля». Маленькие и большие Жили ждут подарков и цветов. Радостный день для всех, какие есть на свете, Жилей. У ювелира жемчужное ожерелье давно вползло в свою раковину и теперь толстые кольца сидят за решеткой и смотрят на проходящих. Магазин электрических принадлежностей, магазин мебели, магазин материй. Всё для того, чтобы жизнь была прекрасной, легкой и счастливой. Цель людей сделать жизнь приятнее, чем она есть. Всё существование посвящает человек тому, чтобы создавать вокруг себя удобства — себе и своим. Этим, главным образом, занимается Даша. «Даша, что ты с собой сделала?» — это звучит неумно, и пора перестать твердить это на бегу, утром, на улице, перебегая мостовые.

В этот день Б. ничего не сказал ей и кругом тоже все были очень сдержаны, и с ней и друг с другом. Зай понимала, что люди думают о близкой войне, но ее это занимало мало. Ей

теперь было ясно, что маленькая книга, содержавшая в себе столько разнообразных вещей, теперь окончательно превратилась в тысячу книг, среди которых судьба поставила ее жить и работать, так же, как она сама, из той, что целовала в саду цветы, превратилась теперь в эту стройную, деловитую барышню, в безукоризненно-чистом платье, с длинными лакированными ногтями и тонкой золотой цепочкой на шее.

В час завтрака, в сквере, на этот раз было совсем пусто; на дорожке шуршали первые желтые листья. Они, должно быть, были здесь и вчера, но она думала о другом и только сегодня заметила их. Впереди два нерабочих дня, два долгих дня, когда она не увидит Б. Значит: до понедельника, листья и птицы, желтые на дорожке и зеленые на деревьях, воробыни и голуби!

Вечером она возвращалась домой с жалованьем в кармане. Половину она отдавала Любови Ивановне, другую оставляла себе, и сейчас же ее тратила, так что потом приходилось иногда экономить на яблоках. Какое-то топтанье людей вокруг газетного киоска. Вечерело. Даль бульвара, в сторону Сены, погружалась в лилово-серую, нежно-густеющую, еще не прооколотую огнями дымку.

Она взбежала по лестнице и позвонила два раза. Всё было тихо; не было ни шагов за дверью, ни голосов. В это время обычно Тягин уже бывал дома, обед был на столе, в кухне стучали кастрюли, в столовой играло радио. Зай прислушалась. Ни звука не проникало на площадку лестницы, где она стояла, вытянув шею и ожидая, что звякнет что-нибудь или запаркают шаги... Она позвонила еще раз: два коротких звонка — но молчание продолжалось. И тогда она вдруг смутно почувствовала беспокойство, молниеносно пролетели в памяти ее какие-то образы, без всякого соответствия с этой минутой и без всякой связи между собой: молча топчущаяся вокруг газетного киоска толпа, одинокий вчерашний вечер над книгой, отсутствие Б. сегодня днем и бесчисленные, напрасные вызовы его по телефону из провинции; пустота птичьего сквера; ранний уход Сони, накануне вечером, к себе и ключ повернутый в

замке. Она нажала пальцем звонок и долгий, настойчивый звук прозвенел в доме. Зай отдернула руку, приложила ухо к двери; где-то в глубине квартиры раздались едва слышные шаги. Сердце ее билось. Шаги стихли, и вдруг за дверью раздался шепот: два шопота спорили о чем-то. Зай ударила в дверь: «Почему вы не открываете? Что случилось?» В глубине передней кто-то с кем-то шептался, опять приблизились шаги. Дверь дрогнула. Лицо Фельтмана появилось в ней, а за ним стоял Тягин. И внезапно Зай почувствовала, что ей хочется крикнуть, страшным голосом закричать и броситься к обоим. Она задрожала всем телом, выпустила из рук книги и сумку, из которой что-то покатилось по полу.

В спальню, куда она кинулась, на кровати лежала Любовь Ивановна, глаза ее на бледном лице были красны и неподвижны. Она не взглянула на Зай и не переменила их выражения.

— Не ходи туда, — сказала она совсем тихо. — Не смотри на нее.

Тягин всхлипнул. Он заговорил быстро и невнятно о том, что Зай хорошо было бы вообще уйти до утра куда-нибудь к знакомым, но Зай не уловила его слов. Фельтман стоял где-то позади него и молчал.

— Не ходи туда, — повторила Любовь Ивановна, — не надо смотреть на нее. Ничего не поправишь.

Но Зай открыла дверь сониной комнаты. Лампа горела желтым светом, никого не было. У правой стены, на узкой кровати, лежала мертвая Соня.

Паркета, гладкого и блестящего, по которому можно было пройти далеко в полной безопасности, скользя и резвясь на нем, не было больше. Некуда было поставить ногу, пола не было, не было вообще ничего, на чем можно было бы удержаться: пропасть перед Зай, шаг — и она падает в нее, и это-то и есть реальность, а паркет, на который ступала ее нога, был только сном. Всё, всё было маревом, и она жила в нем, жила в чем-то, чего вовсе нет, не существует, что выдумали люди все вместе, сговорившись друг друга обманывать, и с ними вместе — она, в трогательном единодушии. Она выдумала стихи,

театр, любовь, радость жизни, лампу, сиявшую вечерами над раскрытой страницей, она выдумала, что существует освобождение от страхов, что у каждого человека светлая, гордая, сильная душа, свободная и, может быть, вечная. Кто-то однажды ночью, кажется, погрозил ей пальцем, как ребенку: осторожно, барышня, не ошибиться бы вам в своих расчетах, барышня! Это было у решетки сада, где мертвая собака лежала, растопырив ноги, и шел дождик, не шутливый, не игривый, весенний, городской дождик, а дождь, шептавший что-то важное и грозное, чего она не разобрала. Маревом была вся жизнь ее, и зря были все ее усилия стать человеком из дрожащего насекомого, потому что она опять дрожит, и еще сильнее прежнего. Зря было всё, обманом были радости, и надежды не несли в себе никакого настоящего, реального содержания, если была смерть.

И в книгах всё завивалось вокруг да около, и город, где она жила, был тоже миражем чего-то прекрасного и ложного: пустыня, тюрьма. Расчерченные клетки домов и комнат, всюду люди, люди, люди, копошаются, дрожат, трепещут вокруг громкоговорителей и газетных киосков. Весь мир расчерчен на клетки, без воздуха, без солнца; люди наползают друг на друга, валятся в кучу. И луна сияет над миром — тоже заключенная в клетку, в железную клетку над Парижем, как бывает в полнолуние, когда смотришь на нее с террасы Трокадеро, и когда она на несколько минут проходит позади Эйфелевой башни.

Однажды она стояла там с Жан-Ги. Всё это прошло, речество, без смысла и цели! Впереди — ничего. Один страх. Если когда-нибудь будут намеки на что-то, что не мираж и не марево, она заткнет уши, зажмурит глаза. Она теперь отброшена назад, в свою слабость и косность, в эту дрожь, которую во второй раз уже не одолеть. Распадается мир, где горели светом чужие окна, где Зай выходила на маленькую эстраду в веселом парике и туфельках без задников... Мы много смеялись. Мы хотели жить. Я хотела защититься, отгородиться от всего этого, ничего не знать, ничего не слышать. Но кто я? И для чего я? Если я ничего не могу и никогда не могла.

Всё было тщательно прибрано на письменном столе, на полках, в шкафике. Когда и кем это было сделано? Любовь Ивановна не посмела взломать двери, взломал Тягин, которого она вызвала по телефону, вместе с консьержем, и это было в одиннадцать часов утра. Доктор пришел сперва, потом Фельтман... или наоборот. Никто этого уже не помнил, сам Фельтман не помнил, когда она пришел. Доктор строго потребовал, чтобы ему дали пустую коробку от снотворного, валявшуюся под кроватью; стакан воды опрокинули, — то, что еще в нем оставалось, пролили, но в течение дня всё высохло; стакан раздавила чья-то чужая нога.

Зай позвали из спальни. Она тихо закрыла дверь и вернулась в комнаты.

— Почему ты дрожишь так? Поди на кухню, выпей воды. Папочка, смотри, как она дрожит, — говорила с тоской Любовь Ивановна, раскидывая руки на широкой постели, вся в слезах. Никто не отвечал ей. В столовой горел свет; Зай покалечилась, что отец хочет быть один и словно прячется от них; она не знала, куда ей деваться. Постояв в коридоре, она опять вошла к Соне, стараясь не скрипнуть дверью.

Она ли сама убрала здесь всё, так аккуратно и чисто, вчера вечером, или сегодня за ней убрали другие? На узкой своей постели она лежала, с головой укрытая простыней. Это была истина, это была реальность, всё остальное было маленькое, ничтожное, убогое человеческое воображение. В углу стоял стул, обычно стоявший у сонина стола, и на нем висела пара чулок — вероятно, единственная ее пара. На стуле были сложены газеты, большая кипа газет, накопленная дней за десять. На столе лежало стило, карандаш, ножницы, узкая разрезалка для книг — в необыкновенном, неживом порядке. Опять Зай позвали, и она отступила от стола, сняла со стола чулки, поддержала их в руках и бросила куда-то. Белая простыня каменными складками укрывала длинное, узкое сонино тело. Нет, это невозможно, невозможно, невозможно, — вдруг заговорила Зай, — этого не может быть, этого не бывает, что же это?

Воскресни, вернись... Я не могу так. Значит всё неправда была, есть и будет? Что я говорю? Кому? Кто меня слышит?

Машинально она забрала груду старых газет и вышла, закрыв дверь, прошла коридором на кухню и бросила их под стол. И неожиданно она увидела в углу кухни, на стуле, Фельтмана. Почему он был здесь и сколько времени он здесь сидел?

Тягин ходил по квартире, был слышен легкий скрип его шагов, бормотание его и всхлипывания, то в темной передней, то в спальне, то в ванной. Что-то где-то упало. Зай вернулась к Любови Ивановне. Это хождение его будет продолжаться всю ночь, десять ночей, сто ночей. Нет причины, чтобы оно кончилось. Любовь Ивановна попросила потушить лампу, ей хотелось лежать в темноте. Зай выключила свет. На кухне Фельтман сидел над газетами, машинально перебирая их.

— Я не понимаю, — говорил он, — я ничего не понимаю. Где же логика?

Зай села на табурет, напротив него, около раковины.

— Зачем понимать? — спросила она.

— Нужно понять. Но нет способа понять. Почему? Кто нибудь что-нибудь понимает? Вы понимаете?

— Нет.

— Вы только дрожите и боитесь всего, как маленькая. Нужно быть мужественным, твердым, стараться понять. Найти логику.

— Не надо, — сказала Зай

Газеты падали у него из рук, он подбирал их, осматривал и снова ронял, и снова автоматически принимался их разглядывать. Плюсовые, тупые, одинаковые рожи были нарисованы на них то здесь, то там, с прямыми волосами, узкими глазами, без носов, с волнистой чертой вместо рта.

— Не всё ли равно? — сказала Зай после долгого молчания.

— Неужели вы не видите, что тут было что-то, что надо понять? Ведь это как же так, без всякой причины? Ведь это нелогично, невозможно.

— Почему невозможно?

Фельтман не ответил. Зай закрыла глаза.

— Всё с начала надо начинать. Но не стоит начинать. Были иллюзии.

Фельтман не понял, о чём она говорит.

— Конечно, — сказал он, — жизнь есть вообще иллюзия.

— Всё было совершенно не то.

— Да, конечно, — откликнулся он опять, не умея угадать её мысль.

— И всё тёперь гораздо страшнее, чем когда бы то ни было... Вы не знаете, Даше телеграфировали?

Фельтман кивнул головой. Зай пошла к дверям. Где-нибудь, может быть, всё было иначе, но здесь, сейчас, всё равно, телеграфировали Даше или нет.

Любовь Ивановну не было слышно в темноте, а Тягин всё ходил и ходил по темной тёперь столовой, вокруг стола; на кухне тихо шелестел газетами Фельтман.

В одной был вырван клочок, другая была кругом зарисована. Вчерашняя была сложена так, как если бы она даже не была прочитана. На одной поперек первой страницы, поперек огромного заголовка, шла черта, сделанная толстым карандашом. Он всё кинул в одну кучу. «Понять, понять, — повторял он про себя. — Главное — понять. Была же причина! Найти логику».

В первом часу ночи он ушел. Зай в это время, вся в слезах, уже лежала рядом с Любовью Ивановной. Тягин всё шаркал в столовой и коридоре; машинально он пошел запереть дверь за Фельтманом. «Зачем он это делает, — думала Зай, — нет замков, нет стен, ничего нет, никакой защиты. Я ложусь здесь, а не у себя, чтобы вместе дрожать. Люди, давайте все вместе дрожать!»

— Папа, иди сюда!

Тягин вошел, Любовь Ивановна открыла глаза. «Мы можем здесь втроем», — сказала Зай, давая ему место на широкой кровати. «Их, может быть, утешило бы немного, если бы я сказала: давайте вместе дрожать! Но они не поймут этого, в них еще целы остатки их прошлого мужества, когда он воевал,

а она шла за ним, как слепая; остатки их прошлой веры... Я же умею только дрожать, как когда-то. Я думала: судьба моя и то, и это. Как я мечтала!.. Но судьба моя есть дрожание. Ничего другого мне не было дано. Меня раздавили в самом начале. Всё другое было ошибкой».

В это время что-то пролетело мимо заина лица, но она не могла его видеть: в спальне было темно, только в прихожей продолжало гореть электричество, которое Тягин не тушил. Это была моль, или маленькая муха, какое-то насекомое, но Зай показалось, что ее задел собственный волос и она, с усилием подняв руку, провела ею по лицу. Лицо было мокро, и ладонь намокла тоже. Зай вытерла ее о наволочку.

Hemmarö — Париж, 1948 - 1950.

Н. Берберова.

\*\*  
\*

Я знаю: мир обезображен.  
Но сквозь растленные черты  
Себя еще порою кажет  
Лик изначальной красоты.  
Он просияет на мгновенье  
И снова скроется во мгле,  
Но после каждого виденья  
Немного легче на земле.  
И с каждым разом мысль упрямей,  
Что мир совсем не обречен,  
Что словно фреска в древнем храме  
Лишь грубо замалеван он.  
И некий Мастер в час свершений,  
К нему заботливо склоняясь,  
Освободит от оскорблений  
Его классическую вязь.

1951.

Д. Кленовский

# МАТИЛЬДА

## РАССКАЗ

Это было лет пятнадцать тому назад. Не очень давно впрочем, достаточно для того, чтобы позабыть эту историю навсегда. Но каждый раз, вспоминая ее теперь, я чувствую какую-то странную дрожь, какое-то непонятное волнение, словно эта история была не действительным случаем из жизни, а каким-то ярким эпизодом загадочного, незабываемого сна.

Я работал тогда в одном из глухих уголков старого Бруклина, который почему-то назывался Площадь Льва. Это была даже не площадь, а пересечение нескольких узких, старомодных улиц, населенных итальянскими эмигрантами и неграми. На одном углу стояла убогая церковь, на другом вечно пустой гараж, а на третьем — мрачный, кирпичный дом, где и помещалась моя мастерская. Что еще было примечательного на Площади Льва, я сейчас не помню, но эти три здания — церковь, гараж и кирпичный дом — я помню хорошо.

В мастерской ремонтировали и выверяли испытательные приборы для текстильных машин. Я не буду объяснять сейчас, что это были за приборы. Были сложные, величиной в два человеческих роста, были и такие, что их можно было унести в кармане. Помню был один с электрическим мотором — он развивал давление в полтонны. Назначение многих из них я так никогда и не узнал. Так как я был знаком с часовым делом и немного с черчением, то мне было поручено исправление дорогих швейцарских тахометров. Тахометр — это инструмент для исчисления оборотов вала или колеса в машине.

Я сидел немного поодаль от остальных рабочих и тихонько занимался своим делом. Работа не нравилась мне. Верстак был

низкий и у меня вечно ныла спина. В мастерской стоял такой машинный гул, что люди глохли. Ни к чему нельзя было прокоснуться без того, чтобы не потревожить толстый слой свинцовой пыли. Кроме того, согласитесь сами, — какой из молодого человека механик, если он, в свободное от работы время, перечитывает в десятый раз «Жана Кристофа».

Рабочие не долюбливали меня. Я был для них белоручкой. На токарных станках я не работал, напильником не орудовал и по моему адресу часто отпускались нелестные замечания. Так как я не был особенно общительным парнем, то постепенно между мной и остальной группой рабочих выросло нечто вроде взаимной неприязни. Как-то раз я не пошел на работу. Несколько раз опоздал. Короче — я начал страдать.

Хозяин, конечно, всё это видел. Это был высокий, костиный человек, с огромной головой и такими толстыми стеклами в очках, что когда я смотрел на него, то мне казалось, что я попал в лапы к какому-то страшному, жадному восьминогу. Он был немец, я русский; иногда я думал, что он ненавидит меня, и я не понимал, почему он меня держит в своей мастерской.

Однажды он предложил мне зайти к нему на дом, осмотреть его каминные часы, которые плохо били. Я пришел и сделал генеральный осмотр. Часы нужно было отнести в мастерскую, разобрать и почистить — я объяснил всё это хозяину и он как-то быстро согласился со мной. Тут же он познакомил меня с семьей — женой, полной, молчаливой женщиной, и дочерью. Это была на редкость некрасивая девушка. Высокая, худая; волосы бесцветные, глаза маленькие, водянистые; но что было самое уродливое в ней, так это ее челюсть. Узкая, длинная; не челюсть, а утюг. Скажу откровенно — сейчас мне трудно дать правдивое описание наружности этой бедной девушки; я был тогда в каком-то болезненном состоянии, быть может она и не была так уродлива, но мне она показалась такой некрасивой, что я испугался. Ее звали Матильда.

Несколько дней я возился с часами и починил их. Отнес их немцу. Опять виделся с семьей. Меня угостили чашкой кофе и шоколадным тортом. Матильда проводила меня до дверей.

Придя на работу на следующий день, я нашел на своем верстаке бумажку. Это был чей-то грубый рисунок, изображавший меня и дочь хозяина в таких порнографических позах, что меня стошило. Но не это возмутило меня. Я хорошо знал юмор своих коллег по мастерской. Я был буквально потрясен маленькой деталью рисунка: художник изобразил меня с бумагой в руке, на которой было выведено крупными буквами «прибавка». Этого еще не доставало! От негодования я потерял способность работать на весь день. Но тут же заметил, вернее, почувствовал, что отношение рабочих ко мне как-то изменилось. Меня, как будто, решили оставить в покое. Прходя мимо меня, кое-кто пытался даже заговаривать со мной почти по-приятельски. Я был очень рад и объяснил эту перемену по-своему: я был обижен и меня решили приласкать. Так часто бывает в жизни: люди не понимают друг друга до первой ссоры; поссорятся, помирятся и вдруг станут друзьями. Быть может, и эта чья-то грубая выходка будет мне на пользу.

Прошло еще несколько дней. Как-то, возвращаясь домой после работы, я очутился на улице рядом со своим хозяином. Обычно он уходил домой раньше всех, оставляя дело на попечение управляющего, но сегодня он, повидимому, замешкался и вышел из мастерской вместе с рабочими.

Я поклонился ему. Он радушно кивнул мне. Несколько шагов мы прошли молча. Потом он вдруг сказал:

— Часы бьют хорошо.

Я ответил, что очень рад. Опять прошли несколько шагов. Я уже хотел было прибавить кое-что относительно неблагодарности часовного дела, как мой хозяин, оглянувшись по сторонам, неожиданно предложил:

— Зайдем в бар, выпьем пива.

Я был так поражен его словами, что не мог даже ответить. Я просто махнул рукой, давая понять, что предложение принято.

Мы зашли в ближайший бар. Бармен подошел к нам, вытер стойку полотенцем и вопросительно посмотрел на нас.

— Два пива, — сказал хозяин, кладя деньги на стойку.

Бармен налил два стакана. Хозяин сделал глоток и как-то любопытно осмотрел меня.

— Тебя никто не ждет сегодня? — спросил он.

Я ответил:

— Нет.

Он отпил еще пива и продолжал:

— Разве у тебя нет девушки?

Я мотнул головой.

— Нет.

Хозяин улыбнулся хитрой улыбкой.

— Что же ты делаешь после работы — играешь на мандолине?

— На цитре, — ответил я, заикаясь.

Хозяин допил пиво и уже другим тоном, знакомым мне по мастерской, сказал:

— Моя дочь собирается сегодня играть в теннис. Если ты свободен, — можешь составить ей компанию. Я дам автомобиль. Ты умеешь управлять?

Я опять коротко ответил:

— Нет.

— Ну, это ничего. Она тебя научит. Она у меня не красавица, но толковая девушка.

Я похолодел. Мурашки пробежали у меня по спине. Дрожащей рукой я схватил свой стакан и залпом выпил пиво. Мы стояли с пустыми стаканами в руках и смотрели друг на друга. Хозяин заметил мой испуг и с его лица сошла искусственно-хорошая улыбка. Словно он кончил шутить и перешел к делу. Он посмотрел на меня сверху и раздельно произнес:

— Впрочем, как хочешь. Если не можешь сегодня, то приходи в воскресенье, часов в десять утра...

Я поторопился согласиться.

— Да, лучше в воскресенье.

— Хорошо. До свидания.

И я остался один. Всё это было так неожиданно, так необыкновенно, что в тот момент я потерял способность обращаться. Мне казалось, что произошло что-то исключительно-чу-

довищное. Самое ужасное было то, что не было объяснения. Еще когда мы заходили в бар, у меня мелькнула мысль, что мой хозяин решил за стаканом пива намекнуть мне на неуспехи в работе. Своеобразная деликатность. И вдруг такая неожиданность. Я ждал всё, что угодно, только не это!

Растерянный и подавлённый, я поплелся к себе домой. Весь вечер я не мог найти себе покоя. Ночь спал плохо; мучили сны. Всё какие-то крабы, раки, текстильные машины.

Но утром, когда нужно было ити на работу, я немного пришел в себя. Проанализировал событие. Что, собственно говоря, произошло? Да, ведь, ничего. Ну, однокая, некрасивая девушка; наверное, никто и никогда ее никуда не приглашает. Вот, родители и решили сами помочь ей, так сказать, форсировать события, столкнуть ее с кем-либо — пусть немножко посмеется; ведь скучно же ей одной... Случайно выбор пал на меня.

Как-то быстро я решил: пойду. Будь что будет, а пойду. Закрутил новый галстук и отправился на работу.

Кончилась неделя. В воскресенье, в десять часов утра, я уже был перед домом хозяина. Позвонил. Матильда открыла дверь. Боже, как она была некрасива! Зачем природа так безжалостно смеется над людьми? Ну, хоть бы немножко ниже ростом, немножко полней, немножко свежей. И эта ужасная челюсть... В тот момент я искренне пожалел ее. Хорошо, я потеряю еще один день своей жизни, их было уже так много и, наверное, будет еще больше, но сегодня я постараюсь развлечь это несчастное существо. Пусть она хоть на один день забудет свое уродство.

Матильда сияла. На ней был модный, спортивный костюм, широкая, белая юбка, блузка, короткие носочки и белые туфли. На другой девушке всё это было бы чертовски кокетливо, но бедная Матильда! На кого она была похожа в этом наряде? Всё мое решительное настроение сразу исчезло.

В квартире никого не было. На столе лежали уже приготовленные бутерброды, термос; на диване — ракетки и мячи. Мы обменялись несколькими незначительными словами и вы-

шли на улицу. Автомобиль хозяина был начищен, — наверное, промаслен и наполнен газолином. Не очень модный, но еще в хорошем состоянии, Бюик. Мы сели и поехали.

Был чудный день. Солнце светило ярко, воздух прозрачный; один из тех редких хороших дней, которыми так небогат нью-йоркский климат.

Матильда хорошо управляла машиной; спокойно, уверенно. Видимо, она знала машину и любила управлять. А тут еще с ней рядом молодой человек. Но молодой человек не спешил разговаривать.

Пока мы ехали по городу, я старался не отвлекать ее от руля. Но вот мы выехали в предместье; потянулись поля, сады, широкие дороги. Я немножко размяк.

— Далеко ли до теннисного клуба? — спросил я Матильду.

— Не очень. Теперь близко.

Она мельком взглянула на меня и прибавила:

— Только мне не особенно хочется туда ехать.

Бедняга! Ей не хотелось появляться там, где было много веселой, красивой молодежи. Года два тому назад я был у знакомых, на одной ферме, где была маленькая теннисная площадка. Это было миль двадцать от Нью Йорка. Я рассказал Матильде. Она спросила, как называется местность. Я назвал. Она оживилась.

— Давайте, поедем туда сейчас.

— А не далеко ли будет?

— Глупости, машина выдержит.

Машина-то выдержит, подумал я. Мелькнула мысль попросить Матильду научить меня управлять автомобилем. Но удержанлся.

Мы выехали на боковую дорогу и помчались в другом направлении. Ферма находилась недалеко от озера с индейским названием. Мы немного заблудились, потом у кого-то спросили и минут через сорок пять уже въезжали во дворик фермы, встреченные лаем собак и кудахтаньем кур. Хозяева, старые галичане, вышли навстречу. Я напомнил им, что был у них два года тому назад, назвал имена своих друзей, и хотя все

это не произвело большого впечатления на старики, мы получили по стакану молока и вместе со стариком отправились к озеру. Там ничего не изменилось. Мне показалось, что даже старая, дырявая сетка для тенниса была та же самая. Я дал старику доллар и он оставил нас одних.

Матильда была совершенно счастлива. Мы начали игру.

Должен вам сказать, что за всю свою жизнь я играл в теннис всего три раза. Об игре я имел смутное представление. Два человека посыпают мяч над сеткой, причем каждый старается запустить его так далеко или так высоко, чтобы его партнер был не в состоянии послать мяч обратно, по крайней мере, узаконенным теннисной игрой способом. Вот, по-моему, в чем состояла игра в теннис.

Матильда знала игру в совершенстве. Я оказался профаном. Мои мячи летали не только над сеткой, но даже через мою партнёршу. Она то и дело бегала в кусты. Ее же мячи всегда летели прямо на меня. Она попросту учила меня играть.

Мы быстро утомились. Стало жарко. Мне стало скучно. Но Матильда, казалось, ничего не замечала. Чем старательней и оживленней играла она, тем всё мрачней становилось у меня на душе. Я вдруг вспомнил разговор с ее отцом в баре. Мне показалось, что я начал кое-что понимать. Да ведь я круглый дурак! Как я мог не понять всей этой истории. Даже рабочие поняли ее. Ведь я не играю с Матильдой в теннис, я действительно зарабатываю себе прибавку. Ужас... Разве мог бы так поступить Жан Кристофф? Конечно нет. Так почему же я...

Меня охватил нехороший страх. Словно туман повис у меня над головой. Я задрожал...

А Матильда перестала шутить. Видимо, ей захотелось наказать меня за плохую игру. Мячи стали летать прямо, но мимо меня. Теперь я то и дело бегал в кусты. Матильда играла и смеялась. А что если?.. Страшная мысль промелькнула у меня в голове.

Вдруг мяч просвистел надо мной и скрылся далеко за площадкой. Матильда бросила ракетку прочь от себя и весело

растянулась на траве. Я увидел голую ногу и белые теннисные штанишки. Мне показалось, что я понял всё!

Я сбежал с холма, на котором стояла ферма. Быстро нашел мяч. Что же теперь? Обратно? В моей голове молниеносно промелькнул, созданный моим разгоряченным воображением, фильм: вот мы с Матильдой кончили играть. Отдыхаем. Едем домой. Останавливаемся у маленькой таверны, пьем коктейли. Приезжаем домой. Там ждут нас отец и мать. Ужин. Непринужденный разговор. Через неделю мы идем с Матильдой в кинематограф. Она учит меня управлять автомобилем. Вскоре я ее закадычный друг. В семье я, как свой. Получаю прибавку! Да что там прибавку! Ее отец прямо говорит мне: «женитесь, дети. Я стар, наследников у меня нет. Умри я с женой, кто будет хозяиничать в мастерской? А дело-то ведь доходное». И вот я женат. Я — управляющий. А там проходит еще несколько лет, старики умирают и я уже хозяин. Строгий, деловитый. И все мои знакомые говорят про меня: молодец, сделал карьеру. Такие не пропадают...

Я спустился к дороге, обвивающей синее озеро, я посмотрел назад. Там ждала меня Матильда. С минуту я постоял, словно я сам не поверил тому, что я собирался сделать. Потом, не думая ни о чем, я побежал прочь от фермы. Сначала я бежал медленно, затем быстрее, еще быстрее и наконец я побежал так, что слезы полились у меня из глаз. Впрочем, быть может, это было не от быстрого бега, а от чего-то другого. Не знаю.

Я бежал долго. Перепрыгивал через какие-то ямы, канавы; перебегал дороги, поля; продирался сквозь колючие кусты. Теперь не помню, сколько времени я бежал. Отдыхал, бежал, лежал, опять бежал... Добежал до какого-то поселка. Пил соду. Увидел проезжающий автобус. И только тогда, уже влезая в автобус, я заметил, что всё еще крепко сжимал в своей руке теннисный мяч. Я выбросил его в окно и, совершенно обессиленный сумасшедшим бегом, повалился на сиденье. Я был как во сне; ничего не видел, не слышал, не чувствовал.

Часа через два я был дома, в Нью Йорке. Там ждал меня

обед; мои книги, симфоническая программа из Радио Сити. Весь день я просидел дома. Мне не было стыдно; вообще, было какое-то странное чувство, словно я вступил в новую жизнь. Переступил какой-то порог.

На следующий день мне стало хуже. Стали мучить тяжелые, какие-то сырье, переживания. Всё-таки слабость, ужасная неуклюжесть, это мое бегство от Матильды! Успокаивал себя: значит так было нужно. На работу не пошел. Гулял в парке, был в музее, сидел в прохладных уголках и перебирал в уме все перепетии своего удивительного приключения. Вечером был в кино.

Но утром во вторник пошел. От этого я не мог убежать. Словно какая-то сила тянула меня в мастерскую для того, чтобы испытать всё то, что мне нужно было испытать. Заглянуть, так сказать, на дно. И вот я опять на Площади Льва.

Мастерская встретила меня тихо, затаенно. По этой за-таенности я понял, что всем известно о том, что произошло в воскресенье. Но никто не обращался ко мне с вопросами. Я сел на свое место и вялыми руками принялся разбирать свой инструмент. Прошло полчаса. Тишина стала невыносимой.

Вдруг я услышал знакомый скрип. Боком глаз взглянул. Хозяин стоял в раскрытых настежь конторских дверях — огромный, костистый, страшный. Белые глаза смотрели прямо на меня.

Я замер. Замерла и мастерская. Все станки, как по команде, остановились. Глухо прозвучали медленные шаги и остановились за моей спиной.

Я поднялся и обернулся. Хозяин стоял передо мной. Что-то новое было в его глазах: какая-то усталость, сраженность. Какая-то, словно, глубокая печаль. С минуту мы стояли друг перед другом молча, без движения, как тогда в баре. Вдруг хозяин поднял руку. Мне показалось, что он хотел ударить меня, и я отшатнулся. Но он спокойным, осторожным движением протянул мне конвертик.

— Что... это? — спросил я его шопотом.

И мой хозяин ответил:

— Расчет.

Повернулся и пошел в контору. Я опустился на свое место с конвертиком в руке. Вся кровь остановилась в моих жилах. Мастерская провалилась куда-то. Вслед за мной. В прощаль...

Я очнулся от страшного шума. Вокруг меня происходило что-то необыкновенное. Кричали, хохотали, плевались; обзывали меня чудовищными словами, тыкали в меня палками, бросали окурками и тряпками... Принесли мой пиджак, вывалияли его в грязи и бросили мне под ноги; какие-то лица смотрели на меня из конторы и тоже смеялись. Кто-то облил меня водой, кто-то пнул меня ногой...

Кое-как собрав свои вещи, я направился к выходу. Я шел, как в тумане. Уже в дверях меня схватили за плечи и так сильно толкнули вон, что я чуть не покатился вниз по лестнице. Возмущенный, я обернулся, чтобы запротестовать, но, увидев перед собой орущую толпу рабочих, их разъяренные лица и поднятые кулаки, я вдруг понял всю бессмысленность своего протesta и мне стало внезапно смешно. Я громко рассмеялся и выскоцил на улицу. Там уже собиралась, привлеченная шумом, небольшая толпа прохожих. В последний раз я посмотрел на убогую церковь, на гараж и на темные окна мастерской и легко пошел прочь. Так состоялось мое прощание с Площадью Льва. Больше я ее не видел.

Вот и конец моей истории. Что я мог бы прибавить к ней? Право, нечего. Это было лет пятнадцать, может быть, двадцать тому назад. Но каждый раз, вспоминая всё это теперь, я вижу перед собой странные глаза своего хозяина, глаза смертельно раненого восьминога, и слышу его негромкий голос, произносящий короткое, простое слово:

— Расчет!

Тогда оно прозвучало в моих ушах, как удар грома.

М. Чехонин.

# БЕСПРИЗОРНИКИ

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Имеется у нас Секир гора,  
Мертвые зарыты там тела,  
Ветер по полю гуляет,  
Мамка родная не знает,  
Где сынок зарытый навсегда.  
Эх, Москва, Москва, Москва!  
Сколько ты нам горя принесла!  
Все судимости открыла,  
Соловками наградила.  
Эх, зачем нас мама родила!»

Из лагерной песни.

Прошло два года. После того, как судьба разлучила меня с Петром, я подружился с Шваброй. С ним мы вместе и жили и работали.

Швабра был бойкий и смешленый парнишка, ловкий и смелый в работе. Но работать с ним было трудновато. У него была одна слабость, из-за которой у нас часто обрывались доходные дела. Он страшно любил драться. Задирал встречного и поперечного, когда нужно и ненужно. А когда видел дерущихся, тут уж забывал всё на свете. Остановится, как вкопанный, глаза загорятся, ноздри раздуются, бросит: «Погоди, я сейчас...» и сломя голову бросается в драку. Поэтому Швабра ходил всегда в синяках, ссадинах, шишках, с подбитыми глазами. Под носом у него вечно виднелась запекшаяся кровь. Не обходилось и без вывихов. Но на это он нисколько не жа-

---

См. кн. 26-ю «Н. Ж.».

ловался и чувствовал себя прекрасно. Ради драки Швабра готов был снести всё, что угодно. Однако, это столь пагубное пристрастие часто отражалось не только на его наружности, но и на моей, а, главное, на нашей работе: из-за этого мы часто оказывались в милицейском участке.

На юге России Ростов был главным воровским центром. Туда со всех сторон стекалась наша братия. И весной 1936 года мы с Шваброй решили проехаться в Ростов, посмотреть, как там живется и поискать товарищей, которых за эти годы порастеряли.

Но когда мы уже были на вокзале, чтобы ехать в Ростов, на перроне поругались и подрались какие-то два пьяных. Швабра вмешался. За ним пришлось вмешаться и мне. Остальное завершилось очень быстро. Обоих пьяных, меня и Швабру схватили милиционеры. И вскоре, оставив пьяных в вокзальной каталажке, они, прихватив еще нескольких, попавшихся на станции беспризорных, всех нас куда-то повели.

— Так и есть, угодили в тюрьгу, — бормотал, идя со мной по улице Швабра.

Но мысль о тюрьме меня нисколько не пугала. Я слышал много рассказов о тюремной жизни и знал, что в тюрьме встречу нашу бражку.

Тюрьма для малолетних преступников находилась недалеко от детдома. Вскоре мы очутились за ее высокой каменной стеной. К нам навстречу вышел тюремщик, провел нас в небольшое сторожевое помещение и принял нас обыскивать.

Еще дорогой я, по установившемуся у нас обычая, заложил бывшие у меня деньги за щеку. И уже приготовился, чтобы они не достались тюремщику, их проглотить, но к счастью, рты наши он не осматривал и мне не пришлось давиться грязными бумажками. Зато, ни один карман, ни один шов, ни одна складка не ускользнули от его внимательного осмотра. Не найдя у нас с Шваброй ничего подозрительного, тюремщик повел нас вверх по лестнице и ввел в темный коридор, по обе стороны которого были расположены камеры. За дверью, перед которой мы остановились, слышалось веселое пенье.

## Б Е С П Р И З О Р Н И К И

\*\*

В сравнительно светлой, но небольшой камере было человек пятнадцать мальчишек от одиннадцати до семнадцати лет. Кто сидел, кто лежал на измятой, слежавшейся соломе. Кроме соломы в камере ничего не было.

Когда мы с Шваброй вошли, песня оборвалась и все устались на нас. Некоторые смотрели косо и недоброжелательно. Двоих мальчишек, слегка подвинувшихся, освободили нам немного места. Но не успели мы расположиться, как из противоположного конца камеры раздался столь мне знакомый, насмешливый голос:

— Э-э, здорово, браток!

Сомнений быть не могло, это был мой старый и первый друг Мишка. Но узнать его было трудно. За годы нашей разлуки он очень изменился, вырос, окреп, стал широк в плечах и оброс первым пухом. Одет он был несравненно лучше, чем прежде: костюм и рубашка, хоть и помятые от сиденья в камере, были ему по росту и без дырок. На ногах, вместо опорок, были хорошие башмаки. От прежнего неряшливого и ободранного Мишки не осталось и следа.

— Хиляй сюда! — подвинулся он. — Садись. Вот где привелось встретиться! Что, тоже попутали? А я тебя искал. Уж думал, ты подох.

Мишка с любопытством оглядывал меня.

— Давно в Орджоникидзе вернулся? — спросил я.

— Да не так давно. Кандылял<sup>1</sup> порядком. Ну, а ты?

Я вкратце рассказал Мишке, как прожил эти годы и как попал в тюрьму.

— Эх ты. Все по мелкой играешь. Вот и попух!

— А ты по вольной гуляешь?

— Ну погорел<sup>2</sup>, да у меня хоть толковое дело было. Вот, выйдем, я тебе покажу, где черти клад тырят<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Кандылял — шлялся.

Где ж ты шатался?

Мало ли где... Навидался видов... В Туле долго работал, там и покрутили ляги. Спрашивают, откуда? Я и брякнул: московский. Слыхал я, что там детдома какие-то особенные есть, ни на что не похожие. Думаю, почему ж, по казенной не проехаться? Привезли меня туда. Ну, брат, знаешь, о.....л. Думаю, к доктору что ль попал? Пацаны<sup>4</sup> с иголочки одетые ходят, морды от жира лоснятся. Всё начищено, блестит, как в сортире у Сталина! Не детдом, а лафа! Попки<sup>5</sup> любезно так, знаешь, разговаривают, детишкам улыбаются. Ну, я за ухом почесал. Думаю, не плохо бы тут пришвартануть. Да не тут-то было. В ксивах<sup>6</sup> порылись, посовещались, говорят не свой, нам такого не надо. Ну, а я им на это: что же вы, товарищи, не свой, так возьмите к себе, своим стану, мне у вас тут нравится. Они руками и ногами: — Пошел к ..., чтобы и шарик не догнал. Прогваливай, откуда пришел. У нас здесь заведение не для таких, как ты. Только увозить меня собирались, глядь, в парадную дверь хери<sup>7</sup> прутся. Разодетые, важные такие, не по нашему разговаривают, чорт их знает, на каком языке калякают. Эге, думаю, иностранцы. Я на них вылупил полтинники, а они на меня уставились. Грязный я, после разъездов-то, сам знаешь какой; рожа в угле, ободраный, пальцы на ногах наружу просятся. Ну, меня тут сразу за воротник, да в боковую комнату, с глаз долой! Шутишь! Красоту, порядок показывают, а тут такой явился... Небось нашу «интерку»<sup>8</sup> не выставят! Вывели меня черным ходом и айда, Макар!.. по усам текло, а в рот не попало.

Мишке почесал свои взъерошенные волосы и растянулся на спине, заложив ноги за ногу.

<sup>2</sup> Погорел — попался.

<sup>3</sup> Тырят — прячут.

<sup>4</sup> Пацан — маленький мальчик.

<sup>5</sup> Попка — воспитатель.

<sup>6</sup> Ксивы — бумаги.

<sup>7</sup> Хери — привилегированные.

<sup>8</sup> «Интерка» — «Третий Интернационал».

Он выглядел старше своих лет, круглое лицо его удлинилось, скулы выступали, углы рта опустились, а когда-то живые, плутоватые глаза теперь смотрели холодно и сухо. Полупрезрительное выражение не сходило с его лица.

— Да... — продолжал он, — хотели меня в тюрьгу засунуть, да дорогой оборвался с майдана<sup>9</sup>. Ну, шатался, потом бражку толковую встретил. Народ удалой, принялись дела обдевать. На малину вместе ходили. Мазы<sup>10</sup> хватало, не переводились. Сюда прикатили. Хазу хорошую заимели. С девчонкой одной сошелся. Баба гром, хоть куда. Ловкая, хитрая, с шалманом<sup>11</sup> нашим работала. Любкой звать. Да вот месяц назад, пошли ночкой на дело. Дом один, где тузы живут, промыть хотели. По первой всё шло, работали спокойно. Любку на ливере<sup>12</sup> поставили. Вдруг шухер, шаги в саду. Мы ходу, да поздно. Лягавые дом оцепили, всех в сидор<sup>13</sup>, одного на месте уложили...

А Любка?

— Любка тоже погорела. Как она не расслышала да проморгала, не знаю... уж такая битая птица.

— Не иначе, как с лягавыми за одно была.

— Чорт ее знает! Я об этом сам думал. Да на нее непожоже. И какая ей выгода? С нами спокойнее было, и барахла вдоволь.

— А корешки твои тоже здесь?

— Какой черт! Это всё народ постарше, их в другой кигман<sup>14</sup> сунули. Я здесь по малолетке. Дунул, что мне еще шестнадцать, несовершеннолетний, из здешнего детдома. Ну, проверили, да сюда вот заперли. А то пришили бы петуха<sup>15</sup> и юки<sup>16</sup>.

<sup>9</sup> Майдан — поезд.

<sup>10</sup> Мазы — денег.

<sup>11</sup> Шалман — шайка.

<sup>12</sup> На ливере — на страже.

<sup>13</sup> Сидор — мешок.

<sup>14</sup> Кигман — тюрьма.

<sup>15</sup> Петуха — пять лет.

<sup>16</sup> Юки — конец.

## Н. ВОИНОВ

Оно, конечно, оборваться отовсюду можно, хоть с Колымы, да здесь всё ж спокойнее. Просидим месяц-два, а потом выпустят. Чего нас даром кормить? Вот коли по второй сядешь, тогда разговор другой. Года два, три, а то и пятох зашьют. Будут держать, пока не «исправишься», — и Мишка скорчил ироническую гримасу.

— А на урок<sup>17</sup> не гоняют?

— Нет. Да коли выведут — держи пташек. И нехорошо, если на глазах у всех работать заставят. Какая ж тут забота о детях получится?

Начинало темнеть. Холодный ветер дул в разбитое окно, в камере было холодно, сыро. Громкие разговоры постепенно утихали. Все ждали раздачи баланды. Какой-то оборванный парнишка подошел к двери и, изо всех сил заколотив в нее, стал кричать:

— Эй, халуй, открой!

Немного погодя послышался голос тюремщика:

— Чего орешь?

— Жрать не дают, в сортир третью сутки не пускают. Заорешь!

— Погоди, не к спеху, — ответил равнодушный голос.

Ну, ты, кукла! Что я тебе в кулаке что ль держать буду!

Шаги удалились.

Стерва битая, — проговорил парнишка, возвращаясь на свое место. — Слезу не выдавишь!..

Такие сцены в камере повторялись часто. Это было одним из главных тюремных развлечений. Делать было нечего, вот и просились в уборную. В большинстве случаев тюремщик оставался глух и нем, иначе ему пришлось бы целый день бегать из камеры в камеру и выводить желающих. По тюремным прави-

<sup>17</sup> Урок — работа.

лам выпускать полагалось два раза в день, по очереди, после еды, а ночью в камеры ставилась параша.

Было в камере и еще одно развлечение. Кто-нибудь начинал стучать в дверь, крича во всё горло:

— Халуй, поди сюда!

Сначала халуй не отзывался, но в камере поднимался такой шум и гвалт, что тюремщик в конце концов не выдерживал и подходил к двери. Стучавший с треском испускал давно задерживаемые газы и, протягивая кулак через окошечко, говорил:

На, поди снеси на почту!

\*\*

Из нашей камеры кой-кого освобождали, но в тот же день приводили новых, и общее количество не менялось. Сидели мы в тесноте, как сельди в бочке. Спать ложились, вплотную прижавшись друг к другу, и поворачивались все сразу, по команде. Оно, конечно, было теплее, тем более, что одеял не выдавали, а в окно дул холодный ветер.

В камере сидели одни беспризорники. Только два раза за всё время заключения к нам привели «домашних». Один из них попался в каком-то мелком воровстве. Он весь день проревел и с беспокойством ждал появления родителей, зная, что им придется заплатить за него штраф, а по возвращении домой ему не поздоровится. Всё это он рассказывал нам сквозь слезы, но его жалобы были встречены злыми и грубыми насмешками. Всех домашних, а особенно воров из домашних, у нас презирали. Вечером за ним пришли родители и его, в слезах, увели.

Кормили нас в тюрьме плохо. Утром и вечером по тарелке баланды и по куску хлеба, вот и всё. На прогулку во двор не выводили. Целыми днями в камере мы били вшей, пели песни и играли в буру<sup>18</sup>, благо у одного парня нашлась замусолен-

---

<sup>18</sup> Карточная игра.

ная, самодельная колода карт. Но так как денег почти ни у кого из нас не было, то играли мы на пайки, на брови и на волосы. Проиграешь брови, у тебя из бровей выдернут определенное число волос; проиграешь волосы — выдергивают из головы. Мой друг Швабра в камере «полысал», до того проигрывался.

От нечего делать разрабатывались проекты новых «дел», строились планы на будущее, когда нас выпустят на свободу.

Когда однажды мы обсуждали с Шваброй будущее, Мишка подмигнул мне и, хлопнув по плечу, сказал: «У меня, Колька, дело на уме есть. Вместе работать будем». Мне было лестно и приятно, что несмотря на разницу лет и большой опыт, Мишка обращается со мной, как с близким товарищем. Но внешне я старался держать себя независимо и не показывал ему своих чувств.

\*\*

Так проходили дни за днями. Я сидел уже второй месяц.

За это время я сделал в камере много интересных новых знакомств и наслышался разных историй. Рассказывать у нас о себе вообще не любили — было это непринято и на воле редко кто о себе говорил, разве только с пьяных глаз. Но в тюрьме — дело другое. Сумерки наступают рано, делать нечего, скучно. Все песни перепеты, запасы анекдотов исчерпаны, вот и начнет кто-нибудь рассказывать о себе, о своих похождениях, о том, что видел и слышал. Начнет случайно, если к слову придется, а потом увлечется и пошел! Иной раз остановят, обругают, осмеют: «Заткнись, чего галдишь, и без тебя тошно!» Но иногда промолчат и выслушают. Всё зависело от рассказчика.

Как-то раз из соседней камеры до нас неожиданно доился необычный шум. Прислушались. За стеной шла драка. Слышались возня, крики, кто-то пронзительным голосом отчаянно завопил и сразу осекся. Затем всё стихло. Тюремщик,

привыкший ко всякого рода происшествиям, даже не явился на шум.

От веселой житухи что ли стукнулись<sup>19</sup>, — проговорил кто-то в нашей камере.

— Не иначе, как дулу хакнули<sup>20</sup>, вот ему шейку и погладили, — сказал Мишка.

— Точно, — подтвердил мой сосед Жорка. — У нас порядок правильный, не то, что у чертей.

Мы засели за карты и стали резаться в буру. Перед началом игры Швабра был в большом затруднении. Он никак не мог решиться, что ему делать: дать ли на выдирание последние пучки волос, или надеть парашу на голову тюремщику. Дело в том, что Швабра заранее знал, что будет в проигрыше, а играть ему очень хотелось. После долгих колебаний, он с тяжелым вздохом наконец объявил:

— Черт с вами, насажу парашу.

— Ну хиляй, скидывай тёрки<sup>21</sup>, а то халуй скоро явится, — проговорил Жорка.

Начали игру, и Швабра, конечно, проиграл. Мы все очень развеселились и, предвкушая интересное зрелище, с нетерпением стали ждать прихода тюремщика.

Вскоре послышались его шаги. Тюремщик сначала зашел за парашей в соседнюю камеру, а затем начал отпирать нашу дверь. Швабра заранее переставил стоявшую у нас за дверью парашу в другой угол и когда тюремщик вошел и по привычке нагнулся к ней, Швабра с быстротой молнии накинул ее ему на голову. Халуй вскрикнул и сразу же захлебнулся. Содергимое параши растеклось по его плечам, расползлось по спине, пролилось на пол. Резким движением он сорвал парашу с головы и с растопыренными руками застыл в бессмысленной позе.

---

<sup>19</sup> Подрались.

<sup>20</sup> Сексота обнаружили.

<sup>21</sup> Тёрки — карты.

Зажав носы, мы надрывались от безудержного хохота.

Очнувшийся халуй испустил ни на что не похожий звук, затрясся, замычал и ощупью добравшись до двери, опрометью бросился по коридору.

Нашему восторгу не было границ, и лишь немилосердная вонь, распространившаяся по всей камере, умерила наше бурное веселье. Швабра чувствовал себя героем.

— Ох, чорт возьми, отродясь так не смеялся, — фырккая и утирая слезы, говорил Мишка, но тут же поспешно закрыл лицо полой пиджака.

Вонь не улетучивалась, а, казалось, наоборот, сгущалась. Продолжая зажимать носы, мы ждали результатов нашей шутки. Они не заставили себя долго ждать.

Вскоре, в сопровождении нескольких человек из стражи, к нам вбежал дежурный. «Кто надел парашу?» — закричал он в ярости. Разумеется, никто ничего не видел. Все были настолько заняты своими делами, что наблюдать друг за другом ни у кого не было времени. Один — спал, другой — в окно на птичек смотрел, третий — вшей вылавливал и т. п. А что касается парасхи, так помилуйте, кому охота на такую дрянь глаза пылить? Отворачиваемся! А уж если конфуз такой и случился, так не по нашей вине. Так, само как-то вышло.

Дежурный орал все яростней, но — кричи, не кричи, бей, не бей, всё равно ничего не добьешься, он и сам это понимал. Повозившись с нами около часа и объявив, что мы все лишаемся пайка, он наконец ушел из камеры, так и не узнав, кто виновник преступления.

К вечеру, с каменным и злым лицом, явился халуй, вымытый и одетый в чистенько. Его сопровождали два тюремника. Нас разделили. Одних увели в соседние камеры, других, тех, кого подозревали, и в их числе Швабру, повели в одиночки.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### По железнym дорогам

«Курьерский гонит полным ходом,  
Колеса славу мне стучат.  
На крыше лежа, вспомнишь город,  
Куда придется ли возврат?  
А угол\*) мне мозги воротит,  
Забыть его я не могу...  
Забрался я на верхнюю полку  
И с понтом\*\*) там себе я сплю».

Из блатной песни «Курьерский».

Выходя на свободу, мы зажили с Мишкой вдвоем. И зажили неплохо. Изобретательности у Мишки было хоть отбавляй, он смело шел на риск, ловко проводя самые неожиданные «комбинации» и такого довольства, как за это время, я никогда еще не знал. Деньги у нас не переводились, мы всегда были сыты, жили весело. Вопрос «жилплощади» нас не заботил — стояла уже теплая погода и мы спали, где попало: то на берегу Терека, то в городском саду, а когда шел дождь — где-нибудь на чужом дворе под навесом, а иногда и в детдоме.

Впервые я жил так хорошо и беззаботно.

Ночью, однажды, лежа в густой душистой траве на берегу Терека, Мишка мне объявил, что в нашем городе стало скучно и мы завтра же уедем.

— Куда?

— А не все равно куда: курсовой. Можно по курортам прокатиться, бобиков<sup>1</sup> пощупать. Они не то, что наша хевря<sup>2</sup>

\*) Чемодан.

\*\*) Делая вид, притворяясь.

<sup>1</sup> Бобики — иностранцы.

<sup>2</sup> Хевря — публика.

— ходят развязив едало. Почти всю советку<sup>3</sup> объездил, а на кунах<sup>4</sup> еще не бывал — надо обследовать, мазы зашибить можно.

Мишкины планы мне показались заманчивыми. Спать нам обоим не хотелось. И Мишка долго рассказывал мне о своих путешествиях и приключениях и, слушая его, я живо представлял себе нашу новую жизнь, новые места, новых людей и как я в этих новых делаах непременно заслужу полное уважение Мишки.

Утром на следующий день мы были уже на вокзале. Дождавшись поезда, шедшего в Махач-Калу, мы обошли его кругом и в тот момент, когда он тронулся, мы с Мишкой, никем не замеченные, вскочили в последний вагон.

Стоя в коридоре у открытого окна, я с радостным возбуждением следил за мелькавшим и убегавшим назад видом родного города. Ветер порывисто врывался в окно. На душе было легко и весело. Не разделяя, видимо, моего возбуждения, Мишка, прислонясь к стене, лениво дымил папиросой. Но вдруг лицо его расплылось в улыбку и, лукаво подмигнув мне прищуренным глазом, он сказал: — Ну, не тушуйся. Пошли!

Словно прогуливаясь, мы шли по коридорам, переходя из вагона в вагон. Мне не впервые приходилось «работать» в поездах, но до этого я разъезжал с такими же голышами, как я сам. И действовали мы тогда нахрапом, без разбора хватая первое попавшееся. Теперь же, предполагая, что Мишка будет следовать настоящим приемам воровского искусства, я с любопытством наблюдал за ним. Глубоко засунув в карманы руки, Мишка как бы лениво двигался по коридору, всем своим видом выражая напускное безразличие ко всему окружающему. Только острый взгляд его полуприщуренных глаз бегал по куни, замечая всё до мельчайших подробностей. Отделения вагонов были набиты людьми. Без большой сноровки невозможно было мгновенно определить, есть ли тут хорошие чемоданы,

<sup>3</sup> Страну.

<sup>4</sup> Кунах — курортах.

как и где они сложены и кому принадлежат. Бывало, что чемодан и покажется с первого взгляда «достойным внимания», но обдрипанный и неказистый вид его владельца — из бывших интеллигентов — не оставлял сомнения в том, что кроме барабахла в чемодане ничего не найдешь. Наметить чемодан или мешок, которым стоило бы заняться, — было делом нелегким.

Зная, что от нашего брата нигде не укроенясь, стреляные пассажиры оберегали свое добро, как зеницу ока, нередко привязывая чемодан к себе веревкой или, для верности, просто садились на него. На пассажиров, ехавших в «жестких» вагонах, мы не обращали внимания. Тут были крестьяне, рабочие, учащаяся молодежь, интеллигенция. Правда, и между ними, чтобы проехать незамеченными, иногда затесывались спекулянты, разъезжавшие из края в край с дефицитными товарами (отрезы материи, обувь и пр.), но обычно наши «клиенты» ехали всё-таки в «мягких» и международных вагонах. В первых, по путевкам и командировкам, ехали всякие партийцы и спецы, во вторых — известные артисты, ответственные работники и партийные шишки — самый интересный для нас элемент. Но и эта публика знала, какому риску она подвергается в путешествии со стороны «уркаганов»<sup>5</sup>, и всегда принимала все меры предосторожности.

Пройдя несколько «жестких» и «мягких» вагонов, мы приостановились с Мишкой на площадке.

— Нет, браток, не обломишь тут ничего хорошего! — проговорил Мишка. — Пошли-ка лучше в международный. Может бобик какой подвернется.

Но не успели мы войти в международный, как навстречу нам показался кондуктор и, чтобы избежать возможного преследования, пришлось спешно ретироваться. Мы выскочили обратно на площадку. Быстро отперев отмычкой наружную дверь вагона, Мишка спрыгнул на подножку, перешагнул через перила и, ухватившись рукой за фонарный крюк, вскочил сначала на буфер, а затем необыкновенно легко и ловко, по

---

<sup>5</sup> То же, что и урки — беспризорные.

вделанным в стену скобам, взобрался на крышу вагона. От таких эквилибристических упражнений на полном ходу поезда у меня захватило дух и я почувствовал, как всё мое тело вдруг ослабело и руки и ноги сделались ватными. Но делать было нечего, медлить было нельзя, и, преодолев внезапный страх свалиться под колеса поезда, я, собрав все свои силы, перелез на буфер и кое-как вскарабкался вслед за Мишкой. Растигнувшись пластом на крыше вагона, я изо всех сил держался за выюшку, чувствуя, что каждое мгновение могу полететь вниз.

— Что, вижу, не научился еще на крышах ездить? Держись крепче, а то ветром сдунет, — непринужденно разваливаясь рядом со мной, не без ехидства проговорил Мишка. — А вот зимой так на крышах не поваляешься, — продолжал он, закуривая папиросу и жмуря глаза от яркого солнца: — Помню вот...

— Да, сам знаю, не раз ездил, — перебил я Мишку, задетый его покровительственным тоном.

— А если ездили, чего ж за трубу лапаешься?

Я отпустил выюшку и лёг на спину. Мишка усмехнулся.

— Ездили ты!.. да не в то время... А мороз в тридцать градусов... — шутишь?

— Чего врешь? Ни один чорт тебе в тридцать градусов на крышу не полезет.

— По доброй воле не полезет, да не те времена, говорю, были. Раньше какие облавы на нашего брата делали? Наши тогда случками<sup>6</sup> ездили. Помню, как раз в Ленинград ехали. Как поналезли в Луге ляги и давай по вагонам шарить. Пришлось на стиму<sup>7</sup> лезть, мороз, ветер до костей прохватывает, а крыши скользкие, цапки<sup>8</sup> стянуло, не удержишься... Лежиши раскорякой, чувствуешь как всё отнимается, сейчас свалишься... А слезать нельзя, тогда «беспризорничество

<sup>6</sup> Случками — стаями.

<sup>7</sup> На крышу.

<sup>8</sup> Цапки — руки.

ликвидировали»: либо в концлагерь, либо просто расстреливали. Сколько ребят на крышах позамерзали, так дрючками и скатывались. Помню, как на станции лягали поезд оцепили, ловить начали. Мы с крыш, как мыши, кто куда, а они стрелять по нас. Пальба такая поднялась — народ мечется, бабывой подняли, голосят... Я как был, прямо с крыши — в сугроб, да под вагон. Так с одного пути на другой, под вагонами и проскочил. Много тогда нашего брата ухлопали, да перекалечили. С тех пор закаялся на крышах зимой ездить, а летом — одно удовольствие...

Под вечер Мишка спустился с крыши в вагон на разведку, а я остался его ждать. Отсутствовал он недолго и вернулся страшно довольный:

— Место назычил<sup>9</sup>. Ночью потрусим уголки<sup>10</sup>, — потирая руки, весело говорил он.

И когда совсем стемнело, мы приступили к работе. Мишка достал из кармана длинную и крепкую веревку, одним концом ее он обвязал меня вокруг пояса и привязал к вышке, а другим обвязал себя. Затем, приказав мне крепко держать веревку, Мишка лег на живот и свесившись по-поясу вниз с несущегося в темноте вагона, он заглянул в окно.

— Еще не кемают<sup>11</sup>, черти, придется маленько подождать, — выкарабкиваясь обратно, сказал он.

Мы подождали с полчаса и снова приступили к действиям. Мишка вытащил висевший у него под пиджаком крюк с крепко привязанным к его концу ремнем в виде петли, продел в нее руку, благодаря чему крюк с тяжелым грузом уже не мог выскользнутуть у него из руки, и снова свесился вниз. Изо всех сил держа привязанную к вышке веревку, я понял по напряженным движениям Мишки, что он уже начал действовать. Я ухватился за веревку, что было сил. Она сильно дернулась, натянулась, мишкины ноги судорожно заездили по крыше и в то

<sup>9</sup> Назычил — присмотрел.

<sup>10</sup> Угол — чемодан.

<sup>11</sup> Кемать — спать.

## И. ВОИНОВ

же мгновение рядом со мною шлепнулся большой чемодан. Заглушенный грохотом поезда, до меня из купэ донесся крик.

— Видал? — растягиваясь на крыше и тяжело переводя дыхание, прошептал Мишка. — Как крюком с полки зацепил, так одним взмахом и доставил.

Крики в купэ усиливались.

— Что они там раскудахтались? — Мишка снова заглянул вниз.

— Лысый какой-то из окна высунулся и по иностранному орет.

— Шлепни его по лысине, чтоб не орал.

— Пускай поорет! Чемоданчик-то всё равно улыбнулся, злорадствовал Мишка, продолжая наблюдать за тем, что происходило внизу. — Правильно! Дери горло! За границей, небось, таких штук не видал! Ну, ладно, — обратился он ко мне, развязывая опутывавшую нас веревку. — Пошли отсюда. Здесь, пожалуй, еще запухаримся, лысый шумок тот еще пустил, на ноги всех поднял.

Перепрыгивая с крыши на крышу мчавшегося в темноте поезда, мы добрались с чемоданом до последнего вагона. Как ни жалко было расставаться с дорогим кожаным чемоданом — он представлял собой большую ценность — пришлось всё же его выбросить, предварительно связав в узлы находившиеся в нем вещи. Мы знали по опыту, что иностранец это не рядовой советский гражданин и ограбление такой привилегированной особы должно поднять на ноги милицию.

— Барахлишко-то всё со скрипом, новенькое. Сразу видно не нашенское! — подкладывая себе под голову узел и укладываясь на крыше, говорил Мишка. — На первой же станции спустим. Да, пузач, тут тебе не капиталистическая страна, делиться надо!

И я, и Мишка чувствовали большое удовлетворение оттого, что обчистили именно иностранца. Хотя нам и не всегда приходилось быть разборчивыми в выборе намечаемых

жертв, но у многих из нас установился к ним какой-то свой необъяснимый подход. Бывало вдруг ни с того, ни с сего какая-нибудь рожа покажется симпатичной, подумаешь: «Это парень хороший, чорт с ним!», и пойдешь дальше.

До остановки поезда нам ничего особенно не грозило. Ни один кондуктор не рискнул бы в темноте лезть искать нас по крышам, и мы чувствовали себя в безопасности.

Жизнь беспризорных в то время сосредотачивалась, главным образом, вокруг железнодорожных центров. Беспризорники, как кочевники, нигде не засиживаясь, беспрестанно колесили взад и вперед по железнодорожным дорогам всей страны. Борьба с нами носила скорее оборонительный характер. На станциях и в поездах мы действовали более или менее безнаказанно. Железнодорожный персонал, в большинстве случаев, старался избегать открытых столкновений с нами и хотя часто опытный взгляд кондукторов и замечал наше присутствие в поезде, они ограничивались только тем, что предупреждали пассажиров: «Берегите, мол, чемоданы!» В случаях, когда вор не бывал застигнут на месте преступления, кондуктор не предпринимал никаких решительных мер, чтобы его поймать, зная, что беспризорные обыкновенно не ездят в одиночку и, что за проявленное усердие, рано или поздно ему не миновать нашей мести. Весть о выданном милиции беспризорном с необыкновенной быстротой распространялась среди нашей братии. Кто и откуда пойманный Ванька или Петька, никого из нас, по существу, не интересовало — важно было то, что он, свой, и рано или поздно виновник выдачи получал нож в спину или летел под колеса. Мы неумолимо мстили за каждого из своих. Это было чувство самозащиты.

Вдали, в темноте замерцали огоньки — мы приближались к станции. Закинув узлы за спину, мы с Мишкой спустились с крыши вагона на буфера, потом перелезли на подножку и когда поезд, переходя со стрелки на стрелку, замедлил ход, спрыгнули на балласт и сбежали с насыпи.

Было еще рано. День обещал быть солнечным, хорошим. Спросив у прохожего, где здесь городской базар, мы пошли по указанной им дороге. Во всех городах нас всегда интересовало только два места — вокзал и базар. И тут, и там всегда бывало шумно, людно, можно было встретить товарищей, поживиться и поскандалить.

Курортный городок Сурами, куда мы приехали, был небольшой, раскинувшийся у подножия гор и утопающий в зелени. Широкие улицы, выкрашенные в светлые краски дачи с палисадниками в цветах, хорошо одетые прохожие — всё это придавало городку веселый, праздничный вид. За последние месяцы мы порядком натрепались в поездах и Сурами нам очень понравился. Мы шли не спеша, глядя по сторонам. Нам то и дело попадались, бившие прямо из стен, родниковые ключи. Мы пробовали выпить этой воды, но своим железным привкусом она вязала язык.

На большой базарной площади, среди возов и лотков, весело пестрела крикливая толпа. Гортанно перекликаясь, горцы разгружали привезенные на арбах товары, и наше внимание сразу же привлекло к себе изобилие бурдюков, в которых местные жители обыкновенно держали вино. Не долго думая, мы подошли к первому, распряженему своих волов грузину. По возрасту и одежде Мишка вполне мог сойти за покупателя, и он вступил с ним в разговор. Достав для вида деньги и поторговавшись, Мишка потребовал на пробу вина. Грузин поднес ему кружку. Отпив половину, Мишка передал ее мне. Выпив по кружке от каждого сорта, мы переглянулись, поморщились и объявив, что вино никуда не годится, Мишка направился к следующему торговцу. Так, напробовавшись кахетинского, мы в скором времени почувствовали такую приятную истому в теле и слабость в ногах, что дальше итти никуда уже не хотелось, и, забравшись под воз одного продавца, мы растянулись в тени. Но грузину наше соседство не понравилось, и он сразу же прогнал нас.

Горячее кавказское солнце начинало нестерпимо палить. Опьянев, мы побрали искать себе тенистое пристанище. На краю площади стояла покосившаяся деревянная лачуга, и мы расположились у ее стены. Я прилег на землю и, закурив, рассеянно глядел на синевшие над крышами домов горы. Базарный шум, крики, мычанье волов, скрип колес сливались в общий нестройный гомон.

— Колька, смотри! — толкнул меня локтем Мишка. — Что там на скале торчит? — и он показал туда, где на фоне горы одиноко вырисовывалась высокая и крутая скала. На самой ее вершине виднелись неясные очертания каких-то стен.

— Эй, старик! — обратился Мишка к сидевшему неподалеку старому нищему: — Что там такое, знаешь?

Старик повернулся к нам голову: — А-а, — протянул он и покачал головой. — Недобroe место. Стена плачет. Живого человека в стену... замуровали, вот он и плачет.

Старик скруто ронял слова, ему видно не охота была говорить.

— Чего брешешь! На кой чорт замуровывать — расстрелять проще.

Старик усмехнулся.

— То давно было... — и он вдруг наклонился к нам и глаза его лукаво блеснули. — Полтину дашь — расскажу.

— Валяй, получишь!

Грузин помолчал, откашлялся и начал рассказ.

— Было это давно... ни меня, ни отца, ни деда на свете тогда не было... — заговорил он тихим, приятным голосом, с грузинским акцентом, рассказывая красочно и подробно древнюю легенду этих мест. Вот, вкратце, суть его рассказа.

Когда-то давно в городе Сурами жила знахарка. Она умела лечить и предсказывала будущее. Часто сам местный князь ходил к ней за советом. А у знахарки была красавица дочь. Она полюбила молодого грузина, но юноша был знатен, богат и отверг любовь простой девушки. Тогда знахарка, видя как дочь ее чахнет и убивается от любви, задумала отомстить молодому человеку. А у грузин к этому времени случилась

война и князь решил воздвигнуть на скале неприступную крепость. Долго строилась эта крепость. Тяжело было таскать камни на высокую, крутую скалу и много народа погибло пока князь ее строил. Наконец, крепость была построена, оставалось достроить только одну стену. Но как ее ни клали, она все рушилась Тогда князь решил, что это происки нечистой силы и пошел к Знахарке за советом. Знахарка сказала ему, что для того, чтобы стена стала нерушимой, нужно замуровать в нее живого человека — и указала на юношу, отвергшего любовь ее дочери. По приказу князя, юношу взяли и повели на скалу. Он плакал, молил о пощаде, но никто не внял его мольбам. Мать, на глазах которой его замуровали, утопилась. Крепость построили, стена ее крепко держалась, а о юноше скоро позабыли. Вспомнили только через несколько лет, когда на том месте, где был замурован юноша, появилось мокрое пятно. И тогда сложилось поверье, что его слезы просачиваются через камень. С тех пор прошло много лет, от крепости остались одни развалины, а стена с мокрым пятном все стоит и юноша все плачет.

— Занятно брешешь! — протянул Мишка, когда старик кончил рассказ и, достав из кармана рубль, протянул его нищему. — Пошли, Колька! — обратился он ко мне.

— Куда?

— Да ты историю-то слыхал? Аль, так напился, что соображать перестал. Стена, Колька, плачет. Пошли!

— Ну и пусть себе плачет! Чего я там не видел!

— Нет, пойдем. Там под стеночками и подкемаем.

Делать было нечего. Не совсем твердо держась на ногах — его то и дело относило в сторону — Мишка всё-таки бодро зашагал вперед. Он был очень заинтересован рассказом старика и, без умолку болтая, нетерпеливо подгонял меня, когда я отставал.

— Я, Колька, всякие такие штуки люблю, — говорил Мишка. — Старые крепости, сказки разные... Ты, вот, ни черта не читал, а я читал. Я в одной книге тоже про замок читал,

## Б Е С П Р И З О Р Н И К И

вроде этого. Парень там в подземельи сидел и сокровище обломил.

Я знал, что каким-то образом Мишка однажды ухирился прочесть одну книгу и она произвела на него громадное впечатление. Одолев ее, Мишка не только почувствовал себя ученым, но был вполне убежден, что ничего замечательнее этой книги никогда написано не было. И часто, чтобы поднять свой авторитет среди товарищей, Мишка, подвыпивши, любил в компании рассказать об этой книге. Понять ее суть, в Мишキンом изложении, было довольно трудно, название же книги он сознательно утаивал, чтобы выходило загадочнее. Когда же, позже, я сам начал читать и прочел «Графа Монте-Кристо», то сразу же догадался, что это и есть мишкина книга. Правда, фантазия рассказывавшего Мишки, сплетаясь с фантазией Дюма, порождала героев и приключения, сочетавших в себе начало 19-го столетия во Франции и нашу советскую действительность.

Когда мы вышли за город, дорога сразу стала круто подниматься в гору и вскоре превратилась в узкую, каменистую, извивавшуюся среди скал тропинку. Крепостные стены, постепенно приближаясь, четко вырисовывались на голубом, подернутом дымкой небе. По мере того, как подъем становился круче, Мишка чаще спотыкался и говорил меньше, но с таким же упорством продолжал лезть наверх. Наконец, мы подошли к скале и массивные, кое-где обвалившиеся, с узкими пробоинами стены крепости выросли перед нами. Скала, на которой стояла крепость, была неприступна и подняться к ней можно было только с одной стороны, по едва приметной, обросшей тощим кустарником тропе. С других сторон она была совершенно отвесна и, глядя на нее снизу, трудно было определить, где кончается скала и начинаются стены. Казалось, что крепость выростала прямо из скалы.

Когда мы, наконец, добрались до цели и очутились у подножия крепостных стен, я облегченно вздохнул. Но Мишка немедленно принялся за поиски мокрого пятна. Правда, долго искать его не пришлось, Мишка нашел его сразу.

— Плачет, Колька, плачет! — восторженно закричал он.

И, действительно, на расстоянии метров двух от земли, на стене проступало большое сырое пятно, местами заросшее мхом.

Я ж тебе говорил, что плачет. Я же по книге знаю. Там тоже такая штука была! — торжествовал Мишка и поднявшись на цыпочки, стал выстукивать стену. Но звук всюду был одинаков. — Сидит, сидит! — убежденно проговорил Мишка, продолжая выстукивать.

— Кто сидит?

— Ну этот... как его... тот самый, кого замуровали. Видал, как слони распustил? — он провел пальцем по пятну и мечтательно на него посмотрел. — Ишь, ревет!

Вдоволь налюбовавшись стеной, мы вошли в крепостной двор поискать места для ночлега. Перед нами расстился заросший густым бурьяном и кустарником, пустынный двор. От внутренних крепостных строений остались одни развалины. Кое-где, над грудами обвалившихся камней, одиноко торчали, покрытые плющем и мхом, уцелевшие остатки стен. Я сразу же растянулся в траве, а Мишка пошел бродить среди развалин.

— Эй ты! Хиляй боком. Нечего здесь шататься! — прозвучал вдруг в тишине мужской голос.

Я поднял голову. Оклик относился не ко мне, а к Мишке. Перед ним стоял длинный, худой, неряшливо одетый парень — по внешнему облику, вероятно, из наших. Я поспешил вскочил и побежал к нему. Прищурившись, Мишка с преувеличительной усмешкой разглядывал парня.

— Чего ты сказал? — медленно, с угрозой в голосе, протянул он.

— Хиляй стороной! — мельком взглянув на меня, спокойно повторил парень. Казалось, он никак не сомневался в том, что мы немедленно исполним его приказание.

В это время откуда-то вынырнуло и подскочило к нам еще двое — парень, приблизительно тех же лет, что и первый, и небольшой рыжий мальчишка.

Что это за турки? — спросил подошедший.  
Как будто свои, а дальше чорт их знает.

После обмена несколькими фразами и мы и они признали друг в друге «своих». И вскоре мы уже шли за новыми знакомыми в их жилище.

У полуобвалившейся стены наши провожатые прошли несколько шагов среди развалин и, отодвинув густо росший в этом месте кустарник, юркнули в узкий, незаметный снаружи, проход. Он круто спускался вниз и был так низок, что приходилось пробираться в согнутом положении.

Пройдя несколько метров, мы очутились в довольно просторном не то подвале, не то подземельи, тускло освещенном керосиновой лампой. В углу, у пылающего костра сидели два парня. Один из них разрезал заколотого барана, другой жарил куски мяса на вертеле, на огне. Дым от костра уходил вверх, в отверстие в камнях, но тяга была недостаточна и в помещении было дымно. У костра лежала куча хвороста и два бурдюка. Вдоль стен были разбросаны бараньи шкуры и одежда, служившие, вероятно, постелями. По середине был постлан ковер, на полу, в живописном беспорядке, стояла посуда, кастрюли, лежали груды пустых бутылок и битых черепков. Очевидно, многое из находившегося здесь добра, перекочевало сюда из местных дач. В дальнем от входа углу на матраце спал человек. «Верно пахан», подумал я, заметив, что он занимает единственный в помещении матрац.

Мишка улегся на бараньих шкурах и сразу же заснул мертвым сном. Я тоже собирался пристроиться рядом с ним, но запах баранины напомнил мне, что я целый день ничего не ел, и заметив, что все рассаживаются и собираются приступить к барану, тоже подсел к костру. Баранина дожаривалась. Жир капал в огонь, вспыхивал и трещал в пламени. Один из сидевших у костра парней встал и, подойдя к спящему на матраце человеку, потрепал его за плечо.

— Иван Михайлыч, обедать!  
Спящий зашевелился, покряхтел и поднял голову.

— Ох, и заспался я! Спасибо, голубчик, сейчас иду, — сказал он.

«Иван Михайлыч» — «Спасибо, голубчик» — странно резанули меня. Подобная форма обращения совершенно отсутствовала в нашем быту. Я обвел глазами присутствующих и с недоумением заметил, что только что произнесенные слова не только никого не удивляли, но и не вызывали ни тени насмешки. Мне стало любопытно посмотреть на человека, которого величали по имени и отчеству и к которому, повидимому, относились с уважением.

Иван Михайлович подошел к костру. Взглянув на него, я застыл от удивления. Это был низкорослый, щуплый человек средних лет. Худое, желтое, изрытое мелкими морщинками лицо, с провалившимся ртом и впалыми, задумчивыми глазами, под которыми лежали густые тени, носило отпечаток болезненности и измождения. Длинные, редкие, с проседью волосы падали на уши. Несмотря на опрятную одежду — на нем была сравнительно чистая, аккуратно застегнутая белая рубашка, серые штаны, на которых еще не изгладилась стрелка, и мягкие туфли на босу ногу, — весь он казался каким-то потертым и полинялым. Держался он, сгорбившись, шел, еле волоча ноги. Руки, с длинными, тонкими пальцами и чистыми ногтями — это мне сразу невольно бросилось в глаза — слегка дрожали. Когда он заговорил и улыбнулся, я заметил, что зубов у него почти нет.

Один из парней отрезал Ивану Михайловичу кусок баранины и положил его, за неимением тарелки, на перевернутую крышку от кастрюли, дал нож и вилку и налил кружку вина. Все мы ели руками и пили прямо из бутылки.

— Да вы мне не так много! Спасибо, ребята, хватит с меня. Довольно!.. — улыбаясь, говорил Иван Михайлович, пока ему накладывали еду. — Ах, сорванцы! Барана какого отхватили. Отменный баран... и в меру прожарен, — попробовав кусок, продолжал он и закашлялся. Он часто кашлял, резким, сухим кашлем и красные пятна выступали у него на щеках.

Я всё не спускал глаз с Ивана Михайловича. По тому, как

он ел, поднося мелко нарезанные кусочки мяса ко рту, как пил, утирая после этого платком губы, и по тому, наконец, как он говорил и держал себя, я догадался, что это интеллигент. Но объяснить себе его присутствие здесь и общее к нему расположение я никак не мог. К интеллигенции в нашей среде обычно относились враждебно, смотрели с пренебрежением, свысока, считали бездельниками. Слово «интеллигент» употреблялось, как ругательство. А тут затесался в беспризорную компанию самый настоящий интеллигент, да еще первым человеком стал.

Толкнув локтем моего соседа, долговязого парня, встретившего нас на крепостном дворе, и кивнув на Ивана Михайловича, я спросил:

— Что это за чучело?

— Поэт, — не глядя на меня и не переставая жевать, коротко ответил парень.

Я сделал гримасу.

— Что же он у вас тут стишки строчит? Хорошее выбирал место!

— Коль выбрал — значит нравится. Захотел бы — ушел.

— Ушел бы, — насмешливо сказал я, — нашел дураков, вот и живет на халтуре.

— Не знаешь, — не трепи языком! — резко оборвал меня долговязый.

Дожевав свой кусок, я направился в угол, где спал Мишка. И улегся рядом с ним.

Когда на утро я проснулся, в «комнате», кроме Ивана Михайловича и спавшего Мишки, никого не было. Пристроившись на разостланном на полу одеяле у большого плоского камня, на котором стояла лампа, Иван Михайлович чинил рубашку. Плечи его покрывала полосатая занавеска с болтавшимися на ней кольцами, на глазах были очки со сломанной, подвязанной веревочкой оправой и он, то и дело, поправлял сползшие на нос очки и натягивал соскальзывающую с плеч занавеску. Фигура его показалась мне настолько смешной, что я толкнул спавшего Мишку, чтобы показать ему это забавное

зрелище. Заворочавшись спросонья, Мишка недовольно заворчал. Иван Михайлович поднял голову и посмотрел в нашу сторону.

— А-а, проснулись! Доброе утро, ребята! — приветливо закивал он нам.

Мишка подскочил, словно на него вылили ушат воды.

— Это еще что за крокодил?

Я ножкал плечами и засмеялся.

— Доброе утро! А откуда он знает, что оно доброе? приглаживая волосы и выбирая из них пучки шерсти, сердито проворчал Мишка. — Ты откуда артист такой взялся?

Нисколько не смущенный, Иван Михайлович продолжал улыбаться.

— Это мы, дружок, потом разберем, кто откуда, а сейчас, ребята, подымайтесь, покушать надо!

— Колька, слыхал? «Покушать»! Что это за сова, чорт ее побери! — и Мишка завернул трехэтажное ругательство.

— Ну, как же спали ребята? — поглядывая на нас поверх очков, невозмутимо продолжал Иван Михайлович, словно наш разговор его не касался.

— А тебе какое дело? — вызывающе ответил Мишка.

— Ох ты, сердитый какой! Плохо ты, я вижу, брат, выспался, или всегда такой? — продолжая шить, усмехнулся Иван Михайлович.

— По очкам дам — не будешь спрашивать!

— Плохо, братец, знакомство начинаешь, очень плохо, — всё также добродушно проговорил Иван Михайлович, словно его забавляла мишкина грубость.

— Какой я тебе братец? Свиней вместе не пасли. Тоже, братец... — и Мишка сплюнул.

— Что ж, дело твое, знакомства не навязываю. Только зачем же ругаться?

Иван Михайлович кончил чинить, встал и, свернув рубашку, направился в свой угол. Когда он проходил мимо нас, Мишка презрительно кинул:

— Ишь разоделся! Штопальщик!

— А тебе что, может, белья нужно? Могу дать, — и Иван Михайлович протянул рубашку.

Мишка несколько опешил.

— Ладно! Не нужна мне твоя тряпка! Подумаешь, добрый нашелся. Ты бы лучше опохмелиться принес.

Иван Михайлович указал на угол, где лежал бурдюк, а сам, достав из своего угла тетрадь и карандаш, уселся писать у лампы.

Мишка пошел за вином. Я последовал его примеру и взял себе кусок оставшейся от вчерашнего жареной баражинны.

— А вы, перед тем, как поесть, умыться, ребята, не хотите? — видя, что мы собираемся приступить к еде, предложил Иван Михайлович. — Вода вон там, — и он указал на лежавший у входа бурдюк.

— Не спрашивают — не лезь! — отрезал Мишка.

— Не хотите — не надо. Вольному воля... — шутливо проговорил Иван Михайлович и поправив очки, продолжал писать, чему-то улыбаясь.

— Пошли, Колька, отсюда! Задохнешься в этой дыре!

— раздраженно проговорил Мишка.

Мы так привыкли к темноте, что яркий солнечный свет на мгновение ослепил нас, когда мы вышли во двор. Жмуясь, мы прошли среди развалин. Солнце стояло уже высоко, день был жаркий. В город итти не хотелось. Побродив вдоль крепостных стен и убив мимоходом несколько змей, мы забрались в тень и растянулись в густой траве.

— Здорово! — окликнул нас вскоре знакомый голос. Перепрыгивая с камня на камень, к нам подошел рыжий мальчик, а за ним и остальные обитатели крепости. Положив на землю принесенные ими свертки с провизией и мешок, они подсели к нам.

— Из города? — спросил Мишка.

— Из города, — утирая вспотевший лоб и откидывая назад мокрые волосы, ответил долговязый. — Ну как, дачка наша понравилась?

Мишка пренебрежительно усмехнулся.

— Ох, и рюхнут же вас когда-нибудь на этой дачке. Перьев не сберете!

— Второй месяц живем — не рюхают.

— Колька, слышишь! Два месяца здесь коптятся!.. Дачным воздухом дышут. Да у вас котелок-то варит? Возьмут вас на мушку и конец.

— Думаешь, ты один такой умный. Время знаем... зорькой да ночкой ходим.

Мы разговорились и вскоре же Мишка спросил насчет «интеллигента». Но долговязый сразу же за него вступился.

— Дядька этот побольше нас с тобой видел. БАМ прошел. Пять лет отсидел. Последним куском с нашим братом делился.

— А ты знаешь? Сидел что ль с ним? — насмешливо спросил Мишка.

— Петька-Хлыщ с ним три года отсидел, — и он показал на черноволосого, смуглого, довольно красивого парня, будившего вчера Ивана Михайловича. — В лагере рядом спали. Рассказывал нам, что за человек... Спёр у него раз пайку хлеба, думал пожалуется, а Иван Михайлович хоть и знал, кто украл — ничего не сказал. А потом, когда Петька там по-дыхать собрался, он от своего пайка ему давал. С тех пор, у наших в лагере своим человеком стал. Норму выполнять помогали. Натура интеллигентская — с работой неправлялся... чахотку схватил. Отсидел срок, выпустили, да волчий паспорт дали.

Небось, за словцо засел! — не сдавался Мишка. — Знаю эту публику... туда им и дорога!

— Эх ты, трепещься, а мало что знаешь! — вмешался Петька-Хлыщ. — Мало таких, кто нашего брата за людей считают. А он вот свой, всё понимает. Интеллигент, а жизнь у него собачья, похуже нашей...

— Дело ваше, только от чертей лучше подальше, — поморщился Мишка и перевел разговор.

\*\*

В подземельи в костер подбросили хвороста. Полетели искры. Пламя вспыхнуло и заколыхалось длинными языками; сухое дерево весело трещало.

От барака остались одни обглоданные кости. Бурдюк был пуст — вина не хватило, а в город итти за выпивкой было лень. Разговоры умолкли. Все сидели или лежали вокруг костра, изредка перекидываясь словцом или шуткой.

В колотушки что ль срежемся? — предложил долговязый.

Нет, пусть лучше Иван Михайлович расскажет.

Точно, Михайлыч, расскажи.

— Давно, Михайлыч, не рассказывал. Валяй.

Молчаливо и понуро сидевший до этих пор Иван Михайлович, поднял голову и окинув нас каким-то отсутствующим взглядом, медленно, словно желая отогнать невеселые думы, провел рукой по лбу.

— Что ж вам, ребята, рассказать?

— Расскажи про тех, что вокруг круглого стола садились.

— Да! Про рыцарей!

— Нет! Ты лучше ту историю... знаешь... где он там в бане вены себе перерезал.

— В бане? — переспросил Иван Михайлович. — Что-то не помню...

— Да знаешь. А другой там... император ихний... кото-  
рый этих... ну, как их звать? Тех самых, что в Бога верят...  
христиан, что ли?.. зверям жрать отдавал, — размахивая длин-  
ными костлявыми руками пояснял долговязый.

А-а, Нерон. «Камо грядеши»?

— Оно самое, — обрадовался долговязый.

— Нет, лучше про рыцарей! — перекривая всех, за-  
хлебывался рыжий.

— Да я же вам, ребята, про них уже много раз расска-  
зывал, — смеялся Иван Михайлович.

— Ничего, Михайлыч, тут вот корешки еще не слыхали. Валяй про рыцарей.

Хотя у костра было жарко, но Ивана Михайловича по вечерам трясла лихорадка и перед тем, как начать рассказ, он закутался в свою занавеску. Все притихли. Только рыжий, сопя и ерзая, долго пристраивался поудобнее и, подобрав наконец ноги и обняв колени руками, уставился на Ивана Михайловича. Лицо его выражало полное блаженство. Иван Михайлович закашлял — этот резкий, сухой кашель часто прерывал его рассказ — подумал и, обведя глазами присутствующих, начал. Но не успел он сказать и двух слов, как рыжий нетерпеливо и обиженно оборвал его:

— Иван Михайлович, пропускаешь. Так нельзя... ты сначала.

Точно, — поддержал Петька-Хлыщ. — Валяй сначала.

Да вы уж лучше меня, ребята, всё знаете, зачем же

Иван Михайлович продолжал, но его скоро опять прервали.

— Нет, уж ты по порядку. Не скачи.

Иван Михайлович улыбался, кашлял и покорно начинал сначала. Его еще несколько раз останавливали, дополняя пробелы, добавляя подробности. Видно было, что эту историю все знали чуть ли не наизусть. Но скоро Иван Михайлович сам увлекся и стал рассказывать с жаром, с воодушевлением и его уже больше не перебивали.

Рассказ был очень интересен, несмотря на то, что многое в нем казалось непонятным. И непонятен он, вероятно, был не только мне, но и остальным, уже много раз его слышавшим. Всё в этом рассказе было как-то странно и таинственно. Но всё это было так хорошо, что хотелось, не отрываясь, слушать...

Иван Михайлович давно кончил и умолк. Лампа потухла, костер догорал. В темноте мерцали красные точки папирос. Мишка первый прервал молчание.

## Б Е С П Р И З О Р Н И К И

Толково, Михайлыч, говоришь. Ты, я вижу, парень не дурак. Я вот тоже историю читал... о графе там одном речь идет... Рыцарей только нет, а так похоже.

В этот вечер я долго не мог уснуть и всё думал об истории Ивана Михайловича. Мишка тоже не спал и всё время ворочался с бока на бок. Приподняв голову, он вдруг посмотрел в угол, откуда доносился кашель Ивана Михайловича, и толкнув меня в бок, сказал:

— Занятный человечек. А? Да жаль, даром пропадает.

\*\*

На утро, рано, мы всей компанией отправились в город и пропьянистовали до позднего вечера. Возвращались мы нагруженные свертками и бутылками. Следующий день решено было провести в крепости и никуда не выходить. Мишка бережно нес пакет с лекарствами. Днем, проходя мимо аптеки, он вдруг вспомнил, что Иван Михайлович сильно кашляет, и объявил, что человек он ценный и что его надо лечить, а то, гляди, и помрет.

— Да как ты его лечить будешь? — смеясь, спросил долговязый.

— Пошли, лекарства купим. Натура у него интеллигентская — лекарства помогут.

Предложение Мишки было единодушно принято, и мы всей ватагой ввалились в аптеку. С трудом удалось уговорить Мишку, который хотел купить чуть ли не все лекарства сразу.

— Интеллигенту всё впрок пойдет! — кричал он, разглядывая инюхая бутылочки и коробочки, которые подносил ему растерявшийся аптекарь, тщетно силившийся добиться от нас, чего мы точно хотим и от какой болезни. Но мы сами точно не знали, чего мы хотим, и требовали самых лучших и дорогих лекарств. Вернувшись в крепость, Мишка торжественно разложил перед Иваном Михайловичем все накупленные им порошки, облатки и бутылочки и, хлопнув его по плечу с такой силой, что тот согнулся крючком, сказал:

— Лечись, браток, авось выживешь...

Подхватив слетевшие с носа очки, Иван Михайлович, улыбаясь, пересмотрел все лекарства и, вероятно для того, чтобы мы от него отвязались, проглотил две облатки.

— Сразу нельзя, понемногу надо... а то еще отравишься, — пояснил он разочарованному Мишке.

Несколько дней сряду мы пили, не выходя из крепости. По утрам и вечерам посыпали рыжего за вином и едой. Иван Михайлович пил вместе с нами. Пил он много, но быстро хмелел. Опьянев, бессвязно говорил и нередко плакал.

В один из вечеров он рассказывал нам о Дон Кихоте. Все были пьяны. Иван Михайлович совсем охмелел, и после рассказа сидел молча, с поникшей головой, не принимая уже участия в продолжавшейся попойке.

Вдруг он сначала тихо, глухим голосом, а потом громче, заговорил нараспев. Мы стали прислушиваться. Сначала мы улавливали только отдельные слова, но голос его звучал громче. Слегка покачиваясь и пристально — невидящими глазами — уставившись в одну точку, Иван Михайлович все продолжал говорить странным певучим голосом, растягивая слова.

«На московских, изогнутых улицах  
Умереть, знать, судил мне Бог...»

Под конец голос его задрожал, оборвался, Иван Михайлович закашлялся и обвел нас мутным, растерянным взглядом.

— Хорошо, Михайлыч, стихи сочиняешь, — прервал общее молчание долговязый.

— Хорошо... очень хорошо... — протянул Иван Михайлович. — Да стихи-то не мои.

Врешь, Михайлыч. Твои...

— Не проведешь! Твои!

— Голову нам не морочь! — на перебой кричали мы.

— Это Есенин писал, — горько усмехнулся Иван Михайлович. — Слышали о Есенине? Большой был поэт. Да не выдержал, повесился. А знаете, сколько еще настоящих больших людей у нас было и есть? А вы всё одно — Михайлыч, да Михайлыч. Что я? Выжатый лимон, жалкая тряпка... — голос его

дрогнул. — А вот когда-то и я с красным флагом по Москве бегал. В революцию верил... все свои силы готов был отдать... Вот и послужил, — 58-ая статья — враг народа — будьте добры — лес пилить, вину искупать... Искупили? Пожалуйте на волю... теперь вы не страшны — болыше года всё равно не прятанете, навредить не успеете...

Уронив голову на колени, он весь затрясся и зарыдал. Мы молчали.

— Ты, Михайлыч, брось... всё равно не поможет, — проговорил наконец Петька-Хлыщ. — Может там и есть какие — лучшие тебя, в другом роде, да чорт с ними... для нас ты лучше.

Иван Михайлович поднял голову, вытер рукавом опухшие глаза и с жалкой улыбкой посмотрел на нас.

— Хорошие вы ребята! Помирать мне скоро, да одна отрада, что перед смертью угол нашел, где душу отвести...

Вскоре деньги наши, от выручки за содержимое иностранного чемодана, пришли к концу и мы с Мишкой поехали дальше.

\*\*

До поздней осени прожили мы в Батуме, а затем решили ехать в Крым, чтобы там провести зиму. Но дорогой мне пришлось расстаться с Мишкой и мы снова надолго потеряли друг друга. Вот как это произошло.

Ехали мы в скромном поезде по направлению к Ростову и решили пойти порыскать по вагонам. Пошли в разные стороны. В коридоре международного я увидел у окна хорошо одетого мужчину, по виду резко отличавшегося от советских граждан. «Иностранец», подумал я и, став у соседнего окна, стал незаметно за ним следить. Иностранец достал из кармана большой золотой портсигар и, закурив папиросу, рассеянно взглянул на меня.

— Что, товарищ, кажись, скоро подъезжаем? — сказал я, подходя к нему и облокачиваясь на раму окна, у которого он стоял.

Приветливо улыбнувшись, он пролопотал что-то непонятное.

А который час? Час который? — цокляя по тому месту руки, на котором обыкновенно носят часы, и в свою очередь любезно улыбаясь, говорил я.

Иностранец радостно закивал головой и, вытащив из жилетного кармана золотые часы, поднес их к моим глазам. Часы были очень хороши. «Портсигар или часы?» промелькнуло у меня в голове. Но для того, чтобы завладеть часами, потребовались бы еще дополнительные тактические действия. «Портсигар», решил я и, изобразив на своем лице восторженное удивление, деликатно взял двумя пальцами левой руки часы и стал их разглядывать. Тем временем моя правая рука, с обломком бритвы под ногтем, скользнула вдоль наружного кармана пиджака иностранца и подхватила вываливающийся из него портсигар. Продолжая улыбаться, я кивком головы поблагодарил иностранца и уже хотел было итти, как за мной сразу же раздался крик:

— Вор! Держи вора! — И двое каких-то мужчин, заметивших мою «работу», выскочили из соседнего купэ. Сильным толчком в грудь отпихнув растерявшегося иностранца, я кинулся по коридору. Навстречу, загораживая мне дорогу, показался диспетчер. Путь был отрезан, отступать было некуда. Но я рванулся вперед и, сбив с ног выскочившую из купэ какую-то женщины, с разбега ударил диспетчера головой в живот. Он охнул и осел. Я выбежал на площадку. Выхода не было — лезть на крышу было уже поздно. В голове разом мелькнули советы Мишки. Собравшись в комок и втянув голову в плечи, я прижал руки и прыгнул вперед, по движению поезда. В то мгновение, когда мои ноги коснулись земли, поддаваясь силе инерции и падая на бок, я инстинктивно подставил лопатку под удар. Меня подбросило, закружило и, теряя сознание, я волчком покатился под откос.

Очнулся я в канаве и некоторое время неподвижно лежал в полном оцепенении. В ушах звенело, кружилась голова и сильно болело плечо, на которое пришелся первый удар. Не

помню, сколько времени я пролежал в полубессознательном состоянии, но постепенно мне вспомнилось всё, что произошло со мной в поезде. «Если только Мишка видел, как я выбросился, он непременно вылезет на следующей станции и будет меня ждать», подумал я. Надо было, во что бы то ни стало, встать и итти. Сделав усилие, я приподнялся и ощупал всё свое тело. Плечо не было сломано. С трудом я вскарабкался на железнодорожную насыпь и, покачиваясь от слабости, медленно побрал по шпалам.

Было пустынно и одиноко. Рельсы убегали в бескрайнюю даль, где-то далеко впереди на горизонте синела не то роща, не то деревня.

Ковыляя по шпалам, я с тоской думал, что станция еще может быть очень далеко, и у меня не хватит сил добрести. Но после нескольких часов пути, я увидел, что то, что я принимал за рощу, оказалось фруктовыми садами, кольцом тянущимися по окраине небольшого города. Надежда скоро встретиться с Мишкой придала мне бодрости и, прибавив шагу, я пошел в город. В городе, в трактире я подкрепился стаканом водки и поспешил на вокзал. Но ни на вокзале, ни в соседних с ним трактирах Мишки не было. Бесплодно проискав его по всем прилегающим к вокзалу улицам и еще раз обойдя всю станцию, я уныло остановился на перроне.

«Неужели Мишка проехал дальше?» — думал я. Мне не хотелось уходить с вокзала. Но долго болтаться здесь и мозолить глаза железнодорожникам было опасно, и я пошел к пешеходному мостiku, пересекавшему пути недалеко от станции, откуда видны были все входы и выходы вокзала.

День клонился к вечеру. На холодном осеннем небе бледнели и меркли полосы света. Сизая дымка окутывала город. Кое-где зажигались огни. Жизнь на вокзале замирала. По опустевшему темному перрону еще бродили одинокие тени, выплывая на фоне желтых светящихся окон.

Я стоял на пешеходном мосту в каком-то странном полу забытьи.

Резкий свисток паровоза разорвал тишину. Я пришел в

себя, к станции подходил поезд. Паровоз остановился под самым мостиком, обдавая меня клубами пара и дыма. И хотя я уже больше не верил в возможность встречи с Мишкой, я всё же стал пристально вглядываться в снующих вдоль поезда пассажиров. Мишки среди них не было. Становилось холодно, сыро, надо было уходить, искать какое-нибудь пристанище. Я плотнее запахнул пиджак, поднял воротник и раздумывая, куда бы мне направиться, оглядывался по сторонам. И вдруг я увидел, что недалеко от меня, на мосту, в клубах пара, над самой трубой паровоза, прислонившись к перилам, неподвижно сидел мальчик в ложмолях. Я сразу же узнал в нем беспризорного и понял, что он пришел погреться. Захотелось подойти, поговорить.

— Здорово, корешок, — сказал я, подсаживаясь к нему.

— Здорово, — не поворачивая головы, отрывисто и недружелюбно ответил он.

В полуутяме сгустившихся сумерек, лицо его, с резко оттененными скулами и длинным острым носом, показалось мне очень бледным и худым. Глубоко впавшие глаза смотрели тускло и безжизненно. Во всей его съежившейся фигуре, опущенной голове и выражении лица было что-то унылое, безотрадное, старческое. На первый взгляд трудно было определить его возраст — среди беспризорных часто встречались лица, преждевременно утратившие детское выражение и носившие отпечаток скороспелой зрелости — но мне показалось, что он, должно быть, не больше, чем года на три старше меня.

— Куш зычешь? <sup>12</sup> — спросил я, чтобы завязать разговор.

— Какой хрен куш? Полтинники что ли вылезли? Видишь, без ноги.

Только тут я заметил, что его правая нога, немного ниже колена, была отрезана. Рядом с ним лежали самодельные kostыли.

---

<sup>12</sup> Высматриваешь.

«Нарвался! Нищий!», подумал я.

— Ты что один? Корешки есть? — нехотя спросил я.

— Один. На дело не гожусь — нищим стал.

— Плохо, брат, дело.

— А ты сам давно здесь?

— С поезда оборвался. Черти гнались. Корешок мой уехал, а я застрял.

Куда теперь махать будешь?

Там видно будет... — я поглядел на его костили.

Небось со шляпой ходишь?

— На-первых со шляпой ходил, да даром-то тебе ни черта не дадут. Горем не прошибешь — нищих много. Публику тешить надо, вот я и научился ремеслу. Начал песни петь, словьевьем свистать, птицам на всякие лады подражать. Легче стало. Один остановится, послушает, другой подойдет, иная старуха всплакнет, пятак кинет, а бывает, что и рубль дадут...  
— Голодаешь, брат?

— Да как подвезет. Иной раз день-два не жрешь, на третий и самому не хочется, — он криво усмехнулся. — Которые жалеют, у тех самих вошь на аркане, блоха на цепи... а от шишек жди подачки... Сам знаешь, народ какой, вырывать надо. Да на одной ноге далеко не уйдешь. — Он нахмурился и помолчал: — Эх, да что говорить, старой житухи всё равно не вернешь, так и подохнешь нищим. Как ноги лишился, тяжело было руку чертям протягивать — всё нутро переворачивалось. Такая злоба, обида разбирала... да голод заставил, — добавил он чуть слышно.

Паровоз, согревавший нас, давно ушел. Сырой осенний туман лег над городом, окутал молочной пеленою улицы, дома, деревья и только фонари на вокзальной площади тускло проплывали сквозь густую мглу. Ныло ушибленное плечо. Хотелось пойти куда-нибудь, лечь, согреться. С досадой и горечью вспомнилась разлука с Мишкой. «Всему виной чортов иностранец со своим портсигаром!», подумал я.

— Ну что, в пустые вагоны кемать что-ль пойдем? —

вставая, обратился я к понуро сидевшему нищему. — Да звать-то тебя как?

Он медленно и нехотя поднял голову:

— Зачем в вагоны? У меня хаза есть.

Ухватившись за перила моста, он встал, подобрал костили и, поглубже натянув фуражку на голову, зашкандыбал рядом со мной. — Тимкой меня звать, — сказал он, когда мы спускались с моста.

Шли мы долго. Тимка жил за рабочими поселками на самой окраине города. В пустыре, заросшем крапивой и бурьяном, одиноко стоял полуразвалившийся дом. Мы ощупью спустились по каменным ступенькам, дверь заскрипела, на нас пахнуло затхлой подвальной сыростью и мы вошли в тускло освещенное помещение. При колеблющемся пламени стоявшей на ящике маленькой коптилки, я увидел, что мы находимся в довольно большом подвале. Посередине стояла, повидимому служившая печкой, железная бочка с трубой, уходившей в зияющую дыру полуобвалившегося потолка. Кругом валялась собранная кучками и забросанная всяkim тряпьем солома. Темные углы подвала были заставлены и завалены всякой рухлядью и грудами мусора. В одном из них красной точкой светился огонек папиросы. Приглядевшись, я различил, свернувшуюся калачиком на охапке соломы, темную фигуру.

— Садись, Колька, — сказал Тимка, показывая мне на один из ящиков. — А на этих не смотри, компания такая... — он кивнул головой в угол и пренебрежительно сплюнул.

Никакой компании, кроме безмолвной фигуры в углу, я до сих пор не обнаружил.

— Видишь, как устроился, — продолжал Тимка: — тепло и сыро, и муhi не кусают, — он поежился и подошел к печке. — Раствяпы! Зубами лязгают — затопить не раскачается. Ну, вы, жуки навозные, нечего валяться, — повернулся он к темному углу. — Эй, Лапша, качай печку топить, да живей!

Дров нету — всё стопили, — сиплым голосом отозвалась лежавшая на соломе фигура, отвечавшая на кличку Лапша.

А забор для чего сделан? Первый раз что ль топиши?  
Лапша заерзal и закопошился.

— Шевелись, пока по морде не сыграл! Тоже, раскаряка двуногая, — погонял его Тимка.

— Чичас, портнянки намотаю, — заскрипел Лапша, выползая на свет.

Лапша был болезненный, неуклюжий мальчик, лет четырнадцати, на коротких и кривых ногах, с копной взъерошенных, светлых волос на голове. Бледное лицо его с приплюснутым носом было покрыто веснушками, а под сонными вялыми глазами темнели нездоровые синяки.

— Чего ж я один, пущай Пуп тоже идет, — плаксиво протянул он, обращаясь к Тимке.

— Ворочайся, Лапша, а то по уху схватишь! — крикнул Тимка, замахиваясь на него костылем. — Слыши, Пуп, хиляй с Лапшой. Недоделки тоже!

Из зашуршавшей соломы вынырнула вторая фигура и, поддерживая спадавшие штаны, побежала вслед за Лапшой.

— Тоже, оболдуи двуногие, и на жратуху себе заработать не могут, — усаживаясь рядом со мной, проворчал Тимка. — Воровать не научились. Как до сих пор с голоду не подохли, дьявол их знает. Я и то за год, что без ноги, кое-как уж приспособился, а эта шелуха по дворам ходит — руку тянет... — он махнул рукой и опять сплюнул.

— Подобрал же ты себе шайтан, — усмехнулся я.

— Раньше я с корешком одним тут жил, веселее было. Только ушел он раз, да так и не вернулся. Погорел наверное.

А корешок твой тоже что ль ходульный был?

— Да нет... Думаешь, я богадельню для калек открыл?

— А эти, твои, не калеки что ль?

— Кто, Пуп с Лапшой? Да, пожалуй, похлеще меня будут, — улыбнулся Тимка.

— И давно они к тебе вселились?

— С весны. Не мешают, пускай живут. Одному, знаешь, совсем паршиво. На-первах, было, получить их думал, а потом вижу непутевые... бросил. Пусть живут, как знают. Выклян-

чат себе за день корку хлеба, завалятся в солому и лежат. Колхозная публика — другой жизни не знают, может им и легче...

Лицо его при последних словах как-то странно осунулось, углы рта опустились, глаза смотрели уныло, безотрадно.

Я откупорил купленную мной по дороге бутылку водки и подал ее Тимке.

— На, потяни!

В это время дверь растворилась и Пуп с Лапшой, таща за собой доски и колья, с шумом ввалились в подвал. Бросив свою ношу на пол, Лапша достал лежавший за печкой топор и принялся рубить дрова. Пуп, считая верно, что он уже достаточно потрудился, отошел в сторону и, присев на корточки, стал наблюдать. Выражение его маленького, острого лица, с быстро бегающими глазками и тонкими, как ниточка, губами, напоминало маленького хищного зверька. Весь он, — длинный, узкоплечий, с худым цыплячьим телом, остро выступающими лопатками и непропорционально маленькой головой на тонкой шее — выглядел каким-то несуразным.

Щепки летели во все стороны. Лапша, искося поглядывая на водку и принесенную мной закуску, проявлял необыкновенное усердие.

— Тише, чорт! Раскололся проклятый! — неожиданно раздался из дальнего, заставленного рухлядью угла подвала, тонкий девичий голос. — Весь день покоя не дают, только уснула...

«Баба?» с недоумением подумал я, взглянув на Тимку. «Не такой уж, стало быть, ты калека, как кажется?»

— Ты, сука, чего браницяся? Нет, чтобы спасибо сказать. Сама ведь весь день скулила, чтоб растопил, — огрызнулся Лапша и, повернувшись ко мне, сделал таинственное лицо. — Тсс... — прошипел он, положив палец к губам: — Барышня в положении... Подумаешь, в положении! Мешают ей, квартира неподходящая...

— Рожу, сама отсюда уйду, — слабо откликнулся голос.

— Ха-ха! Рожу да рожу! Да что ты родишь?.. Винегрет

что ли? Меньше бы таскалась... — похабно ругаясь и кривляясь, не унимался Лапша.

— Брось тарактеть! — грубо крикнул на него Тимка.

Лапша утих и занялся печкой. Пуп зарылся в солому, откуда выглядывали только его любопытные глаза.

— А это еще кто? Где ты себе такую обломил? — вполголоса спросил я Тимку.

— Приблудилась девчонка. С Украины она. Родители с голода подохли, когда коллективизацию проводили — с тех пор вот шатается... Ну, наскоцила на кого-то, теперь ахает, рожать собирается. Четвертый день лежит. Брюхо, говорит, разбирает — роды подходят.

Тем временем я разложил на ящике селедку и хлеб, и мы, по очереди отхлебывая из бутылки, начали есть. Пуп и Лапша не отрывали от нас глаз. Их жадно устремленные взгляды с тоской провожали каждый кусок, который мы подносили ко рту, в надежде, что авось и им протянут, но подойти к нам и попросить они не смели. «Держи карман — фигу выкусишь. Стыда и гордости в них нет», с раздражением думал я. Но жалобная собачья покорность их умоляющих взглядов становилась невыносимой.

— На, чорт, выпей! — протянул я Лапше бутылку. Пуп высунул голову и навострил уши.

— Чего их пить приучаешь, пускай вперед воровать научатся, — недовольно сказал Тимка. — Эй, ты, присосался, удав!..

Лапша оторвался от бутылки и с видимым наслаждением причмокнул. Из угла послышался протяжный стон.

— Что, Зинка, болит? — участливо спросил Тимка.

Болит... — жалобно откликнулась Зинка и закашлялась.

Может, пожрать ей дадим? — вопросительно взглянул он на меня.

Я протянул Лапше бутылку и селедку.

— На, бери, дай ей закусить.

Лапша понюхал селедку, хотел было отгрызть хвост, но с опаской покосившись на Тимку, раздумал и пошел к Зинке.

— Ишь, харчи ей таскай! Хитрая баба! Развалилась, как в госпитале!.. Хм, больная, а жрет, как корова! — проговорил он с досадой.

— Жрать давится, а дать не догадается... — пискливо проворчил ему из своего угла Пуп.

— Раздулась пузырем. И-их важно! Ты только на брюхо-то погляди. Что там внутри сидит — помесь черта с ублюдком. Я ж говорю, винегрет родит... — тоненьkim голоском пищал опьяневший Лапша.

— Чего издеваетесь, лешие! Рады чужому горю! — снова жалобно протянула Зинка.

— Ты, сука, молчи! Селедку, небось, получила?

— На, Лапша, перекуси хвостик, — не выдержал я и, подойдя к нему, два раза хлестнул его селедкой по лицу.

Лапша мигом нырнул в солому и притих.

— Эх, распустил ты их, Тимка! — с сердцем добавил я, возвращаясь на свое место.

Тимка хотел было что-то сказать, но промолчал.

Из угла, куда забились Пуп и Лапша, послышался плач.

— Ну и публика! — зло засмеялся я. — По роже получил и расскутился. Мало, видно, по шее давали.

— Нет, Колька, он не потому... он всегда, как выпьет, ревет, мать вспоминает. Говорил, не надо ему водки давать, — сказал Тимка.

Что-то непонятное, неуловимое, проскальзывающее в отношении Тимки к Пупу и Лапше, уже некоторое время раздражало меня. Хмель выпитой водки начинал действовать и последние слова Тимки, в которых я уловил уже явное сочувствие к ним и скрытый укор мне, окончательно вывели меня из себя.

— Мать вспоминает! Я те покажу чертову мать!

— Оставь! — строго остановил меня Тимка. — Пусть себе, всё равно не переделаешь. Ему хорошо, есть о ком плакать.

— Коли жить хочет, об этом забыть надо, иначе ни хрена из него не получится.

Тимка задумчиво посмотрел на меня и, немного помолчав, сказал:

— Точно... чтобы по нашему жить, надо зверем стать. Забывай всё и за жизнь держись. А таких, как Лапша и Пуп больше, чем нашего брата. Не могут они по нашему приспособиться. Лапша, вот, только третий год без родителей, в нем еще память о той жизни есть... а чтобы по нашему жить, надо по другому...

Мне не хотелось продолжать разговор с Тимкой. Я встал, подбросил дров в печку. Посыпалась искры. Мелкие щепки весело затрещали.

— Что, Зинка, к печке тянет? — проговорил Тимка.

Я обернулся. Зинка, с трудом переваливаясь с ноги на ногу, выползла из своего угла.

— Ворочаешься с боку на бок, никак не заснешь... места себе не находишь, — подходя к нам и тяжело опускаясь на ящик, сказала она. — Житье собачье! Хоть бы родился скорее проклятый, а то всё нейдет... измучилась я.

Выглядела она еще совсем девчонкой — четырнадцатипятнадцати лет, не больше. Ее осунувшееся, измученное лицо, со складками и морщинками сухой, желтой кожи вокруг небольшого рта и темных, горевших лихорадочным блеском, глубоко впавших глаз, было совсем еще детским, несмотря на искаскавшее и старившее его болезненное и страдальческое выражение. Одета она была, также как и все остальные обитатели подвала, в лохмотья. Из под старой, изорванной шали, наброшенной на ее узкие плечи, виднелись тонкие, исхудальные руки. Узкая, треснувшая по швам юбка, туго обтягивавшая большой, выпиравший живот, была ей слишком коротка и не доходила до колен. Ноги были босые.

— Ничего, родишь — легче станет, — улыбнулся ей Тимка.

— Потом-то может и легче станет, а сейчас страшно. У

меня подруга одна померла, когда рожала, — Зинка тяжело вздохнула и поглядела на нас, как бы ища сочувствия.

— Ничего, может и не подохнешь, — обнадежил ее Тимка.

— Да уж коли не подохну, второй раз меня, дуру, не проведешь, — проговорила Зинка. — Буду знать теперь... хватит!

Она слабо улыбнулась. — Ах, не верится, что освобожусь скоро. Знала бы раньше, какие муки терпеть буду — аборт бы сделала. Подружка одна помочь хотела, да испугалась я... На глазах у меня одна так подохла.

— Небось жалко будет подкинуть-то, когда родится?

— А чего его жалеть проклятого! — угрюмо, как бы отвечающая сама себе, сказала Зинка. — Мало я с ним намучилась. Снесу в детясли и чорт с ним! Там ему лучше будет... Рожу и отдам к чорту...

Внезапно лицо ее исказилось от боли. Стиснув зубы и за-прокинув голову, она обхватила живот руками и замерла.

— Ох, отошло малость. Пойду лягу, а то опять разбить начнет, — прошептала она, вставая и направляясь в свой угол.

— Покемать бы, — сказал я, зевая и потягиваясь.

Взбив в кучу разбросанную у печки солому, я улегся на ней.

— Задавил бы меня тогда поезд, не мучился бы теперь!.. — говорил Тимка, укладываясь рядом со мной. — На тебя вот посмотришь, счастливый ты!.. Вот и я, как ты, ездил, ездил, да и доездился...

— А ты откуда будешь?

— Когда огольцом был, в Грозном жил. Может там и родился, не знаю... Меня одна старуха подобрала, на улице нашла, уж не помню, что она рассказывала. Так лет до шести с ней и жил, а как померла, я, значит, и пошел... Когда на двух ходил, сам знаешь, какая житуха была. Да вот дернуло в этот чортов город заехать. Только успел на вокзале угол хороший наколоть — на лягавых наткнулся. Бросать жалко, а курьерский к перрону подходит. Эх, думаю, успею перемахнуть —

след запутать. И успел бы, да чемодан тяжелый, споткнулся о рельсы, упал, а поезд тут, нога под колесами. Так чемоданчик и не унес, а хорош был... — сквозь сон, словно издалека, слабо долетали до меня тимкины слова... — а теперь идешь мимо вокзала, услышишь, как поезд гудит, так и тянет. Сядешь на мост и смотришь. Эх, думаешь, примостишься бы сейчас на крыше или на буфере и поминай как звали... Да крылья обломались, сам знаешь, грош цена птице без крыльев. На-первах всё на буфера смотрел, а теперь под колеса...

Утром нас разбудили зинкины стоны. Мы подошли к ней. Скрючившись на охапке отсыревшей и слежавшейся грязной соломы и обхвативши руками низ живота, Зинка протяжно стонала. Лицо ее как будто еще больше осунулось и потемнело, а взгляд широко раскрытых, не мигая смотревших в одну точку глаз, выражал боль и страх.

— Что, Зинка, плохо? — наклонился над ней Тимка.  
— Должно началось... не знаю, — жалобным, надломленным голосом простонала она.  
— Может, пожрать чего хочешь?  
— Оставь, не надо, — не разжимая крепко стиснутых зубов, еле прошептала она.  
— Слыши, Зинка, в больницу бы сходила, пока не поздно,  
— посоветовал Тимка.

Зинка ничего не ответила, только замотала головой.  
— Слыши, говорю, в больницу итти надо. Я сам провожу.  
Дернувшись всем телом, Зинка порывисто приподнялась на соломе.

— Не пойду. Чего гонишь, холера! — пронзительно, визгливо закричала она. — Умру — не пойду. Здесь умру. Там заморят проклятые — и сотрясаясь от рыданий, она повалилась опять на солому.

— Ну ладно, чего орешь... не гоню я тебя, — пробормотал Тимка.

Мы отошли и сели доедать вчерашние остатки.  
Колька, ложками выбивать умеешь? — спросил меня Тимка.

Чего? — не понял я.

Пошли, увидишь, — он встал и взял свои костыли, — может еще и тебе когда пригодится.

— Брось каркать.

— Ты, Зинка, не робей! Скоро вернусь, — останавливаясь у порога, проговорил Тимка. Зинка ничего не ответила.

— Эй, вы, красивые, на работу! — крикнул он зарывшись в солому Пупу и Лапше. — Живей поворачивайся!

Пуп и Лапша покорно выползли из своего угла.

— А как же это того... мы уйдем, а она может рожать начнёт, — подмигнув в сторону Зинки, проговорил Лапша.

Подумаешь, без тебя родить не сумеет. Проваливай!

— Без нас-то... да дело-то такое интересное пропустить.

— Ну ты, интересное! — и Тимка замахнулся на него костылем. — Пощупаешь сейчас интересного!

Недовольно переглядываясь, Пуп и Лапша направились к выходу.

— Что ж, посыпались? — обратился Тимка ко мне.

— Пошли, — сказал я. — Ты петь, а я по делу схожу.

Я собирался попытаться продать в городе золотой портсигар, но по дороге раздумал. Что-то толкнуло меня пойти посмотреть, как Тимка работает.

Выбрав место на вокзальной площади, мы уселись на тротуаре. Тимка положил перед собой свою фуражку, дал мне две деревянных ложки и, показав, как надо ими отбивать в такт песне, запел высоким фальцетом, уныло и протяжно растягивая слова:

«В лохмотьях серенькой шинельки  
Красноармейский, старый шлем,  
В грязи весь, видно, по неделям,  
Не умывается совсем.  
В руках две деревянных ложки,  
Он ими в такт усердно бьет,  
Собрав зевак, чумазый Трошко,  
Сам неизменную поет.  
Позабыт, позаброшен,  
С молодых, с ранних лет...»

Далее следовала вся история этого Трошке и бесконечная песня кончалась тем, как:

«На буфер сел, уснул, свалился,  
Не знал, что так не подвезет  
На костылях, ноги лишился,  
Сам неизменную поет.  
Ой, умру я, умру я,  
Похоронят меня,  
И никто не узнает,  
Где могилка моя.»

Пел Тимка хорошо, с большим чувством, вкладывая в песню всю душу. Сначала я просто отбивал ложками в такт, а потом, невольно поддавшись звукам его задушевного голоса, стал и сам потихоньку ему вторить. Прохожие останавливались. Одни, бросив мелочь, шли дальше, другие слушали с жалостливыми или равнодушными лицами. Я посмотрел на Тимку. Лицо его было неподвижно, как каменное. Глаза смотрели в одну точку. Казалось, он весь ушел в свою песню и никого не замечал. Мне стало обидно за него. Просить милостыню считалось у нас самым унизительным и позорным делом.

«И перед кем унижается? У кого просит?», — с озлоблением думал я. «У тех, кто нас обездолил, кто выкинул, лишил всего. Пусть даже и не они сами, но такие же, как они, из их мира. Не выпрашивать у них, грабить их! Вот толстобрюхий стоит, уши развесил. Плевать ему на нас!..»

— Пошли, Тимка! — крикнул я, дернув его за рукав. — Чего чертей тешить! У меня гропли есть, я тебе дам.

Тимка оборвал песню, не глядя на меня, быстро пересыпал собранные копейки из фуражки в карман, подобрал костили и молча зашкандыбал рядом со мной.

Так вот, Колька, понял теперь мое счастье? — сказал он.

Пошли, выпьем, — не зная, что ответить, сказал я.

Мы зашли в трактир, выпили и закусили.

Выложив имевшиеся у меня деньги — около трехсот рублей — я сунул Тимке двести и портсигар.

— На, держи! Зинке плохо будет — поможешь, а на этих оглоедов меньше трать.

— Чего ж ты так... оставь себе, — смутился Тимка.

— Сотня есть, а заработать всегда успею. Тебе нужнее Махну дальше корешка своего искать. Ну, пока!

Мы вышли из трактира и на улице разошлись каждый в свою сторону. На вокзале я забрался в первый, шедший на Ростов, поезд и поехал дальше.

**Н. Воннов.**

(Продолжение следует)

\*\*  
\*

Поздравляю всех молящихся  
С тем что молятся.  
Поздравляю розы чайные  
С тем что колются.  
Поздравляю всех трудящихся  
С тем что трудятся.  
Получившего пощёчину  
С тем что судится.  
Поздравляю неудачников,  
Коль не клеится.  
Продавца гумиартика,  
Если клеится!  
Поздравляю, низко кланяюсь  
Встречным всем наперечёт.  
Поздравляю, низко кланяюсь  
Всем ктоышет и живёт.

1950.

**Юрий Одарченко**

# ЗА ОКЕАН

Из Австралии писали: все там серое. И земля серая, и трава серая, и листья на деревьях похоже, что серые. А в городских парках стайками перепархивают попугаи, вроде, как у нас воробыи. Гммм... да! Вот и поезжай.

В лагере, от барака к бараку ходили усталые от безделья люди, передавая все ту же новость: завтра начнется запись желающих в Австралию. А еще через неделю будут щупать мускулы и смотреть зубы.

Туркевич (по паспорту. Настоящая его фамилия была Кашеваров, но этого никто, кроме Васильевых, не знал. И родился он не в Вильно, а в Костроме) отделился от толпы, стоявшей у кантиной, махнул рукой на выдававшиеся там защитного цвета полотенца и зубные щетки в прозрачных целлофановых оболочках, пересек шоссейную дорогу и зашел в лес.

Но тишина и хвойный запах ни на что не ответили. Все было по-прежнему: тосклиwyй страх перед окончательным, непоправимым.

Отца Туркевича увезли в тридцать шестом, мать умерла в первую же голодную военную зиму.

Из той же Австралии писали: у тамошних девушек плохие зубы, одеваются в яркие платья и норовят замуж.

Ираида вышла его провожать на вокзал, когда отходил их эшелон. Была она бледна, на лице высывали веснушки, губы чуть опухли. Весь облик будто бы другим стал. Падал первый мелкий мокрый снег. Мать стояла рядом и все напоминала ему скороговоркой про фуфайку.

Не осталось ничего: ни письма, ни фотографической карточки.

Потом пришли всклокоченные годы.

Буханка хлеба на двенадцать человек в плenу. РОА, и новые друзья, потешавшиеся над тем, что он говорит на «о», точь в точь, как Власов.

Прячась от репатриационных миссий, попал в польский лагерь, где сдружился с Васильевыми.

Васильевы спали и видели уехать за океан. Куда угодно: в Чили, так в Чили, в Австралию, так в Австралию. Боялись войны, боялись нищеты («когда все это лопнет»), мечтали на ноги поставить дочку, веселую, смуглую, толстенькую Настю, шестнадцатилетнего подростка.

У Васильевых бывал он каждый день. Называли его там не по имени и отчеству, а Сережей.

Васильев Виктор, плечистый, с красной плотной шеей, с голубыми глазами на выкате, говорил, как это иногда случается с рослыми и грузными людьми, тонким фальцетом. Вечерами играл он с Туркевичем в шахматы.

Жена его, Вера Сергеевна, стройная, худая, с начинающим стареть изможденным лицом, любила называть Туркевича своим приемным сыном, хотя между ними было лишь несколько лет разницы. Когда улыбалась она, мягко и участливо, то подмывало не то попросить налить еще чаю, не то выложить ей всю душу.

Теперь Васильевы уезжают и зовут его с собой. Откажется, — и никогда их больше не увидит.

Что-то прижгло ногу, повыше щиколотки. Туркевич заметил, что сидит на пне, а нога уперлась в муравейник. Стряхнул муравьев, поискал глазами, нашел гладкую, матово-молочную буковую колоду, пересел.

В сущности, отчего бы и не ехать? Какой погоды ждать здесь, в лагере, вообще в Германии? Походит с тачкой, подолбит камни, а там, глядишь, и домик где-нибудь на берегу океана появится. Чем не счастье? Живут же люди...

У отца были густые, рыжие брови и коротко подстриженные усы. Ходил он обычно в косоворотке и вечно таскал

с собой черный потрепанный портфель. В ту ночь, когда за ним пришли, был простужен, не спал, принял с вечера аспирин. Мать носила передачи. Потом были весточки из лагеря: ему там, писал он, хорошо. Потом письма прекратились.

Известие о смерти матери застало Туркевича на фронте. Писала Ираида. Издали сбоку с назойливым беспокойством бухали орудия. А под самым ухом ротный старшина со смаком выругивал какого-то солдата.

Так и сливалось в памяти: представления о похоронах матери, круглый, почти детский почерк Ираиды и плохо вычищенное дуло солдатской винтовки. Да еще пригород с чахлыми сосенками и деревенская церковь со снесенным куполом: их часть месяцами занимала одну и ту же позицию, пока немцы не забрали всех в плен.

Отчего, в конце-концов не уехать в Австралию?

Где-то наверху постукивал дятел. Туркевич поднял голову, стараясь его разглядеть. Вот он: зеленый с красной шапочкой, с необыкновенной цепкостью прыгает вокруг ствола. И нет его больше: скрылся среди ветвей.

Настя вчера вбежала в комнату, запыхавшись, и начала его тормошить. Голубые, как у отца на выкате, глаза блестели. Высокая, созревшая грудь вздрогивала. Черные косы, малороссийской колбасой скрученные вокруг головы, разнялись и упали на спину.

— Сережа, Янек объяснился мне в любви! Ей Богу, правда! Значит, я уже барышня, а вы не верите!

И, завертевшись на одном месте: — Вот, стану я пани Вержбловская и будете ручку мне целовать. Жаль, что слишком он глуп и долговяз, а то бы вышла. Только чур, не выдавать меня: предки на смех подымут! — Вытараторила и умчалась.

Васильевы уезжают. Виктор работяга: и дом и автомобиль сколотит. Что ж... И не будет ни шахмат, ни вечерних чаепитий, ничего не будет.

Непостижимой удачей после ареста отца удержался в институте, сдал экзамены, получил назначение в леспромхоз. По будням одуревал от подсчетов кубометров, годичных приростов, емкости отходов, комплексной механизации, планов соревнований. Да еще дополнительно: собрания, доклады, проработки. Зато в выходные дни получше смазывал сапоги, вскидывал ружье, отправлялся в лес. И хорошо было вечерами чувствовать вокруг шеи полные руки Ираиды, перебирать пальцами ее темные, глянцевитые волосы...

— То не есть паньске лужко, — донесся через лес чей-то визгливый голос из лагеря, — то есть мое лужко, и нех пан идзе до холеры!

— Вот именно «до холеры!», — с неожиданной злостью подумал Туркевич, вскочив с места, и притоптывая затекшей ногой, — до холеры и этот лес, и Вержбловского, и вообще...

\*\*  
\*

Через три недели они все, вчетвером, стояли на борту парохода, глядя назад, на уменьшающуюся полоску берега.

Туркевич обернулся к Вере Сергеевне, прятавшей в сумочку платок.

— Там, говорят, все серое. И земля серая, и трава, и, даже листья на деревьях. Сам читал в письме.

А. Неймиров.

# СЕГЕЖСКАЯ НОЧЬ\*

«...на проспектах появился еще один молодой человек...».

**К. Федин.**

Проснулся вдруг. Шумел устало в трубах  
Все так же пар. В глазах висели тени  
Каких-то снов. И полночь мимо окон  
Брела на Север... Сколько ни старался  
Я вспомнить сон последний — вились хлопья,  
И таяли, и снова появлялись...  
Мне стало грустно. Я тогда прибегнул  
К испытанному средству — стал мечтать  
О чем попало, — всадник, заблудившись,  
Бросает повод, думая, что конь  
Почует сам и выйдет на дорогу.

Там было детство... Золотою птицей  
На дальнем юге пронеслось, оставив  
О невозвратных далях сожаленье  
И яркие картины, где не знаешь  
Границы между вымыслом и правдой.  
И девочка с косой... В соседнем доме  
Она жила, мы не были знакомы,  
Но каждый вечер в голубом наряде  
Она сходила в сад с угрюмой бонной  
(Их сад и наш сплетались над забором),

---

\* Поселок Сегежа (Карелия) — место расположения «Сегежлага» (быв. 4-го отделения ББК). Автор пробыл в этом лагере с 1938 по 1941 год. В этом лагере он и написал «Сегежскую ночь». В списках эта поэма распространялась среди заключенных.

**Ред.**

Я делал вид, что собираю вишни,  
 А сам с остановившимся дыханьем  
 Следил за ней одной и думал: завтра  
 Опять придет для одного меня...  
 Садилось солнце, удлинялись тени, —  
 Из сада бонна уводила фею,  
 Я замечал, что, вместо спелых вишнен,  
 Нарвал зеленых полные карманы.  
 И город где-то... Мне тогда минуло  
 Семнадцать лет, когда в него я прибыл,  
 Один, без близких, без гроша в кармане,  
 Но полный планов, веры и желаний.  
 И скоро стали городские тайны  
 Известны мне, я скоро появился  
 В редакциях, ломбардах, ресторанах,  
 За театральными кулисами — и всюду  
 Меня своим считали человеком.

Мне город был как дом: меня встречали  
 Среди поэтов, балерин, боксеров,  
 Среди художников, пройдох и сброды  
 Ночных проспектов иочных становищ.  
 И каждый звал меня своим, но каждый  
 Не знал того, что по утрам упрямо  
 Я слушал лекции о Риме, о Шекспире,  
 И днями пропадал в библиотеках.

Пришла влюбленность. Расцвела и с болью  
 Осыпалась... Тогда познал впервые  
 Утрату сердца я, но память <sup>—</sup> о  
 Забыла все, — на то и юность. Скоро  
 Я научился приставать в трамваях,  
 На улицах, я научился скоро  
 Менять язык желаний и признаний  
 В день раз по пять... Всего не помнит память.  
 А время шло, и, обгоняя юность,  
 Бежало сердце, дни мои и ночи

Теряли грани, и порой терялась  
Душа, не зная, что ей с прошлым делать.  
Тогда я запирался на недели,  
Лез в дебри книг и одиноко клялся  
Забытому Шекспиру и мечтаньям  
Далекого, обманутого детства.  
Соседа мальчик приносил мне письма  
И белый хлеб... И был я снова счастлив.

Но день пришел: полузыбтый образ  
Далекой девочки в голубеньком наряде  
Стал мне являться по ночам и стало  
Казаться мне, что так же на закате  
Приходит в сад и ждет меня, тоскуя.  
И я отправился искать повсюду  
Ту девушку, которую мог встретить,  
Как Новый Свет Колумб когда-то встретил,  
Ту девушку, которая-б смеялась  
На счастье мне, для одного меня...

Но обознавшись много раз, узнал я:  
Давным-давно той девушки не стало,  
И сад засох, и что другое время  
Проходит по земле, что слишком поздно,  
Иль слишком рано я на свет родился.  
Еще узнал, что до моего рожденья  
Я дедами уже был продан в рабство  
Ревнивице жестокой — Государству.  
И вот теперь на каторгу я сослан —  
За то, что раб осмелился забыться  
И юность тратил в поисках ненужных.

А ночь полярная опять тоскует  
В холодном доме женщины усталой,  
Наряды девичьи свои достала  
И бледные, зеленые узоры  
Высоко в небе Северным Сияньем

Перебирает, тяжело вздыхая.  
И только звезды падают из темных,  
Печальных глаз слезами золотыми.

И вижу город я, и слышу шумы  
Вечерних толп в подъездах театральных,  
Огни реклам, витрин, звонки трамваев,  
Веселые гудки автомобилей,  
Гранитных набережных бесконечность,  
Тяжелая вода каналов, листья  
Опавшие плывут как-будто осень.  
На них вплывает в город незаметно...  
Бесцельные блуждания с подругой  
Вдвоем по набережным, разговоры  
Бездумно-нежные, но с тайным смыслом,  
Понятным только нам: о том, что было,  
О том, что будет, странное волненье  
От блоковских стихов на ум пришедших...  
Пустынная, безлюдная Нева...  
Огни мостов... Исаакия громада,  
Как голова из сказки о Руслане...  
И в небе Всадник бронзовый... И Пушкин...  
И Бенуа...

Знак подает условный  
Кому-то башня, нас не замечая.

Укрыв себя асфальтом и бетоном,  
Спит Ленинград, спит Нарвская застава,  
И Петербург русалкой из Невы  
Навстречу осени вернувшейся выходит.  
Туман повесив дымный над торцами,  
Их встречу ночь Октябрьская скрывает,  
И только волны на ухо ступеням  
Гранитным шепчут что-то, только слезы  
Дрожат у Сфинксов на глазах, и строги,  
Торжественны дворцовых окон лица.  
И ночь — бесшумный церемониймейстер —

## С Е Г Е Ж С К А Я Н О ЧЬ

К параду улицы готовит — Невский  
Уже очищен, фонарей шеренги  
Построились, в салюте шпагой замер  
Адмиралтейства шпиль... Бьет башня полночь.  
И до рассвета, скрытые туманом,  
Два призрака задумчивые бродят,  
Не спят дома — гвардейцы ветераны,  
Не спят столетние деревья парков,  
И императоры чугунные снимают  
Тихонько шляпы и косятся кони...  
Всю ночь, пока гудок не разревется  
На Выборгской, не выдержав, и следом  
Завоют по-районно на заводах  
Тревожные сирены Ленинграда.

Январь. Мороз. Не выходить из дому  
С утра клянемся шепотом в постели.  
На окнах солнечный какой-то Врубель  
Немыслимые расписал узоры,  
Рояль готов здороваться аккордом,  
А скатерть к чаю предлагает солнце...  
Рояль не закрывается и книги  
Весь день перебираются, сияют  
В трюмо глаза, и взбитые прически  
Шумят о счастьи, в воздухе не молкнут  
Неповторимые слова, которых  
Не знает ни один язык вселенной.  
А вечером — сверкающие люстры,  
Колонный лес, органа многостволье,  
Блужданье по фойе, знакомых лица,  
Листки программы и призыв из зала  
Настраивающихся инструментов...  
В конце — толкучка тесных раздевалок,  
Покупки в «Гастроном», возвращенье  
Домой пешком, не торопясь, и снега  
Веселый скрип под ботами подруги.

.....

С . Ю Р А С О В

И вы, далекие исчезновенья  
Из города, когда нас настигало  
Желанье убежать, как в раннем детстве,  
И, знать не дав ни близким, ни знакомым,  
Айда на первый отходящий поезд  
К затерянному в далях полустанку.  
Сойти в степи, где никого не знаем,  
Еще и поезд не успеет скрыться,  
Уже идем, распахивая ворот,  
Навстречу ветру, лету, горизонту.

Потом лежим, раскинувшись под солнцем,  
Цветы над лицами, полныю пахнет,  
И так легко, что, глядя в синь бездонья,  
Уже не глаз, а неба, где высоко,  
Как чьи-то жизни, облака проходят,  
Вдруг все поймем — всю жизнь, без сожаленья  
О мелочах успеха, славы, блеска.  
К бахче далекой выйти. В халабуде  
Встречает дед, седой и загорелый.  
По-русски, запросто он угощает  
Нас в холодке душистой, вкусной дыней,  
Арбузом сочным, золотистым медом,  
И курит неумело папирюс,  
И кашляет, и говорит, что лучше  
На свете нет испытанной махорки.  
И монотонно что-то начинает  
Рассказывать о прошлых войнах... Знайно  
Звенят кузнечики... Пчела над ухом,  
Дрожа, жужжит... И душный зной над степью  
Колышится... И мерный голос деда  
Уже журчит сквозь сон дремотной сказкой...

Ночь провести в огромном стоге сена.  
Как крепки запахи степи ночами!  
Как сине небо южное! Как низки  
Мохнатых звезд зеленые созвездья!

Ты помнишь эту ночь? Ты помнишь мяту  
На коже, на губах? Ты помнишь счастье?...  
Гармонь играла где-то — так далёко,  
Так сладко плакала о том, что радость  
Пройдет, как всё проходит на земле...  
Потом вернуться, без предупрежденья,  
Немного надоевшие друг-другу,  
Усталые, и, словно, напроказив,  
Молчать на резкие упреки близких,  
Что мы безумны, что у нас нет сердца,  
И втайне радоваться кругу дома,  
Вещам знакомым, книгам, безделушкам,  
Как будто жизнь сначала начинали...

Мне часто снится, что я снова дома:  
Все так же мягок свет вечерней лампы,  
Шьет так же мать, отец с газетой дремлет,  
Сестра над книгой у стола склонилась.  
И я зову, кричу — я снова дома!  
Но все молчат, никто меня не слышит,  
И плачу я... зову... и просыпаюсь...

Пришел в себя и я не знаю даже,  
Что было сном, а что мечтаньем было.  
Устало пар шумел по трубам так же  
И что-то таяло и что-то плыло.  
Я письма старые достал — зависим  
От них когда-то был я. Одиноко  
Стучало сердце. Шелест старых писем,  
Как шорох листьев осенью глубокой.  
Взглянул в окно — кругом цвела дремота,  
Шел тихий снег и были мутны выси,  
А мне казалось — сверху сыпал кто-то  
Обрывки старых пожелтевых писем.

**С. Юрсов.**

«Сегежлаг», март 1939 года.

# НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОГОЛЬ

## 1.

Может показаться очень странным говорить, как о «неизвестном», о писателе, о котором столько написано и который оказал такое огромное влияние на всё последующее развитие русской литературы. Но просмотр всего, написанного о Гоголе, и пересмотр вопроса о его влияниях скорее всего могут убедить нас в том, что Гоголь, действительно, «неизвестный», загадочный писатель.

Работы о Гоголе характеризуют его, то как романтика, то как реалиста, то как реакционера, то как одного из представителей русского социального и политического радикализма (конечно, по большей части, как «бессознательного» радикала). Одни называют его «мудрецом», предвосхитившим глубочайшие идеи Достоевского, другие — только-что не совсем глупцом, во всяком случае недалеким человеком. Одни считают вершиной его творчества его украинские рассказы, другие — поздние «реалистические» произведения. Одни восхваляют его способность рисовать «пошлость» в живых человеческих образах, для других его герои — «мертвые куклы». Самое странное, что иногда один и тот же автор то воссторгается Гоголем, то отвергает его: так случилось с украинским писателем и поэтом П. Кулишом, первым издателем писем и биографом Гоголя; Кулиш один раз объявил украинские рассказы Гоголя поразительно верными действительности по своей тональности, другой раз — привел огромный список этнографических и бытовых погрешностей в изображении народной жизни в тех же самых украинских рассказах, и даже склонен был считать это изображение «клеветой» на украинский народ.

Так спорят критики и историки литературы. Их неспособность прийти к соглашению в характеристике наиболее крупных писателей общеизвестна. Но о Гоголе спорят также и писатели и поэты, — его подражатели и последователи. Нет

такого направления в русской литературе, которое устами кого-либо из своих представителей не объявляло бы Гоголя «своим». Его считали своим родоначальником и реалисты разных оттенков, и импрессионисты, и символисты, и футуристы, а в настоящее время он объявлен «отцом» «социалистического реализма»... «Гоголевский стиль» в стихах Маяковского проник даже в поэзию, и это не в первый раз, так как элементы подражания Гоголю нетрудно найти и в стихотворстве и стихоплетстве 60-х годов: у Некрасова и поэтов «Свистка»... Если бы существовал русский «сюрреализм», как оформленное течение, он, наверное, объявил бы Гоголя своим литературным предком, хотя бы за такие смелые «реализации метафор», как: «в окне поместился сбитеньщик с самоваром красной меди и с лицом, таким же красным, как самовар, так что издали можно было подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар (!) не был с черною, как смоль, бородою», или: «тrottuar несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался в своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу и алебарда часового вместе с золотыми словарями вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз...». Таких примеров немало!

«Если на клетке с буйволом увидишь надпись: слон, не верь глазам своим», изрек Козьма Прутков. Над сочинениями Гоголя вывешено столько противоречащих друг другу надписей, что если бы принимать их всерьёз, надо было бы считать Гоголя Протеем или волшебником, способным бесконечно менять свой облик.

Во всяком случае, его облик в глазах современников и потомков не только «двоится», а множится, излучая из себя ряды совершенно различных и совсем непохожих друг на друга образов. Уже поэтому каждая новая работа о Гоголе начинается с новой постановки почти всех вопросов, касающихся его идеологии и стиля. Ну, как же не назвать его «неизвестным писателем»? Даже в советском литературоведении, где есть простейший способ решения всех «так называемых вопросов»: приведение более или менее удачно выбранной цитаты из Ленина, Сталина, Маркса и Белинского, — даже в советском литературоведении время от времени появляются работы, оставляющие ряд вопросов о Гоголе открытыми. Один из наиболее «ортодоксальных» советских историков литературы В. Десницкий перед второю мировой войною напечатал (в изданном В. Гиппиусом сборнике статей и материалов о

Гоголе) объемистую статью, сплошь состоящую из перечисления «нерешенных вопросов» о Гоголе. С того времени прошло более десяти лет, но ни на один из этих вопросов не было дано никакого окончательного ответа.

## 2.

Еще в лицее Гоголь получил прозвище «тайный карл»: он был очень маленького роста, как многие великие люди — Цезарь, Декарт, Моцарт, Наполеон. «Тайным» он оставался и в продолжение всей своей жизни... Теперь он представляется нам «тайным гигантом».

Гоголь появился на горизонте русской литературы, как блестящий метеор, чтобы сравнительно очень быстро погрузиться в неизвестность. Его собственно литературный путь очень краток: двенадцать лет. В 1831 г. — ему было всего 22 года — появились два тома «Вечеров на хуторе близ Диканьки», сразу поставившие его на одно из первых мест в ряду тогдашних русских прозаиков и открывшие ему путь на верхи литературного Олимпа. Если даже сомневаться, как это теперь принято, в близости его личных отношений с Пушкиным, то уже простое знакомство с Пушкиным, Жуковским, с которым его позже связывала интимная дружба, кн. В. Одоевским, И. И. Дмитриевым, с московским кругом Погодина, с кружком Плетнева, с Максимовичем было небывалым успехом личной жизни. Не забудем, что все они очень отличали его от иных новых звезд, загоравшихся тогда на литературном небе. И «житейская карьера» Гоголя казалась успешной: преподавание, и при том, как кажется, очень удачное в Благородном Институте, затем профессура в Петербургском университете, которая вовсе не была так неудачна, как это до сих пор обычно утверждают историки литературы, — это еще в 1911 году убедительно доказал Венгеров. В 1834 г. появляются 4 дальнейших тома литературных произведений Гоголя: сначала 2 тома «Арабесок», и почти одновременно — несколько позже «Арабесок» — 2 тома «Миргорода». В 1936 году Пушкин хочет сделать Гоголя одним из ближайших участников своего «Современника». В том же году ставится на Императорской сцене «Ревизор». Несмотря на несомненный успех, Гоголь считает эту постановку катастрофической неудачей: как известно, он ожидал от «Ревизора» совершенно необыкновенного действия — морального возрождения России. Он бежит за границу — собственно говоря, навсегда. В Риме он проводит

12 лет, приезжая в Россию только два раза на короткое время, оба раза занятое хлопотами по изданию своих произведений. Из «прекрасного далёка» появляются — почти всегда совершенно неожиданно для читателей — его литературные сюрпризы: новая обработка «Портрета», новая обработка «Тараса Бульбы» (повесть так переработана, что кажется почти новым произведением), в 1842 г. — «Шинель», «Рим» и первый том «Мертвых душ»... Гоголь становится главою нового литературного течения, — «натуральной школы», с представителями которой он почти не имеет личных связей, но к которой в течение десяти лет примыкают самые крупные и популярные представители русской прозы того времени: молодые братья Достоевские, Григорович, Тургенев, И. Панаев, Некрасов, Гребенка, Кулиш... А сам «глава школы» замолкает — навсегда.

В 1847 году он, правда, «разражается» «Выбранными местами из переписки с друзьями». Эти специально для книги написанные «письма» — последнее произведение, изданное Гоголем самим, при этом произведение уже не чисто литературное, а публицистическое. Оно легло тяжелым бременем на литературную репутацию Гоголя и очень отягчило его литературную совесть. В 1848 г. он, наконец, через Иерусалим возвращается в Россию, где проводит четыре последних года жизни, отчасти в провинции, в Одессе — в довольно живом общении, как кажется, с широким кругом знакомых, а главное в Москве, где он живет в глубоком уединении. В начале 1852 г. он вторично сжигает уже почти готовый к печати второй том «Мертвых душ», в первый раз сожженный Гоголем уже в 1844 г. Суровый пост и болезнь, которую тогдашняя медицина определила, как «нервную горячку», обрывают его жизнь: 21 февраля 1852 г. Гоголь умер — в возрасте всего 42 лет.

После его смерти — не тотчас же, а лет через 10 — начинаются попытки воссоздать его образ: литературный и личный. Несмотря на большое количество сохранившихся от Гоголя писем (около 1300, три четверти их — из-за границы), задача оказалась непосильной: на жизненном пути Гоголя нам известны только отдельные точки, между которыми нельзя с полной уверенностью провести связующих линий. Тем не менее вскоре возникает картина жизни Гоголя, до сих пор повторяемая во многих работах, особенно иностранных, — иностранные авторы обычно списывают с русских работ, почему то выбирая самые неудачные из них. Основными поворотными

пунктами в жизни Гоголя, согласно этой картине, считаются сначала его переход от романтики к «реализму», датируемый чрезвычайно различно — его начинают то с «Ревизора», то с «Арабесок», а то и с отдельных рассказов «Вечеров», а затем будто бы пережитый им за границей «религиозный кризис», являющийся и причиной прекращения им литературной деятельности и даже его смерти. Наиболее «просвещенные» авторы, для которых слово «религия» равнозначуще со словом «бессмыслица» или даже «безумие», заменяют выражение «религиозный кризис» «религиозным помешательством».

Ошибочность этой картины развития Гоголя давно опознана не только символистами (Мережковский, Брюсов, Белый, Ин. Анненский), но и учеными из «просвещенного» лагеря (Венгеров, Н. Котляревский, Трубицын и др.). Однако, на ее место никто не предложил другой схемы, которая хотя бы в отдаленной степени могла претендовать на общезначимость и общепризнанность. Две работы, дающие несколько различные, но целостные и во многом убедительные, очерки идеологического и литературного развития Гоголя, по страннойironии судьбы оказались сейчас же по выходе скрыты от внимания читателей и даже исследователей. Замечательная статья В. В. Зеньковского — по объему целая книга — вышла в киевском журнале «Христианская Мысль» в 1916-17 гг. и совершенно исчезла из литературного оборота. Не менее замечательная небольшая книга В. Гиппиуса (автореферат большой книги, никогда не увидевшей света) вышла в 1924 г. и не получила распространения, — по непонятным причинам не дошла до сознания историков литературы и принадлежит и сейчас к редкостям; она почти не цитируется в гоголевской литературе, хотя Гиппиус жил и работал еще многие годы и приступил к изданию наново обработанного собрания сочинений Гоголя, которое так и осталось незаконченным, так как Гиппиус умер во время осады Ленинграда. Небольшая книга Мочульского — в отличие от его книг о Достоевском и Блоке — только набросок, в котором интересны лишь немногие места.

Я, конечно, не собираюсь дать в журнальной статье целостный и законченный образ Гоголя. Я хочу только поставить несколько проблем, касающихся идеологии и стиля Гоголя, проблем, которые обычно или ставятся совершенно неверно или оставляются без внимания.

## 3.

Если не все, то очень многие писатели и поэты «стилизуют» себя в своих литературных произведениях и даже в жизни. В эпоху романтики такая «самостилизация» была особенно распространена. Известны «демонические» байронисты, делавшие, несмотря на «демонизм», прекрасную чиновничью карьеру; известен «веселый студент» Языков, в действительности очень серьезно занимавшийся романтической поэзией и наукой; известен «ленивый» Дельвиг, оказавшийся прекрасным, старательным редактором журнала... Элемент «самостилизации» очень силен у Гоголя, мастера мистификации и «скрытой жизни». За «самостилизацией» Гоголя стояли отчасти очень серьезные идеологические мотивы.

Жизнь Гоголя полна загадок. Еще до появления «Вечеров» он совершил непонятную поездку в Германию, где провел только несколько недель, будто бы собираясь также в Америку. До сих пор не выяснено, был ли он позже в Испании и Португалии, о которых он рассказывал очаровательные анекдоты. На недели и месяцы он исчезает с горизонта и своих русских друзей и современных нам исследователей. Это для него тем легче, что ему ничего не стоит ставить на своих, писанных в Москве письмах, то «Триест», то «Вена»...

И о его прилежной и скрупулезной работе над рукописями мы также знаем, по существу, очень мало. В этом виноваты и те неоднократные «авто да фе», при которых погибали и наброски и готовые или почти готовые произведения (кроме второго тома «Мертвых Душ», драма из украинской истории) и та небрежность, с которой обращались с рукописями и сам автор и его наследники. Долго считали мистификацией различные сообщения Гоголя о своих исторических, этнографических и иных работах. И только в последние десятилетия выплывают из забвения такие огромные по объему рукописи, как собрание украинских и великорусских песен, содержащее около 1000 номеров, обнимающие сотни страниц выписки из исторической литературы, главным образом, французской, написанный для Смирновой путеводитель по Риму или объемистые заметки о сибирской флоре: Гоголь был ботаник-любитель.

Гоголь следовал предписанию стоиков: «живи, скрываясь» не из каких-либо моральных соображений. Он, действительно, живо ощущал свою жизнь, как «скрытую». Но то, что в его реальной жизни соответствовало этому ощущению, он «в порядке самостилизации» еще преувеличивал, обострял,

раздувал. Его «самостилизация» совершенно слилась с реальностью его жизни. Им были подысканы основания и аргументы в пользу стиля своей жизни. Но эти основания и аргументы постепенно вошли в самую глубину его личности. «Самостилизация» Гоголя стала таким образом его «второй природою». Основою этой самостилизации было ощущение себя, как «чуждого всем», как «странника» (его собственные выражения). Уже в школе он был «тайныенным» — и характеристики, которые дают ему в воспоминаниях его школьные товарищи и учителя, необычайно несходны, как будто бы речь идет о разных людях: между этими характеристиками нет почти ничего общего, кроме имени Гоголя. Так же переливаются всеми цветами радуги и воспоминания его современников, даже об одних и тех же эпизодах и моментах его жизни: одни помнят Гоголя, профессора на петербургской университетской кафедре, как плохого и беспомощного преподавателя, другие хвалят его лекции; одни знали его в Риме или Одессе мрачным и нелюдимым, другие — веселым и оживленным собеседником...

Но это касается личности Гоголя. Важнее то, что он остался «чужим человеком» и в русской литературе, несмотря на все свои связи и влияния. Он не научился даже хорошо русскому языку: указанных ему ошибок он намеренно не исправлял; впрочем, в украинских рассказах на постоянном переборе русских и украинских языковых элементов основано большинство его стилистических приемов; поэтому нелепы были бы попытки «исправить» Гоголя, даже только орфографически, и поэтому же так ослабляется впечатление от этих рассказов в украинских переводах, уничтожающих языковую «двуязычность». Но и в позднейших произведениях Гоголя, несвязанных с украинской тематикой, у него масса украинизмов и оборотов вообще не свойственных никакому языку: он постоянно пишет «ребенки» («ребенки кричат»), «котенки», «схватился со стула» (украинское «схопився зі стула»), употребляет несуществующее в русском языке ругательство «печник гадкий» (вероятно, украинское «пічкур», т. е. лежебока) и т. д. Украинский провинциал, он намеренно не входил в жизнь столиц, как его земляки и современники: Сомов, Гребенка, Кукольник... Пройдя, как «чуждый всем», по поверхности столичной жизни, он исчезает заграницей и подает оттуда голос произведениями, которых от него никто не ожидает: когда слухи оповещают о том, что он пишет «Дневник русского генерала заграницей», появляется первый том «Мертвых Душ»;

когда читатели с нетерпением ожидают появления второго тома, появляется «самая странная книга русской литературы» — «Выбранные места»... И в своих произведениях он скрывается за вымышленными рассказчиками, правда, подражая Вальтер Скотту и вообще романтической традиции: так в «Вечерах», «Миргороде», да и в «Шинели»...

«Закатившись» на Западе, он сейчас же пишет, что его петербургские годы представляются ему сном: «снега, департамент, подлецы... всё это мне только снилось»... Когда, оставляя университет, он заявляет: «неизвестный взошел я на кафедру и неизвестный схожу с неё», то это можно, пожалуй, считать попыткой оправдания своей педагогической неудачи. Но и после своего наибольшего литературного успеха, после появления первого тома «Мертвых Душ», он пишет из Рима: «все мне чужие и я всем чужой», — не в Риме, а в России, — и среди его читателей и почитателей. С этого времени в его частных письмах всё чаще и чаще повторяется тема «пилигримства», «странничества»: «мы все только странники и гости в этом мире», и уверения, что его главная жизненная задача теперь состоит в том, чтобы «облегчить свой путевой чемодан», — не только буквально, но и в переносном смысле.

Нельзя считать эти слова только выражением настроения, вызванного «религиозным кризисом», хотя слова о «странничестве» и вариация на тему св. Писания — I. послания Петра. Гоголь, действительно, с момента своего «бегства» из России живет, как странник, — он ездит вкривь и вкось по всей Европе, иногда мотивируя свои поездки лечением на курорте, что вряд ли можно принимать всерьёз. Как он пишет своим друзьям, он только во время поездок «чувствует себя здоровым»: действительно, случайно, проездом, задержавшись в 1840 году на несколько недель в Вене, он испытывает почти патологический прилив творческой энергии, — работает над «Мертвыми Душами», пишет сожженную потом драму, перерабатывает «Тараса Бульбу» и т. д.

Гоголь называет себя не только странником, но и «монахом»: он говорит о своем «внутреннем монастыре», он живет «как в монастыре», — места, в которых располагается его, так сказать, походный, передвижной монастырь, иногда несколько страны: например, Париж, в который обыкновенно ездили в поисках легких и не слишком моральных удовольствий... Странная неровность Гоголя: иногда он веселый и даже легкомысленный рассказчик, мистификатор, шутник, — но по большей части молчалив, замкнут, невнимателен к происходящему, не-

вежлив — эта неровность связана, конечно, с этим «самовосприятием» себя, как «монаха» в миру... Можно ли требовать от человека, который носит с собою свой монастырь, чтобы он уделял значительное внимание «миру и иже в нем»?

Не только в письмах Гоголя, но и в его произведениях можно найти немало страниц, посвященных теории «скрытой жизни». В письмах он поучителен, назидателен, навязчив... Но и среди украинских рассказов выделяются наличием дидактических элементов «Старосветские помещики», совершенно неправильно истолкованные Белинским, как сатира. В действительности, это идеологическая идиллия; Гоголь подчеркивает у своих «старосветских помещиков» личные положительные качества — мягкость, дружелюбие, гостеприимство — и особенно любовь, верную и в смерти. Этой тихой и незаметной любви противопоставлена в рассказе любовь романтическая и страстная — и... непрочная.

То противопоставление, которое в рассказе дано в плоскости личного переживания, очень часто, если не в продолжение всей жизни Гоголя, занимает его интерес и в плоскости философии истории и культуры. Уже незадолго до «бегства» за границу он набросал замечательное и знаменательное сравнение Петербурга и Москвы. Сквозь легкую иронию здесь просвечивает глубокая антитеза делового, официального, подвижного и правящего Петербурга старой полузабытой, неподвижной, тяжеловесной и идиллической Москве... В ранних письмах Гоголь не раз противопоставляет украинскую провинцию Великороссии, из которой он знал только Петербург: оба элемента этой антитезы носят ту же окраску, что и Москва и Петербург в упомянутой статье. Попав за границу, Гоголь «на ином материале» еще раз перекил ту же противоположность, по видимости умершего или уснувшего, но культурно ценного Рима и динамически-неспокойного, но, по его мнению, поверхностного и духовно пустого Парижа. Он пишет из Рима: «Мне кажется, как будто я заехал к старинным малороссийским помещикам», — конечно, он думает о своих старосветских помещиках. В 1842 г. появляется отрывок незаконченной повести «Рим»: здесь запущенный и полузабытый тогда культурным миром Рим становится выше города, который его современники считают центром духовной жизни Европы — Парижа. Продукты духовного творчества Парижа — книги символизируют здесь жуткие пауки-виньетки на их обложках... Сам Гоголь в частном письме

так характеризует задачу «Рима»: «показать значение нации отжившей, и отжившей прекрасно, относительно живущих наций»...

Сходные мотивы есть и в «Выбранных местах...» и во втором томе «Мертвых Душ». И очень вероятно, что в этом втором томе жизненным идеалом должно было явиться «странничество» разорившегося Хлобуева, которого Муразов отправляет собирать деньги на построение храма, или счастье сосланного в Сибирь Тентетникова, за которым туда следует Улиньяка. Это жизнь и счастье одиноких и гонимых, «странников» и изгнанников.

В «самостилизации» Гоголя один из основных мотивов, именно, одиночество. Одиночество отшельника. Что он чувствовал себя одиноким, иностранцем, «всем чужим» за границей, даже в Риме, где, как ему иногда казалось, он нашел свою истинную родину, в этом мало удивительного. Но такое же одиночество он переживал и в России. Несмотря на его личные и литературные связи, он не примкнул ни к одному из духовных течений, с которыми была тогда связана вся русская культурная жизнь: он не стал ни западником, ни славянофилом, ни политическим радикалом, ни украинофилом, одним словом, остался и идеологически «всем чужим», даже своим ближайшим друзьям и почитателям. Его отношение к России отличается типичной для романтиков «амбивалентностью». Он пишет в «Мертвых душах» и в «Выбранных местах...» известные патетически-энтузиастические строки о России, но он же может сказать в частном письме: «Не житье на Руси людям прекрасным, одни только свиньи там живущи (*sic!*)».

В чем основа этого духовного одиночества? Мне представляется невозможным объяснить это одиночество тем, что Гоголь приходит к русской и европейской культурной жизни из иного «культурного пространства», из украинской провинции. Ведь входили органически в ту же жизнь и земляки Гоголя, начиная с Богоявленского и Капниста, и даже вовсе иностранцы, как Булгарин и Сенкевичский (нас здесь не интересует, какую — положительную или отрицательную — роль они играли в этой инородной для них сфере). Причина изолированного положения Гоголя в другом: он не только человек иного культурного пространства, но и человек иного времени, иной культурной эпохи. Гоголь входит как эпигон «александровской эпохи» в культурную сферу, в которой зачинаются славянофильство и западничество, «официальная народность» и политический и социальный радикализм, зарождается «украинофильство» (лич-

ные друзья Гоголя Максимович и Бодянский) и новая украинская литература (те же друзья Гоголя, а рядом с ними харьковские романтики, Гребенка, Шевченко и др.). Именно поэтому он, с одной стороны, «отстал» от своего времени, с другой, «опередил» его. В «отсталости» Гоголя отчасти и причина его идеологических «пророчеств», предвосхищения им идей Достоевского, эстетики символизма, некоторых религиозных мотивов, появляющихся снова только у современных русских религиозных философов. Мировоззрение и религиозность, эстетические воззрения и вкусы очень часто колеблются от поколения к поколению между двумя полюсами: поколение духовных «внуков» нередко возвращается к идеологии «дедов». Нередко отталкивание «детей» от «отцов» означает в то же время приближение их к «дедам». Так обстояло дело и с Гоголем. Он оказался во многом единомышленником и союзником последующих поколений именно потому, что духовно принадлежал к поколению своих отцов.

## 4.

Произведения Гоголя нельзя рассматривать, как или веселые сказки, или «сатиры» на современную ему русскую жизнь. Гоголь постоянно стремился быть «идеологом», глашатаем каких-либо идей, — и полному пониманию идеологии (или идеологий), выраженной в его произведениях, мешает, а не помогает, его литераторный талант.

В начале своего писательского пути он печатает «Ганса Кюхельгартена», поэму, в которой совершенно явственно слышны элементы романтической проповеди. Идеологические мотивы в ранних произведениях Гоголя замечены немногими (Зеньковским, Гиппиусом). Только в «Петербургских рассказах» («Арабески»), а особенно в «Мертвых душах» идеологические мотивы высказаны открыто и прямо, особенно в «лирических отступлениях». В «Арабесках» Гоголь присоединяет к рассказам ряд научно-публицистических статей; органический характер этого соединения литературы и публицистики почти не замечен исследователями. Правда, именно в этих попытках уяснения своей идеологии Гоголю часто изменяет его творческая сила.

Изменила она ему и в известных трех «эпilogах» к «Ревизору», — как можно назвать «Разъезд после представления ‘Ревизора’», «Развязку Ревизора» и «Дополнение к развязке...». Здесь он пытается дать идеологическое истолкование своей ко-

меди. «Ревизор» оказывается символическим произведением (как драмы Кальдерона). Город «Ревизора» — «духовный город» — символ души человека, бесчестные чиновники — страсти человека, ревизор — смерть, изрекающая последний суд над человеком. Это истолкование пьесы обычно отвергается, как попытка ex post facto насилиственно интерпретировать произведение, написанное с совершенно иными намерениями и заданиями. Между тем это истолкование уже потому представляется вероятным, что мы знаем, какого морального действия Гоголь ожидал от своей комедии, — неужели же возрождение России должно было состоять только в том, что чиновники перестанут брать взятки? Самый образ души, как «города» или «замка» — старый традиционный образ христианской литературы (Иоанн Златоуст), в которой Гоголь был начитан.

Как только вышел первый том «Мертвых душ», Гоголь в письмах объявляет своим друзьям, что содержание «поэмы» — тайна, что первый том — только крыльцо дворца, дворца, о котором он пока ничего не сообщает. Об этом Гоголь говорит и в печатном тексте «Мертвых душ». Из намеков в письмах Гоголя и из рассказов тех, кто слышал в чтении Гоголя второй том, и из остатков рукописи второго тома совершенно ясно, что он считал задачей своего произведения вовсе не «разоблачение» «русских порядков», т. е. не сатиру, а изображение духовного возрождения некоторых из своих героев.

Я не буду останавливаться на истолковании «Шинели», так как этой теме я посвятил особую статью («Современные Записки», том 67, 1938 г.)\*. Здесь я хочу только напомнить, что в «Шинели» и в «Мертвых душах» Гоголем развита теория страстей («задоров»), при помощи которых зло («чорт») овладевает душёю человека.

Надо, однако, признать, что при чтении произведений Гоголя читатель часто не замечает «идеологической программы» этих произведений, так же, как для слушающего «программную музыку» по большей части оказывается скрыта за «прекрасными звуками» «программа», которую хотели выразить в этих звуках композиторы. В программных композициях, собственно говоря, можно, бывает, узнать только голоса птиц (да и то, по правде сказать, одной только кукушки), — единственная «про-

---

\* К сожалению, просвещенная редакция этого почтенного журнала, очевидно, не веря в чертей, без моего согласия вычеркнула из статьи почти все места, в которых говорилось о чертях — не моих, а гоголевских!

грамма», удающаяся всем без исключения композиторам). Из идеологических «программ» Гоголя обычно воспринимают не больше, чем весьма примитивную мораль, остальное же ускользает от внимания, занятого всеми композиционными тонкостями гоголевской прозы...

## 5

Духовный тип Гоголя, пожалуй, ярче всего характеризуют те неоднократные «авто да фе» («акты веры»), жертвой которых становились его произведения и наброски. Эти «всесожжения» характеризуют и внимание и требовательность Гоголя к формальной стороне своих произведений, и его восторженное, энтузиастическое отношение к их идеологическому содержанию, связанное в то же время с некоторой неустойчивостью, шаткостью идеологии, со склонностью к дальнейшим поискам и переменам. И то и другое основание приводят в своих письмах сам Гоголь. Именно это соединение энтузиазма с неустойчивостью характерно для духовного облика людей «alexandровской эпохи».

Именно эти черты Гоголя делали и делают его идеологию так трудно уловимой для современников и позднейших исследователей. Невыясненность многих эпизодов духовного развития Гоголя объясняется, однако, и странным невниманием исследователей к целому ряду существенных моментов его духовной биографии. На нескольких из таких эпизодов мне хотелось бы остановиться.

Основная проблема духовной биографии Гоголя обычно формулируется так: как это возможно, что писатель, который с 1831 г. («Иван Федорович Шпонька») до 1842 г. изображал Россию, как мир «чудовищ», в 1847 г. в «Выбранных местах...» и в те же годы в своей частной переписке не только ожидал быстрого «просветления», «преображения» этого мира чудовищ, но как будто даже объявлял этот мир — Россию — почти что идеальным.

Ответы давались различные: одни полагали, что «Выбранные места...» и переписка — просто симптом душевной болезни, другие (немногие), что Гоголь изображал «мир чудовищ» с определенным намерением, а «втайне» всегда стоял на точке зрения «реакционных» писем и «Выбранных мест...», наконец, третьи просто полагали, что для духовной жизни романика нет законов и что логика для него не обязательна.

Первый ответ наверное ошибочен; второй — не удовле-

творяет, так как он всё-таки видит в развитии Гоголя разрывы и «скачки» и их не объясняет; третий — просто уклонение от ответа.

Надо наново поставить вопрос о «религиозном кризисе» или «религиозном развитии» Гоголя. До сих пор без достаточных, или, лучше сказать, без всяких оснований сомневаются в свидетельствах самого Гоголя, что никакого религиозного кризиса он не переживал: «С двенадцати, может быть, лет я иду тою же дорогою, что и теперь, никогда не сомневаясь в основных мыслях...». «Дело у меня то же, какое и было всегда и какое замышлял еще в юности, хотя не говорил о том», — пишет Гоголь в 1847 г. Можно было бы считать такие свидетельства Гоголя, начинающиеся с 1844 г., «самостилизацией», если бы у нас не было ранних писем Гоголя, в которых он уже юношей 15 лет высказывает — пусть неясное! — религиозное волнение и возбуждение и говорит об утопических планах... Дальнейшее звено дает нам его юношеская поэма «Ганс Кюхельгартен», которая поэтически слаба, но полна элементами романтического утопизма. Ярки некоторые идеологические, и, в частности, религиозные мотивы в ранних повестях «Вечеров» (Гиппиус).

Совершенно ясно выступает религиозный утопизм Гоголя в сборниках 1834 г. Очень характерна повесть «Портрет». История оживющегося портрета, соблазняющего художника, известна всем и имеет ряд параллелей. Своеобразна, однако, вторая часть повести, в которой Гоголь набрасывает историю таинственного портрета: это изображение антихриста в одном из его ранних «предварительных» воплощений, стремящегося в реалистическом портрете удержать свое бытие в этом мире. Художник, написавший портрет, ставший позже монахом, визионером и мистиком, начинает свой рассказ словами: «Скоро, скоро придет время, когда соблазнитель рода человеческого, антихрист народится в мир...». При переработке повести в 1840 г. Гоголь исключил это место и переделал дальнейшие рассуждения об антихристе. Почему? Обычно этот вопрос обходят молчанием, или если дают на него ответ, то ответ, поражающий своею странностью: причиной является развитие Гоголя в направлении к «реализму». Но ведь именно в это время, по мнению тех же истолкователей, начинается «религиозный кризис» Гоголя! Никто не поставил себе вопроса, не было ли в 1834 г. людей, ожидавших близкого пришествия антихриста и конца мира. Оказывается, они были — и были в России. Еще в начале 18-го века швабский мистик Бенгель вы-

числил на основании своей своеобразной теории истолкования Апокалипсиса, что конец мира близок — и наступит в 1837 г. Именно с этим предсказанием связано было выселение групп швабских пietистов в Россию, на Кавказ и на Украину. В конце 18 в. пророчество Бенгеля было принято никем иным, как врачом, профессором экономики, мистиком и духовидцем Г. Юнгом-Штиллингом (1740-1817), сочинения которого были популяризированы в России вторым поколением русских масонов (после 1800 года). После наполеоновских войн под влияние Юнга-Штиллинга подпал сам имп. Александр I: известная баронесса Крюденер вовсе не была романтическим увлечением императора (такое впечатление остается, впрочем, только у любителей популярной исторической литературы, не сообщающей о «Крюденерше» ближайших сведений), а посредницей в знакомстве императора с идеями Юнга-Штиллинга и со Штиллингом лично. Самая идея «Священного Союза» была связана в сознании Александра I с мыслью о необходимости сплочения христианских сил мира перед его близким концом. Это прекрасно показано в интересной немецкой работе о «Священном Союзе» Гильдегард Шедер. Особенное значение имело в глазах Александра I, да и других русских поклонников Юнга-Штиллинга, то обстоятельство, что пророчества духовидца связывали конец мира с Ближним Востоком, со Средней Азией, где должен будто бы был состояться последний бой христиан с силами антихриста. По приказанию Александра, сторонники Юнга-Штиллинга (или скорее Бенгеля) были отысканы и в пределах Российской Империи, — это были два священника из м. Балта Херсонской губернии, Левицкий и Лесевич. Оба были вызваны в Петербург и до падения министерства Голицына и разрыва Александра с мистиками проповедывали при дворе. После падения мистического направления, оба вернулись в Балту. От Левицкого остались воспоминания, напечатанные в 1880 г. Разочаровался ли Александр в самом пророчестве, неизвестно...

Время с 1815-19 г. было использовано сторонниками Юнга-Штиллинга для издания ряда его сочинений по-русски, правда, с некоторыми цензурными сокращениями. Самого мистика его русские поклонники называли на «эзоповском языке» «Угроз Световостоков». Старые читатели и поклонники Юнга-Штиллинга были, конечно, еще живы в 30-х годах.... Мне представляется единственным возможным объяснением странных слов Гоголя об антихристе в первом издании «Портрета» именно его знакомство с предсказанием Юнга-Штиллин-

ia, в частности, с его апокалиптическим романом «Победная песнь». Что Юнг-Штиллинг еще и гораздо позже мог увлекать читателей и читателей незаурядного масштаба, показывают «Три разговора» Владимира Соловьева, не говоря уже о весьма вероятном влиянии Штиллинга на Шеллинга (ср. об этом статью Э. Бенца).

Нельзя с уверенностью утверждать, что Гоголь верил в предсказание Юнга-Штиллинга. Возможно, что он только использовал его с литературными целями. Но во всяком случае он позже при переделке рассказа не хотел сохранить даже воспоминания о нем. Не исключено, что с эсхатологическими чаяниями Гоголя связаны и его ожидания, что «Ревизор» — за год до конца мира! — будет иметь какое-то особое влияние на судьбы России — и его бегство в Рим, когда эти ожидания не исполнились. А через четыре года он устраивает и намеки на Юнга-Штиллинга, вычеркнув из «Портрета» слова об антихристе, имеющем вскоре народиться.

Что Гоголь знал сочинения Юнга-Штиллинга, указал мой ученик по Марбургскому университету, доцент Л. Мюллер, обративший внимание на то, что самое содержание рассказа «Портрет» напоминает один эпизод из воспоминаний Юнга-Штиллинга, содержащий сходную с историей портрета у Гоголя историю портрета одного «великого преступника», — остается, однако, подождать, пока работа Л. Мюllера будет напечатана.

Мое объяснение содержания рассказа «Портрет» несколько гипотетично: если оно правильно, оно указывает и на склонность Гоголя к религиозному возбуждению и фантазированию, к религиозному «мечтательству», и на неустойчивость его взглядов. Гораздо убедительнее с этой точки зрения другой загадочный эпизод из духовной биографии Гоголя, относящийся к 1838 г. От этого времени сохранился ряд писем из Рима двух польских иезуитов, П. Семененка и Яньского, членов ордена ресурекционистов (*«Zmartwychwstaćsów»*), в которых авторы писем сообщают о своих встречах и разговорах с Гоголем, о своей надежде привлечь его в лоно католической церкви и о дальнейших видах, которые они на него имеют. После того, как на эти письма обратил внимание (в «Вестнике Европы» 1904 г.) А. Кочубинский, никто из биографов Гоголя не дал им удовлетворительного объяснения. Только Вересаев, перепечатав в книге «Гоголь в жизни» ряд отрывков из этих писем, сопроводил их вряд ли убедительным замечанием, что Гоголь просто обманывал иезуитских пате-

ров — и обманывал с тем, чтобы понравиться кн. Зинаиде Волконской! Оба польских иезуита ссылаются, между прочим, и на встречи и беседы Гоголя с Мицкевичем: Гоголь, действительно, встречался в Париже с польским поэтом и мистиком и как будто бы даже оставался в Париже подольше, чтобы продлить возможность этих встреч. Не буду здесь останавливаться еще на вопросе об отношениях Гоголя с польским поэтом Богданом Залесским.

Если отвергать всякую реальную основу писем Семененка и Яньского, если считать их следствием искусной мистификации Гоголя, то всё же останутся некоторые необъяснимые факты его биографии, относящиеся к тому же времени. Гоголь именно в эти годы ощущал Рим как свою истинную, им только теперь найденную родину; именно в эти годы Петербург представлялся ему только тяжелым сном: «снега, департамент, подлецы», вот всё, что осталось у него в памяти от этого сна... Это увлечение Римом можно легко объяснить эстетически и климатически, — Гоголь ненавидел холод... Но, конечно, речь может идти только о религиозных мотивах, когда в то же время Гоголь пишет, что «только в Риме можно молиться». Кроме того, он в одном из своих писем того же времени к матери опровергает слух о том, что он хочет перейти в католичество. Конечно, слухи могут возникать и без всяких оснований. Но письмо Гоголя содержит странное утверждение, что переход в католицизм даже и ненужен (!), так как между христианскими исповеданиями нет, по существу, никакого различия. Это звучит прямо, как цитата из письма «александровской эпохи».

1838 г., пожалуй, самый темный, неизвестный в жизни Гоголя. Мне представляется, что почти невозможно сомневаться в том, что склонный к религиозным увлечениям Гоголь мог искать по крайней мере ответов на свои религиозные запросы у польских «*patres*». Недаром он позже утверждал, что в своих религиозных исканиях он не сомневался только «в основных мыслях».

Во всяком случае, Гоголь в Риме занимался отнюдь не только изящной литературой. Он усиленно читал богословские произведения — и, как видно, еще до начала «религиозного кризиса», даже если считать началом уже 1842 год. Для характера работы русских историков литературы показательно, что вопрос о степени знакомства Гоголя с богословской литературой не выяснен только потому, что этим вопросом никто не заинтересовался в достаточной степени. Даже профессора Духовных Академий! В Киевской Духовной Ака-

демии находилась рукопись Гоголя, содержащая выписки из отцов церкви и религиозных писателей. Об этой рукописи дал только краткие сведения известный историк украинской литературы Н. Петров. Рукопись содержала выписки из 17 отцов церкви (между прочим: Тертулиана, Афанасия, Ефрема Сириня, Василия Великого, Григория Нисского, Кирилла Александрийского, Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина и др.) и из десяти дальнейших, по преимуществу старых украинских, богословских писателей 17-18 в. Так как рукопись не описана достаточно детально, то возможны только гадания о влияниях этой литературы на Гоголя. Надо заметить, что Гоголь в последние годы жизни читал по-латыни (хорошой предпосылкой для этого служило знание итальянского языка) и усиленно занимался греческим.

Как бы то ни было, несомненно, Гоголь прекрасно знал одно из классических произведений католической назидательной литературы — «Подражание Христу», приписываемое Фоме Кемпийскому. Эта книга, вышедшая на различных языках в более, чем тысяче изданий, была переведена на церковнославяно-русский язык в половине 17 в., печаталась по-русски в 18 в., в начале 19 в. ее перевел Сперанский, а во второй половине 19 в. Победоносцев. Кроме полных изданий, были и два русских собрания афоризмов из этой книги. Оба эти собрания «александровской эпохи» (Москва. 1818 и СПБ. 1819). Гоголь в своих письмах только один раз прямо цитирует «Подражание Христу», но об его отношении к этой книге свидетельствует прежде всего тот факт, что к новому, 1844 году он разоспал несколько экземпляров этой книги, к сожалению, неизвестно, какого издания, своим друзьям с просьбой читать ее ежедневно по утрам и после чтения заниматься размышлениями о прочитанном... Книга не была для всех друзей Гоголя новостью: о М. Погодине знаем, что он читал «Подражание Христу» еще в 1822 г.; но особенно возмутился советом Гоголя старый Аксаков, как истый сын 18 в., державшийся «бытового православия», но внутренне равнодушный к религиозным вопросам. Аксаков читал «Подражание Христу» уже в начале века, — вероятно, в тот же период религиозного энтузиазмаalexандровской эпохи. В увлечении Гоголя «Подражанием Христу» Аксаков увидел какой-то «опасный поворот»...

Гоголь только один раз прямо цитирует «Подражание Христу», т. е. называет его, но если внимательно читать его частную переписку, его письма назидательного типа, те, которые презрительно называли «письмами Гоголя к калужской

губернаторше», то можно заметить, что именно здесь — источник очень многих его «назиданий». Что на это не обратили внимания исследователи — весьма характерно для состояния русской истории литературы. Если даже считать, что в «Подражании Христу» очень много мыслей, которые восходят к старой христианской традиции и которые Гоголь поэто-му мог заимствовать и из других произведений, в частности из святоотеческой литературы, то всё же несомненно, что Гоголь хотя бы часть своих поучений и сентенций вычитал у Фомы Кемпийского. Если уже упомянутая сентенция: «жизнь есть странствование» восходит к Новому Завету, то примыкающая к ней у Гоголя: «мы здесь — только гости» подробно развита в «Подражании Христу»; сюда же восходит, вероятно, значительная часть рассуждений о положительном значении страданий и болезней, а, особенно, о пользе для человека получае-мых им «пощечин». Отзвуки «Подражания Христу» можно встретить и во второй части «Мертвых душ» — упомяну только один из вариантов рассказа Чичикова «Полюбите нас чер-ненькими», — этот рассказ о нечистоплотной проделке рус-ских чиновников приводит самого Чичикова в восторг, вызы-вает у ген. Бетрищева некоторое удовольствие — «ловкая проделка», у Улины — возмущение; Гоголь продолжает: «но не было там четвертого, который пожалел бы падших братьев...», — это, конечно, вариация на тему «Подражания Хри-сту» о сострадании к грешникам.

Увлечение Гоголя «Подражанием Христу» отнюдь не сле-дует считать тождественным с его увлечением католицизмом или даже только с интересом к католицизму. Несмотря на все содержащиеся в этой книге католические элементы, она может с полным правом считаться продуктом надконфессиональной мистики. «Подражание Христу» влияло не только в католи-ческом мире. Протестанты не раз издавали его, обычно слегка обрабатывая текст: так поступил уже И. Арндт в 16 в.; с очень незначительными изменениями издал «Подражание Христу» близкий к мистикам вокруг Александра I в 1815-9 гг. пастор Госснер...

Частным письмам Гоголя и даже «Выбранным местам...», напечатанным им, как литературное произведение, работы о Гоголе последних десятилетий посвящают очень мало места или вовсе их игнорируют. Это тем более странно, что почти половина «Выбранных мест...» посвящена литературным во-просам. Но письма морального и религиозного содержания вы-зывают всеобщее возмущение, — даже у тех, кто их не читал:

я припоминаю, как лет 15 тому назад лауреат каких-то премий, молодой историк литературы и философ с советской Украины, рецензируя работу одного моего ученика, обнаружил полное незнание того, что, кроме «Выбранных мест», нам известны еще и в большом количестве (4 тома!) частные письма Гоголя. Впрочем, тот же рецензент — уже вне сферы своей «специальности» — смешивал и пантеру с леопардом...

Конечно, в «Выбранных местах» можно найти достаточно мест, подающих повод к такому возмущению: в них есть и признание крепостного права, как существующего учреждения, в них есть и высокая оценка русского самодержавия, и многое другое. Но это не дает исследователям Гоголя права не замечать и не отмечать того, что в «Выбранных местах» он пытается бороться иным, публицистическим, оружием против тех же явлений русской жизни, против которых он боролся эстетическим оружием в своих рассказах и романе, против явлений, которые он сам заклеймил именем «пошлости». Конечно, публицистическое оружие Гоголя оказалось гораздо менее действенным, чем эстетическое, оказалось тупым. Но нельзя из-за этого проходить мимо ряда мыслей, высказанных им в его переписке, мыслей, которые позже создали бессмертную славу Достоевскому, как мыслителю. Назову только главнейшие из них: «нет в мире виноватых», идея «оцерковления» всей жизни, мысль о том, что безрелигиозная культура неизбежно осуждена на упадок и разложение, наконец — и тогда уже вовсе не новая — мысль о взаимной близости эстетических и этических ценностей и т. д. (об этом писал в цитировавшейся русской и в немецких статьях Зеньковский).

Следует, однако, обратить внимание на те мысли Гоголя, которые вызывали особое возмущение его современников и приводят в неистовство наших современников, хотя последние могли бы уже стать на историческую точку зрения: это сближение и слияние проблем религиозных и экономических. «Исполняя то, что повелел нам Бог», хозяин тем самым обеспечивает свое благосостояние. Гоголь с сочувствием приводит будто бы распространенную среди крестьян мысль, что «богатый хозяин и хороший человек — синонимы». «В которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро» (не совсем подходящая цитата из «подблудной песни», процитированной Пушкиным в «Евгении Онегине»). По мнению Гоголя, каждому человеку дано Богом «свое место» в мире (позже и это повторено Достоевским), он призван Богом к определенной работе и состоит, как будто

бы «на службе Бога», которого Гоголь называет то «Небесный Хозяин», то «Небесный Полководец». Каждый человек может стать служащим, подручным «Небесного Хозяина», «управителем»: «Богатые, прежде всего вспомните, что вы владеете страшным даром... Вам даны, вы не имеете права отказаться (*sic!*). Вы должны помнить, что Вы только управители у Бога» (из набросков Гоголя, изд. Тихонравова-Шенрока, том 6, 525). И как «управитель», человек «богатый» или «начальник» ответствен не только за материальное, но и за «душевное хозяйство» (термин святоотеческий!) своих подчиненных. Труд «на своем месте» Гоголь считает морально-религиозной обязанностью каждого: поэтому и «управитель» должен требовать от своих подчиненных максимального-интенсивного труда на службе Божией... И только верующий христианин может иметь при исполнении данной ему от Бога хозяйственной задачи полный успех: вера является гарантией благосостояния! Это и привело Гоголя к той апологии и проповеди «эксплоатации», которая так возмутила критиков его «Переписки».

Скажу наперед, что мне кажется, что Гоголь сам осто ятель но додумался до своих взглядов в этом вопросе. Но указание некоторых параллелей к его «Выбранным местам» покажет нам, что вряд ли его строгие критики были правы, объявляя его книгу «странный» и единственной в своем роде. Прежде всего, уже кое-кто из украинских и русских современников Гоголя высказывал — отчасти в печати — сходные мысли. Позднейший первый биограф Гоголя, П. Кулиш (1819-97) за несколько лет до «Выбранных мест» выпустил странную «Справочную книжку для помещиков Черниговской губернии», которая была проникнута сходным пафосом религиозно-освященного и морально-санкционированного хозяйствования. Еще ярче эти мотивы звучат в небольших по объему и написанных по-украински «Листах до любезных земляків» (1839) старшего современника Гоголя, замечательного украинского прозаика Г. Ф. Квитки-Основьяненка (1778-1843), в прозе отчасти подражавшего Гоголю: здесь и крепостной труд и русская монархия находят морально-религиозное оправдание. Квитка так же духовный выученик немецкого пietизма, как и В. А. Жуковский; на опубликованные только много лет по смерти последнего «Отрывки» (писаны в 1840-46 гг.) до сих пор не обращено достаточного внимания; между тем в них встречаем разительные параллели к «Выбранным местам...» Гоголя. Не забудем, что в эти годы Жуковский был уже интимным другом Гоголя.

## НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОГОЛЬ

Квитка и Жуковский ведут нас к западному протестантизму, в котором найдем самые поразительные параллели к «хозяйственному мировоззрению» «Выбраных мест». Я не искал бы, как С. Шамбинаго, в заслуживающей внимания книге о Гоголе «Трилогия романтизма» (Москва, 1911), параллелей в книге Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». Книга итальянского патриота вышла, как известно, в 1836 г. в русском переводе и вызвала сочувственный отзыв Пушкина. Гоголь мог читать эту книгу и по-итальянски. Но и Шамбинаго, посвятивший книге Пеллико главу своей работы, не может найти другого сходства с «Выбранными местами», чем только в тематике... Гораздо более яркие параллели дает Германия и англо-саксонский мир. Правда, соприкосновение с этими культурными сферами было для Гоголя возможно только через чужое (французское, русское, итальянское) посредство; мы пока не можем сказать ничего определенного о том, мог ли Гоголь путем переводов на знакомые ему языки или из журнальных статей что-нибудь узнать о своих «духовных родственниках» в Германии, Англии и Америке. Отчасти посредником в ознакомлении с этими писателями мог быть Жуковский.

Во всяком случае ряд очень ярких параллелей дают замечательные «Патриотические фантазии» (1765-75) Юстуса Мёзера (1720-94), где мы находим совершенно то же моральное и только в слабой степени религиозное оправдание «эксплатации» крепостных, требование старания и прилежания в работе от подчиненных и усиленного надзора за этой работой со стороны помещиков и начальников, высших чиновников. Отдельные советы могут показаться такими же неприемлемыми и «возмутительными», как и советы Гоголя: Мёзер советует и пораньше будить слуг, и не оставлять им слишком много свободного времени, и бранить, и наказывать их... Правда, Юстус Мёзер писал за 70 лет до Гоголя. Но культурная и экономическая дистанция между Россией и Украиной 1830 г. (время, к которому относятся последние реальные впечатления Гоголя от жизни деревни) и Вестфалией и Оsnабрюком 1770 г. не такого уж «огромного размера»; их хронологическое расстояние нужно сократить на несколько десятилетий, если мы хотим произвести их социологическое сравнение... Во всяком случае, крепостническая и политическая идеология Мёзера может рассматриваться, как близкая ляраллель к взглядам Гоголя в 1847 г. и к взглядам Квитки и Кулиша... Эта идеология мелкого помещика и чиновника, конечно, не могла найти сочувствия у русских читателей и критиков: русская интеллигенция вооб-

ще с некоторым пренебрежением и даже презрением относились к хозяйственным проблемам, что позже приводило в такое отчаяние П. Б. Струве. Как раз в 40-х годах 19-го века к голосу помещичьей интеллигенции присоединились голоса «разночинцев» (Белинский), осуждавших увлечение хозяйственными задачами уже с совершенно иной точки зрения.

«Отрывки» Жуковского уводят нас в другую сторону — к параллелям из англо-саксонского мира. М. б. излишне здесь напоминать о Б. Франклине, хотя дневник его и содержит то же сближение моральных и хозяйственных «добродетелей», но религиозные мотивы у него слабы. Впрочем, процитируем хотя бы один отрывок: «Вспомним, что время — деньги. Кто ежедневно может приобрести 5 шиллингов, но идет гулять на полдня или ленится в своей комнате, тот должен считать — даже если он тратит на свои удовольствия только 6 пенсов — что не только эти деньги, но и 5 шиллингов он истратил или, лучше сказать, выбросил... Кто уничтожает пять шиллингов, тот убивает всё то, что при их помощи могло бы быть произведено — целые ряды (горы) фунтов стерлингов»... Гораздо ярче такое мировоззрение, при том, главным образом, религиозно обоснованное, мы встречаем у пуритан и пietистов: Бекстера, Весли, Шпенера. И для них, как для Гоголя, профессия — Божие призвание (так, впрочем, уже и в «Аugsбургском вероисповедании» Лютера); поэтому профессию менять — грех. И надо в своей профессии работать с максимальным возможным успехом, который для кальвинистов (и вообще принимающих учение о «предопределении» вероисповеданий) является симптомом или даже гарантией «избранности». «Если Бог показывает одному из «своих» путь к заработку, то у Него (Бога) наверное есть при этом какая-то цель». Бекстер пишет: «Если Бог указывает вам путь, на котором вы — без вреда для своей души и для других — законным образом можете приобрести большие и вы всё-таки следуйте по пути, приносящему меньше, то вы противитесь целям вашего призыва (calling), вы отказываетесь быть Его управляющим (stewart) и принять Его дары, которые вы могли бы применить для Него... Не для плотских наслаждений и грехов, но для Бога вы должны работать, чтобы стать богатыми». Джон Весли говорит о том же: «Религия необходимо повышает работоспособность (industry) и бережливость (frugality), а они не могут произвести ничего иного, как богатство... Мы должны побуждать всех христиан приобретать, что они могут, и сберегать, что для них возможно, т. е. в результате: быть богатыми».

Можно было бы привести еще ряд таких же примеров из литературы протестантских сект: квакеров, методистов, баптистов, гернгутеров-цинцендорфинцев, моравских братьев, — у Коменского о том же говорится в его “*Praxis Pietatis*”, составленной по Бейи. Но уже и приведенных примеров достаточно, чтобы видеть, что мотивы «Выбранных мест» не стоят одиноко в истории религиозной литературы и во всяком случае не являются в ней каким-то исключением. Не исключение даже его советы рациональной организации домашнего хозяйства: совет делить все деньги «на семь куч» и «обрезывать себя в расходах по каждой куче», чтобы оставлять деньги на милостыню, идеал «жены-хозяйки», служба чиновника «не так, как бы он служил в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже сам Христос». (Обратим внимание на то, что Гоголь здесь говорит о современной ему России, как о «прежней России»!). Всё это находит себе параллели в старой и новой литературе тех протестантских течений, которые ставили себе задачей постоянную, непрерывную «реформацию» не только церкви, но и всей жизни (напр., Коменский с его “*Haggaeus redivivus*”). Полную ясность в вопросе об источниках мыслей Гоголя, если и поскольку он здесь не вполне самостоятелен, может дать только детальное исследование, без которого он и дальше будет оставаться «неизвестным писателем».

Я намеренно не останавливался еще на ряде пунктов идеологии Гоголя, напр., на его политических воззрениях, во многом напоминающих «реакционного романтика», Адама Мицлера. Но для меня было существенно не только найти духовных родственников Гоголя, но и показать его склонность увлекаться различными течениями и идеями — и затем покидать их. Мы с полной определенностью можем сказать, что и увлечение Гоголя Юнгом-Штиллингом, о чем мы можем говорить с известной степенью вероятности, и его симпатии к католицизму, о которых мы знаем более определенно, во всяком случае носили преходящий, временный характер. Очень возможно, что с течением времени и увлечение Гоголя «Подражанием Христу» ослабело (цитированное место из второго тома «Мертвых душ» принадлежит одной из первых, случайно сохранившихся редакций), наконец, Гоголь сам, под влиянием нападок на «Выбранные места» и врагов и друзей, как будто охладел к высказанным там воззрениям, по крайней мере склонен был признать форму, в которой они там высказаны, «незрелой»... Эта «неустойчивость», шаткость, может считаться и положи-

тельной чертой интеллектуального характера Гоголя. Но как бы то ни было, она несомненно также сближает его с поколением его «отцов», с людьми «александровской эпохи».

## 6.

Нельзя в заключение не остановиться и на формальной стороне произведений Гоголя. Как я уже упоминал, именно эта формальная сторона, композиция и «инструментовка» гоголевской прозы по большей части даже закрывает от читателей идеологическую сторону произведений Гоголя, их идейные «программы».

Как сложна формальная сторона произведений Гоголя, легко видеть, попытавшись адекватно перевести на любой язык хотя бы несколько строк любого его произведения. Уже несравненная ритмика его прозы (напр., в этом отношении особенно интересной «Страшной мести») очень показательна. Тайна этой ритмики до сих пор не разгадана, в законах ее построения есть какое-то сродство с законами средневековой латинской прозы (клаузулы и т. д.). Но не эта тема будет нас здесь занимать.

Гоголь советовал другим писателям — и сам следовал этому совету — переписывать свои произведения по многу раз, исправляя каждый список потом с течением времени слово за словом, пока в рукописи не останется свободного места: «я переписываю восемь раз». Как Гоголь работал над своими текстами, показывают сохранившиеся в разных редакциях его произведения... Естественно, что при этом возникал его «тяжелоукрашенный», говоря терминами средневековой поэтики, стиль. Можно сказать, что язык Гоголя перегружен стилистическими украшениями. При переработках он заботился не об «облегчении» бремени украшений, а о его обогащении без меры. Он — по удачному сравнению Шевырева — поступал, как щедрый хозяин, не жалеющий начинки для пирога. Гоголь не только не жалел «начинки», но и переполнял ее пряностями. В этом смысле он — антипод Пушкина и ближе всего к традициям украинского литературного барокко, — тема, на которую не раз указывали (Гиппиус, Бем), но которую никто не обработал.

Именно эта переобремененность стиля Гоголя украшениями заставляет остановиться еще на одном вопросе, по которому обычно и в наши дни высказываются мнения, заставляющие признать Гоголя и как стилиста «неизвестным» писателем. Это — определение стиля Гоголя, как «реалистическо-

го». В Советской России «реализм» Гоголя считается не подлежащим сомнению фактом. Гоголь — основатель русского «реализма», а «социалистический реализм» принадлежит к священным устоям советской литературы. Иностранные авторы, следя русским, часто считают «реализм» Гоголя фактом, в котором невозможно усомниться (по немецкому выражению “*reif für Lehrbuch*”). Конечно, Гоголь оказал огромное влияние на позднейший русский реализм. Но утверждение, что он сам был «реалистом», требует проверки.

Обычно ограничиваются определением реализма, как верности действительности. Реализм с этой точки зрения есть «изображение действительности так, как она есть». Но понятие «действительности» вовсе не так просто, чтобы им можно было пользоваться без ближайшего анализа. Для романтика привидения, предчувствия, сны так же реальны, как и повседневная действительность. Для верующего христианина «божественный мир» принадлежит высшей ступени действительности, чем мир природы. Для платоника «идеальный мир» — единственная реальность, между тем, как эмпирический мир обладает только тенью реальности, является только иллюзорной действительностью. Понятие «действительности» в советской теории литературы так же неопределенно, как и понятие «материи» в советском философском материализме. Но о необходимости внимательного отношения к основным понятиям следовало бы подумать и каждому не-советскому историку литературы! Вряд ли вообще в понятии действительности нуждается литературная теория, в особенности история литературных стилей. При характеристике *литературного* течения, каким является литературный «реализм» следует исходить из критериев *литературных*. Основным в новом литературном стиле является употребление новых литературных средств и приемов или иное взаимоотношение старых. И у реалистов имеется яркая новая литературная черта: место метафорических и гиперболических приемов ромanticsки в реализме занимают приемы метонимические (Якобсон). Нам нет, однако, надобности здесь подробно останавливаться на этом теоретическом вопросе.

Русские реалисты, без сомнения, многому научились у Гоголя. Но внимательное изучение начатков русского реализма показывает, что при этом они стремились устранить из своего стиля наиболее характерные особенности гоголевского стиля, — как его романтического периода, так и стиля примыкавшей к Гоголю «натуральной школы». Ряд принадлежавших к ней

крупных писателей позже перешли к реалистическому стилю. Переход к реализму обозначал для них отказ от большинства, если не от всех специфических черт стиля «натуральной школы», о которой есть ряд прекрасных, хотя и не исчерпывающих, исследований В. Виноградова. Мы остановимся только на Гоголе самом, и по преимуществу на элементах его натурального стиля.

Мне придется цитировать достаточно известные места из произведений Гоголя. Но так как в последнее время приходилось встречать даже работы специалистов, не цитирующих Гоголя дословно, так как у них его сочинений «нет под рукою», то надеюсь, читатели на меня не обидятся.

«Реальность» мира Гоголя совершенно иная, чем «реальность», изображаемая русскими «реалистами». Эта реальность мира Гоголя не имеет ничего общего с русской «действительностью, как она есть» (или была в его время). Если составить себе представление о России 30-х годов 19 века по произведениям Гоголя, то окажется, что там бурые свиньи похищали из судебных учреждений жалобы, направленные против их хозяев; что носы, оставивши своих «законных собственников», странствовали по Петербургу в качестве высоких чиновников; что такой «самоопределившийся» нос казался, если не нормальным, то возможным явлением полицейским чиновникам, служащим бюро по приему объявлений, врачам, вообще населению столицы; что русские женихи выпрыгивали непосредственно перед свадьбою из окон; что жители губернского города, начиная с губернатора, могли принять проезжего проходимца за Наполеона, бежавшего с острова Св. Елены; что чиновники вставали из могил и блуждали по столице в поисках украденной у них шинели; что проезжающего в России могли считать ревизором только на том основании, что он «денег не платит и не едет».

Конечно, и «реалисты» не просто фотографируют действительность, — это не было бы искусством. Но они пытаются придать нарисованным ими картинам характер вероятности и правдоподобия. Стилистика Гоголя не только не ставит себе такой задачи, но преследует задачу совершенно противоположную: изобразить невероятное и неправдоподобное. В произведениях Гоголя мы встречаем немало лжецов. Но вымыслы самого Гоголя далеко превосходят всё, что рассказывают и Хлестаков и Ноздрев. Может ли в самой глухой провинции дворянин расхаживать в коричневом сюртуке с голубыми рукавами? Можно ли в той же провинции встретить даму, отку-

сившую нос у заседателя? Поверит ли самая глупая помещица, что мертвых крестьян («мертвые души») можно покупать и продавать и станет ли она справляться о их действительной цене? В конкретных подробностях — обозначениях рангов и чинов, в описании процедур продажи и покупки крестьян, в описании нравов и обычаев Гоголю указывали на многочисленные ошибки, которых он не исправлял. Чувства зрителя-реалиста при представлении «Ревизора» сам Гоголь выразил в возмущенных словах одного из посетителей театра в «Разъезде после представления ‘Ревизора’» — «И взятки не так берут!».

Как собственно берут взятки, Гоголя не интересовало: он, как сказано, вовсе не стремился к правдоподобию. Излюбленный прием Гоголя — гипербола. И большинство его гипербол переходит за границы всяких реальных возможностей. Уже в рассказах лжецов у Гоголя встречаем смелые гиперболы: для приглашения директора департамента отправляют «тридцать пять тысяч одних курьёров»; арбуз стоит сто рублей; другой арбуз — «в семьсот рублей»; ручки дверей в Петербурге тяковы, что надо «два часа» мыть руки, чтобы осмелиться взяться за них; мосты в Петербурге «висят, без всякого, так сказать, прикосновения»... Гоголь аккомпанирует голосам своих лжецов гиперболами еще более невероятными: он сыплет, как из мешка, слова — «огромный», «чудовищный», «страшилище», «куча», «океан», «бездна»; «невиданные», «небывалые» вещи у него на каждом шагу; он характеризует самые обыденные предметы своими излюбленными оборотами — «каких и невидано даже», «каких невозможно описать», «каких никто и во сне не видел», «каких нигде нельзя найти» и т. д. Этот особый вид гиперболы («гиперохе») повторяется всюду: «красота невиданных землею плеч», «путешествия, каких не может описать никакое перо», «усы... которых нельзя изобразить пером», «храп неслыханной густоты», повозка «ни на что не похожая». Масса вещей «блестящих», «сверкающих», «нестерпимо сверкающих». Числа Гоголя всегда гиперболичны: по петербургскому снегу мчатся «тысячи саней», в магазинах «тысячи сортов шляп», на площади в Варшаве собирается «миллион народа», «миллион плакатов» развешан по стенам Парижа. Но что числа! У Гоголя всегда найдутся средства для гипербол еще более эффектных: лакей бегает с подносом, на котором стоит столько же чайных чашек, как птиц на морском берегу; перья в канцелярии скрипят так, как будто бы воз с хвостом ехал по лесу, почва которого покрыта на четверть сухими листьями;

из трубки курильщика дым подымается, как из трубы парохода; человек смеется так громко, как будто два быка, став друг против друга, заревели разом.

Если Гоголю встречается в другой раз тот же предмет, он варьирует свои гиперболы: одни штаны — «как бочонок», другие — так широки, что если бы раздуть их, в них можно было поместить дом с двором и постройками; третий — «ширина в Черное море». В карманах четвертых можно поместить «по арбузу», в кармане пятых — «быка», в кармане шестых — «лавку».

В совершенно «реалистическом» контексте у Гоголя упоминается коляска — Гоголь предупреждает: «долгом считаю предуведомить читателя, что это была именно та самая коляска, в которой ездил еще Адам; и поэтому, если кто будет выдавать другую за Адамовскую, то это сущая ложь, и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа, должно думать, что в Ноевом ковчеге был особенный для нее сарай». С этой коляской может конкурировать только рот «величиной в арку Генерального Штаба» — эта арка высотой в четыре этажа.

Это только немногие примеры гиперболического стиля Гоголя — и этот стиль, конечно, исчезает в русском реализме: такие гиперболы остаются только в рассказах патологических лжецов, но и они в своих преувеличениях гораздо скромнее Гоголя, — ср. напр. «Русские лжецы» Писемского.

На примерах гипербол можно было видеть, что гиперболы Гоголя направлены в «обе стороны»: неслыханная и невиданная красота прекрасного — на одной — и невыразимая низость пошлого — на другой стороне.

Такая же «обоюдосторонность» и в метафорах Гоголя. Характерны для его «натурального стиля» «метафоры вниз», т. е. сравнения людей и вещей с объектами низшего слоя бытия, — напр., людей с животными. «Метафоры вниз» особенно часты в «Мертвых душах». Но одновременно с «Мертвыми душами» печатается «Рим», переполненный «метафорами вверх», гиперболическим изображением прекрасного. Именно «Рим» и напечатанные еще на пять лет позже «Выбранные места» показывают, что Гоголь идеологически не переставал быть романтиком и, если угодно, «эстетом». Это ставит нас перед вопросом об идеологических источниках его «натурального стиля». По моему мнению, «натуральный стиль» создан и разра-

ботан Гоголем не с какой иной целью, как только чтобы преувеличенно-отвратительным, отталкивающим изображением повседневности в мрачных красках вызвать у читателя ту же тоску по высшему, неземному миру, которую Гоголь в произведениях романтического стиля (и в «Выбранных местах») пытается вызвать иными средствами — лиризмом и энтузиазмом. Метафоры и сравнения, направленные «вниз», преследуют именно эту цель.

Уже в украинских рассказах Гоголь пользуется «метафорами вниз»; в частности, сравнениями людей с животными и предметами: «спящие храпят, как коты» (которые в действительности вовсе не храпят), один из героев «бежит, как скаковая лошадь» и т. п. В поздних произведениях, в частности в «Мертвых душах», сплошь и рядом выступают герои, имеющие в себе более животного, чем человеческого. Гоголь вычеркнул из окончательной редакции первого тома «Мертвых душ» отрывок, характеризовавший его героев, как «чудовищ», о которых он, впрочем, говорит и в окончательном тексте и в касающихся «Мертвых душ» письмах; при этом исчезло и сравнение какого-то героя с «собакой во фраке», но остался, напр., Собакевич, похожий на «медведя средней величины», на которого похожи и предметы, окружающие Собакевича; здесь же мы встречаем и крестьянина больше похожего на индейского петуха, чем на человека, и прыжки, напоминающие прыжки козла, и швейцара «как толстого откормленного мопса»; человек в хорошем настроении напоминает Гоголю кота, у которого пощекотали за ушами, в плохом настроении — облитого водою пуделя, — «хвост между ногами и уши опущены» и т. д. без конца. Не менее эффектны и сравнения с животными, вкладываемые Гоголем в уста своих героев: «совершенная свинья в ермолке», «черепаха в мешке» и, конечно, не встречающийся ни в какой зоологии «скотина преестественнейший»...

Но и чисто реалистические мелочи у Гоголя гиперболичны и неправдоподобны. В его «натуралистическом стиле» характерны описания одежды героев; она всегда разорванная, заплатанная и грязная или «невиданная»: «Мальчик в казацком кафтане с черными заплатами»; «лакей в сером сюртуке с черными заплатами»; человек «в сюртуке с длинными полами и таким огромным воротником, что голова сидела в воротнике, как в бричке»; судейский чиновник с «изорванными рукавами»; наконец, «на мундире городничего посажено было восемь пуговиц; девятая, как оторвалась во время процессии при освя-

щении храма назад тому два года, так до сих пор десятские не могут отыскать, хотя городничий при ежедневных рапортах всегда спрашивает, нашлась ли пуговица»; скупец Плюшкин, богатый помещик в «совершенно неопределенном платье», какое носят деревенские бабы, спина которого запачкана мукой, «с большой прорехою пониже» и который бреется так редко, что нижняя часть его щеки напоминает железную щетку, которую на конюшне чистят лошадей... Как это всё правдоподобно!

Мы могли бы обратиться и к именам героев. Здесь имена, не встречающиеся ни в каком календаре, вроде «Макдональда Карловича» (в русской провинции!) или Маклатуры Александровны, Алкида и Фемистоклюса, рядом с «французом Куку» и «князем Чепхайхелидзевым»... Длинной вереницей тянутся Трифилий, Дула и Варахасий, Павсиакий и Вахтисий, Мокий, Сосий и Хоздазат, Псой Стажич Замухрышкин, Сквозник-Дмухановский, Ляпкин-Тяпкин, Земляника, Голопупенко и Чухопупенко, Кизяколупенко, Закрутыгуба и Вертыхвист; не плохи и Шпонька, Свербигуз, Перерепенко и Довгочхун, хотя остроты, скрытые в украинских именах, не всегда понятны русскому читателю.

Этих немногих примеров достаточно, чтобы показать, что стиль Гоголя существенно отличается от стиля русских реалистов: и именно потому, что Гоголь очень мало интересовался правдоподобием своих образов и очень редко применял один из излюбленных приемов реалистов, служащих цели сделать их образы правдоподобными, — а именно «мотивировку». В стремлении к правдоподобию реалисты «мотивируют» не только действия своих героев, но и все отдельные элементы рассказа, часто до мелочей, которые могли бы оказаться или показаться невероятными. Именно это стремление к мотивировке заставляет реалистов расширять объем своих прозаических, а часто и стихотворных, произведений до размеров больших романов: ведь нужно так много места, чтобы обрисовать характер героя, его «среду», часто и генеалогию. В произведения включается «статистика», — бытовые и «физиологические», как тогда называли, очерки жизни. Действия героев объясняны; только лжецы лгут, только безумцы действуют нерационально... Тургенев (в «Нови») объясняет происхождение редких или странных имен героев (Нежданов, Калломейцев, Сила, Снандулия и т. д.). Даже импрессионистический эпигон реализма Чехов выписывает в свою записную книжку редкие имена из календаря: «св. Пиония и Епимаха — 11 марта, Пуплия

— 13 марта»\*. Гоголь же в «Шинели» составляет свой собственный календарь, — названные им там святые вовсе не встречаются в календаре вместе, а тем менее в те дни (23 марта), к которым он их относит. Если оставить в стороне биографию Чичикова, также отнюдь не преследующую только цели мотивировки, то всё совершается у Гоголя или без мотивировки или с псевдомотивировкой, — но характерно, что самый приём, как видно из биографии Чичикова, ему известен. Но он без всякой мотивировки высыпает перед нами такие имена, как Маклатура, Фемистоклюс, Неуважай-Корыто, Доезжай-Недоедешь, Коровий-Кирпич... Псевдомотивировка дана для играющей композиционно важную роль поездки Коробочки в губернский город, псевдомотивировки даны для объявления Чичикова Наполеоном, фальшивомонетчиком, даже беглым каторжником или для слуха о том, что он «хочет увезти губернаторскую дочку». Характерная для Гоголя псевдомотивировка: «крыша суда осталась непокрашенною», так как «приготовленное для того масло канцелярские, приправив луком, съели»...

Этот мир немотивированных невероятий, чудищ и уродов напоминает «Капризы» Гойи или гротескные фигуры в рассказе Эдгара А. По “King Pest”. Но кто же будет считать Гойю или Эдгара А. По «реалистом»?!

Даже и среди героев Гоголя трудно найти «реалиста». Конечно, его лжецы не реалисты. Не реалисты и все мечтатели, которых он так охотно изображает: от художника Пискарева до помещика Манилова. Но не реалисты даже и практики и дельцы: не реалист Чичиков, не только замечавшийся о губернаторской дочке, но и предающийся размышлениям о совершенно безразличных для него и не имеющих никакого практического значения минувших судьбах своих «мертвых душ»; не реалист даже и Собакевич, превративший «Елисавет Воробей» в мужчину, успешно «прикончивши» осетра, тыкающий в стороне вилкой в какую-то сущеную маленькую рыбку, «как будто это и не он», рассказывающий о том, как давно умерший каретник Михеев «на-днях сделал такую бричку, что хоть в Москву посытай», выражаящийся о ненравящихся ему губернских чиновниках чисто-гоголевским

---

\* Здесь я лишен возможности говорить об именах в юмористических произведениях реалистов. Напоминая гоголевские, они имеют совершенно иную функцию.

гиперболическим стилем («Гога и Магога», «зарежет на большой дороге»). Пожалуй, единственным последовательным реалистом среди героев Гоголя окажется попечитель богоугодных заведений, Артемий Филиппович Земляника, на гениальную метафору Хлестакова «совершенная свинья в ермолке» весьма «реалистически» возражавший: «где ж свинья бывает в ермолке?». Кажется, именно Землянику, а никак не Гоголя, следовало бы считать провозвестником «социалистического реализма».

\*\*

Небо полно их тяжелым гулом.  
 Да, они минуют города.  
 Смерть не ищет нас голодным дулом,  
 Как тогда... Ты помнишь?.. Как тогда...  
 Слышишь их глухое приближение?  
 (Ночь. Подвал. Стены холодный мел.  
 Сердце мерит страшное круженье...)  
 Кто тогда молиться не умел?  
 Чья рука другой руки не скала?  
 Громы взрывов, душащая пыль...  
 Братство обреченного подвала,  
 Нет, твоя не умирает быль.  
 Я тебя до смерти не забуду...  
 (Смерти где? Когда? В какой стране?  
 Где поверю? И какому чуду?  
 Чьей улыбке и какой весне?).

1947 г.

Г. Кузнецова

# АМЕРИКАНСКОЕ КУСТАРНОЕ ИСКУССТВО

За последнее время сильно возрос интерес американцев к своему национальному искусству. В двадцатых годах было «открыто» искусство индейцев. Позже стали интересоваться американскими «примитивами». Теперь много внимания уделяется американскому кустарному искусству.

Волна за волной в Америку прибывали колонизаторы и эмигранты. Пришли испанцы, за ними — англичане, немцы, славяне. Все привозили с собой разную домашнюю утварь, шкатулки, ларцы, вышивки и т. д., и вместе с ними и привязанность к определенным декоративным формам, цветам, узорам, которые они продолжали культивировать и в новой стране.

Естественно задать вопрос: что, собственно говоря, американского во всех этих предметах повседневного обихода, украшенных европейскими узорами? Например, произведения кустарей Pennsylvania Dutch часто кажутся просто скопированными с баварских оригиналлов; мебель в Новой Англии напоминает великобританскую. Однако, при внимательном изучении этих предметов, можно заметить, что перенесенные на новую почву европейские формы и традиции своеобразно претворяются. Этот процесс претворения, адаптации и дал, в конечном итоге, кустарное искусство Северной Америки или, как его называют в Соединенных Штатах, Folk Art или Americana. Это кустарное искусство не следует смешивать с искусством индейцев, которое является законченной формой художественного творчества, с выработанными эстетическими канонами. Работы кустарей скорее схожи с работами «примитивов»; обычно, они являются продуктом деятельности простых ремесленников, людей без специальных художественных навыков. Но примитивы все же создают предметы изобразительного искусства, кустари же остаются в области утилитарных предметов прикладного искусства. Конечно, провести грань не всегда легко.

В конце XIX века несколько любителей-коллекционеров стали собирать американские кустарные вещи. Пенсильванский археолог Генри Чапмен Мерсер обратился к поискам пенсиль-

ванской «американы»; другой — Эдвин Барбер — специалист по керамике — коллекционировал, главным образом, пенсильванско-немецкую глиняную посуду. Но их увлечение прошло как-то незамеченым.

В 1924 году при Metropolitan Museum, в Нью Йорке, был открыт, так называемый, «Американский флигель». В нем была собрана большая коллекция прекрасной старинной американской мебели и предметов домашнего обихода. Приблизительно в то же время Джон Рокфеллер, русский скульптор Илья Надельман и некоторые другие стали собирать коллекции «американы», и о них заговорила пресса. Интерес к безхитростным произведениям, который был привит публике первыми кубистами, увлекшимися африканскими примитивами, только что тогда открытыми, обратился в Соединенных Штатах в сторону кустарных произведений, которые многими и относятся к примитивному искусству.

В 1932 году нью-йоркским Музеем Современного Искусства была устроена, впервые в Америке, большая выставка северо-американских кустарных изделий.

На ней было представлено много своеобразных вещей, почти забытых в больших городах, но еще постоянно встречающихся в провинции. Их разглядывали сначала с некоторым удивлением, но вскоре заинтересовались и даже заговорили о них с увлечением. С интересом смотрели на огромные деревянные корабельные фигуры, пестро раскрашенные изображения индейцев, которые употреблялись торговцами табаком, на разнообразные фигуры для каруселей, на оловянную и железную утварь, на плиты чугунных печек с отлитыми на них библейскими сюжетами, на глиняную посуду своеобразной обработки, на вышитые картины, на игрушки, вырезанные из дерева... Вещи, которые всем, как будто, были знакомы с детства, которыми были наполнены бабушкины гостиные, и за которыми дети прятались на чердаках, играя в прятки, которые встречались в маленьких провинциальных тавернах и всеми почитались старым ненужным хламом, вдруг тут на выставке приобрели не только историческую, но и художественную ценность! И все это было продуктом американской работы...

Выставка сыграла большую роль. Она обратила внимание на существование своего американского культурного наследства. Несколько лет спустя, в 1935 году, отдел федеральных проектов по делам искусств предложил безработным художникам своеобразную работу: разъехаться по провинции и привезти оттуда зарисовки «предметов повседневного обихода,

употреблявшихся и сделанных в Америке за время с 1700-х по 1900-е годы». Предполагалось, что рисунки лучше передадут предметы, их краски и фактуру, чем это могли бы сделать фотографические снимки. Коллекция этих рисунков и составила, так называемый, «Index of American Design». Составление этого индекса было приостановлено второй мировой войной. К тому времени было уже, однако, собрано 15.000 рисунков и 5.000 фотографий. Сейчас они все находятся в Национальной Галерее в Вашингтоне и постепенно проникают в печать, как иллюстрации к книгам о кустарном искусстве, которых стало появляться все больше и больше.

Та форма кустарного искусства, которую принято теперь называть Pennsylvania Dutch распространена среди выходцев из Германии, поселившихся, главным образом, в Germantown, в Пенсильвании. В большинстве своем это были выходцы из прирейнских областей; среди них преобладали бедные, малоземельные крестьяне. Большинство вещей Pennsylvania Dutch относится к первой четверти XIX века. Стиль этот легко узнать по обильному применению декоративных узоров в форме сердца, тюльпанов, павлинов, попугаев, исполненных в ярких красных, синих и желтых красках. По сравнению с их европейскими прообразами все эти узоры несравненно проще и грубее. Воспроизводились они, в большинстве случаев, по памяти, неопытными руками, неискусными ни в выделке, ни в раскраске.

Так называемый «тюльпанный узор» (трех-лопастной цветок) известен в Европе с половины 16-го века, куда он был занесен из Азии. Его особенно полюбили немцы 18-го века; они и привезли его с собой в Америку. Этим узором разрисовывали, главным образом, домашнюю утварь, посуду, сундуки и ларцы для невест. Он очень декоративен, его легко рисовать даже малоопытному кустарю. Прибегали еще к незабудкам и фиалкам но, по преимуществу, на вышивках и на разукрашенных метриках. Из утвари характерны высокие железные кофейники, подносы, коробки для чая, солонки, выкрашенные в ярко-красный цвет, разрисованные тюльпанами, обведенными широкой черной полосой.

Сундуки, служившие невестам для хранения приданого, делались из дерева, большого размера, четырехугольной формы. Ларцы, которые дарил невесте жених, были небольшие и овальной формы. Делались они из лыка и предназначались для различных мелочей невесты, раскрашивались в яркие цвета, разрисовывались тюльпанами... Их выделявали не только в Пенсильвании, но и в северном Нью Джерзи, на Лонг Айленде

и в долине Гудзона, где они, обычно, раскрашивались в монохромные цвета.

Лучшие образцы этих сундуков были найдены в Беркс Каунти (Пенсильвания). Среди опубликованных рисунков индекса имеется один, изображающий сундук, сделанный в 1786 году «Для Доры» (имя и дата нарисованы на передней стенке). Сундук выкрашен в темно-голубую краску и расписан с трех сторон красными колонками и красными сердцами. На передней стенке нарисованы три ярко-желтых медальона, расписанных тюльпанами. В одной частной коллекции хранится ларь, на крышке которого нарисована большая звезда — для остраски злых духов, а с передней стороны единорог — символ девственности.

Сундуки эти обычно разрисовывались странствующими кустарями-художниками, переходившими из города в город и из дома в дом, где они жили и кормились, пока не заканчивали своей работы.

Лучшие образцы пенсильванской глиняной посуды хранятся сейчас в Пенсильванском Музее в Филадельфии. Эта посуда, выделывавшаяся из красной глины, известна под общим названием “*tulipware*”, так как она украшалась, главным образом, тюльпанами, хотя на иных больших блюдах появлялись и другие орнаменты... •

В Бокс Каунти в начале XIX века работало тридцать кустарей-гончаров. В то время выделялось три категории посуды: полихромная, глазированная и нарезная. Полихромная посуда, — раскрашенная поливой разных цветов, была очень дорога, и ее мало выделявали. В настоящее время во всей Америке сохранилось не больше нескольких десятков экземпляров этой посуды.

Глазированная посуда обжигалась в горне, а потом расписывалась узорами или рисунками при помощи жидкой белой глины, которая наливалась в специальную льячку-тигелёк (способ, сходный с тем, каким кондитеры украшают пирожные). Украшения — обычно симметрично расположенные тюльпаны и листья. На ободке тарелок и круглых блюд (продолговатые не выделялись, так как они требовали гораздо больше умения и ловкости) всегда выписывалось на немецком языке какое-нибудь наставление: «Лучше жить бобылем, чем позволить жене носить брюки», или «Я боюсь, что моя скверная дочь не найдет себе мужа», или «Вот блюдо без пирога, попробуйте сделать пирог без блюда». Посуда эта употреблялась редко,

ею большие пользовались для свадебных подарков, и поэтому она, вероятно, сохранилась до нашего времени.

Так называемый «нарезной фаянс» покрывался сплошной поливой, на которой наносились нарезы каким-нибудь острым инструментом. Орнамент посуды этой был очень разнообразен: всевозможные птицы (в частности, павлины, которые были тогда очень популярны, — их любили держать в садах для красоты), птица «дистельфинк», напоминающая русского петушка. Нарезались также и разные животные: олени, кролики, львы, лошади. Встречались, сравнительно редко, сцены из Библии. Иногда представлялись сцены из повседневной жизни. В Пенсильванском Музее в Филадельфии имеется несколько *rie dishes* (блюда для пирогов) 18-го века. На одном из них (1786) представлен бал: женщины в длинных платьях с тонкими талиями, танцующие с английскими офицерами в треуголках.

Своебразными пенсильванскими работами были иллюстрированные метрики, как их называли «фрактуры»\*.

Первые пенсильванские рукописные работы относятся к 18-му веку. Немецкий выходец Конрад Бейсель, основавший в местечке Евфрата небольшую религиозную общину, положил начало в Пенсильвании (и в Соединенных Штатах) разрисовке молитвенников и псалтырей. Оригинальностью они не отличались, так как копировали старинные немецкие манускрипты и книги, но сделаны были старательно и изящно. В американских музеях сохранилось 12 таких евфратских манускриптов. Впоследствие Евфратская община приобрела печатный станок. Одна из наиболее известных книг, *The Martyr's Mirror*, отпечатанная в количестве 1500 экз., была ими издана в 1748 году. Над ней работало 15 кустарей-самоучек в продолжение трех лет. Они сами ее перевели, напечатали, разрисовали, переплели...

В исторической Швенкфельдеровской библиотеке, в Пенсильбурге (Пенсильвания), находится собрание, так называемых, Швенкфельдеровских фрактур, — рукописных листов на религиозные темы. В конце 18-го и в начале 19-го веков фрак-

\* Появление этого слова восходит к тому времени, когда были изобретены первые печатные шрифты, походившие на готическое письмо «ломаного» рисунка. Это были, так называемые, *fractur shrift*. Немецкие переселенцы в Пенсильванию, занимавшиеся изготовлением иллюстрированных манускриптов, называли их «фрактурами». Впоследствие это название давалось всему, что писалось от руки, и, в частности, метрикам 19-го века.

туры были исключительно религиозного содержания; с двадцатых годов прошлого столетия фрактуры стали писать метрики-свидетельства о крещении. Их писали бродячие живописцы, носившие с собой своеобразную шкатулку с акварельными красками, чернилами, кисточками и гусиными перьями; живописцы эти работали на дому у заказчиков. Эти свидетельства — семейные документы для сохранения в потомстве памяти о том или ином событии — заключались в рамки и украшали стены жилищ. Фрактура писалась на небольшом листе бумаги, с текстом в центре, украшенным по сторонам узорами, птицами, сердцами, разнообразными геральдическими символами, иногда небольшими пейзажами. Фрактуры отличаются обилием орнаментов, и хотя фигуры людей на них представлены очень неумело, но они выполнены старательно и привлекают своей бесхитростностью и наивностью.

С появлением дешевых промышленных олеографий искусство фрактуры было заброшено. О фрактурах вспомнили лет тридцать тому назад. Музеи и частные коллекции стали за ними охотиться, и найти их теперь в продаже почти невозможно.

К категории фрактур относятся и вышитые картины. В XIX веке среди девиц благородного звания было принято проводить время за вышиванием. На настоящие картины не хватало денег, да и художников в небольших селениях или поместьях тоже не было. Вышивки, обычно обрамленные в стеклянные черные с золотом рамы, украшали гостиные. Темы были преимущественно пасторальные. Иногда лица и руки дополнялись акварелью. В Пенсильвании шили по канве. В других штатах по шелку. Наиболее своеобразными среди них были «траурные вышивки». Они ведут свое начало со временем смерти Вашингтона. Не было дома, где не была бы вышита сцена, представляющая девушек, возлагающих на кладбище венки на урну с прахом Вашингтона. Одна из лучших вышивок этого образца находится в музее Цинциннати, в штате Охайо. В сороковых годах было принято делать вышивки по случаю смерти близких родственников. На них вышивалось уже не имя Вашингтона, а того, чью память чтили этим своеобразным способом. Вышивали на бархате. Рисунок примитивен, но краски подбирались со вкусом. По стилю и типу они схожи с современными произведениями бабушки Мозес.

Мы уже говорили о деревянных шкатулках и сундучках для невест. Пенсильванцы не ограничивались этим. Лесов было много, зимние вечера были долгими; ножи были всегда у всех за голеницем... В музеях и в частных коллекциях сохранилось

много вырезанных из дерева вещей. Это, главным образом, петухи, совы и орлы. Они очень декоративны, а стоили недорого, и их очень охотно покупали. Иногда их раскрашивали яркими красками. Одни резчики старательно вырезывали каждое перышко, каждый хохолок; другие, наоборот, придавали своим птицам упрощенные, почти геометрические формы. Сохранились имена Шиммеля и Мунца, — двух немцев резчиков, работавших в Пенсильвании во время гражданской войны. Имя Шиммеля окружено своеобразными легендами о его бродячей жизни, о том, как он за стол и ночлег вместо денег платил статуэтками и игрушками, вырезанными из дерева. В музеях они встречаются часто, и все отличаются большим чутьем формы и уверенностью линий.

В 1931 году в Нью-Йорке была выставка под названием «Искусство для сада». На этой выставке посетители много смеялись над ярко раскрашенным деревянным индейцем, с пучком табачных листьев в руках. По этому поводу вспомнили, что в 1850-1880 годах эти фигуры были очень популярны, и что не было табачной лавки, которая бы не имела своего «индейца». Одни были искусно вырезаны из дерева, другие — примитивной работы, все обычно ярко раскрашенные. Эти фигуры, размером с человека, известны под общим названием “Cigare store Indians”. Торговцы табаком и сигарами каждое утро выносили эти фигуры на улицу и ставили их у дверей своих магазинов. Но торговцы прибегали не только к фигурам индейцев для привлечения покупателей. У иных были и турки в пестрых тюрбанах, жокеи в цветных куртках, шотландцы в юбочках, почтальоны и негры, “Humpty Dumpty” — герой детской песенки, герои Диккенса, Буффало Билл — герой американского фольклора. При всем разнообразии у всех было одно общее: табак, сигары, шкатулки с табаком, пучки табачных листьев в руке.

Еще в 1940 году в Нью-Йорке можно было любоваться последним из могикан, стоявшим у табачной лавки на Седьмой улице. Он был куплен в 1884 году, где находится теперь — неизвестно; может быть, приобретен кем-либо из страстных коллекционеров старины: Паркер Лайоном из Калифорнии, у которого имеется около полусотни таких фигур, или Дэдли Уотерсон из Гранд Рапидс в Мичигане, чья коллекция и была, главным образом, использована для “Index of American Design”.

К этой же категории жанровой скульптуры относится высеченная из дерева фигура-горельеф на Гринвичской тюрь-

ме в Род-Айленде. Она сделана в начале 19-го века и изображает бродягу в кандалах — поразительная по силе выражения фигура испуганного человека. Раскраска серыми и черными тонами придает ей большую выразительность и художественность.

В период расцвета производства такого рода фигур их выделяли по 200-300 в год, и исследователи отмечают, что в 1871 году у одного нью-йоркского торговца их имелось несколько сотен. Все были из лёгкого дерева, ручной работы. На изготовление «индейца» требовалось от шести до двенадцати дней.

В этом году в Америке был спущен на воду новый пассажирский пароход “*Independence*”. В одной из его главных зал находится большая деревянная скульптура — голова крупных размеров, полная жизни и порывистого движения. Сто лет тому назад она находилась на носу одного из первых американских кораблей, тоже носившего название “*Independence*”. В то время в Америке не было шхуны, фрегата, китоловного судна, который не был бы украшен такой деревянной фигурой. В XVIII-ом веке их еще привозили из Англии; начиная с XIX-го, они уже выделялись в США. В начале это были головы или бюсты, но с увеличением размеров судов появились стоячие фигуры. Впоследствии же, когда корабли стали более узкими спереди, эти фигуры помещались почти горизонтально на носу над ватерлинией. С появлением пароходов они совсем исчезли; — их заменили небольшими орлами; а в 1907 году все фигуры были запрещены американским военным флотом.

На китоловных судах ставили, обычно, женские фигуры, изображения жен или дочерей судовладельцев. «Алиса Наулес» (*Alice Knowles*), находящаяся сейчас в частных руках, — одна из наиболее своеобразных скульптур этого типа. Это фигура с высоко закинутой вверх головой, в длинном платье со стройно ниспадающими складками. Она столь пластична и в ней столько движения, что сделавший ее неизвестный кустарь мог бы смело состязаться с известными скульпторами своего времени. Другая примечательная женская фигура, «Дама с розой», раскрашенная нежными розоватыми тонами, находится сейчас в Бостонском музее.

На военных судах конца 18 в. ставили деревянных орлов, а впоследствии их заменили “*Columbia*” — в подражание английской “*Britannia*”. Одна из них изображает Колумбию в виде женской фигуры, стремительно направленной вперед, во

фригийской шапочке, в развевающемся по ветру платье-ампир, с протянутою вдаль рукой.

В 1834 г. для фрегата «Конституция» была сделана фигура Андрю Джексона, с шляпой в одной руке и конституцией — в другой. Она находится сейчас в Музее г. Нью-Йорка. Для различных кораблей выделялись также бюсты квакеров, президентов, политических деятелей, обычно исполненные просто, без особых деталей, излишних для фигур, на которые смотрят издалека. Центром выделки этих фигур был Бостон и китоловные поселки штата Мейн. Сохранилось и несколько имен более талантливых резчиков: Shem Drowne, Isaac Fowle, Simeon и John Skillin.

Особую категорию деревянных скульптур представляют фигуры, — чаще всего барельефы муз, — которыми бродячие цирки украшали свои повозки. В длинных хитонах, со свистками в руках, с тупым выражением лиц, эти «каллиопы», как их называли, долго были неотъемлемой частью цирковых украшений. Те, что еще сохранились, находятся в настоящее время в частных коллекциях. Интересны также, по богатству форм и выражений, фигуры для каруселей, главным образом, лошадиные головы. Лучшей считается большая деревянная фигура петуха, выкрашенная в красный цвет, работы середины 19 в., хранящаяся сейчас в штате Vermont. Это почти модернистская фигура, простого и изящного силуэта; ей могут позавидовать многие современные скульпторы.

Любители, так называемой, «Американы» или американского кустарного искусства усердно охотятся и платят громадные деньги за “shakers furniture”. Мебель эту в 18 и 19 веках выделяла своеобразная религиозная secta «шнейкеров», жившая в штате Нью Хемпшир. Происхождение этой секты относится к началу 18 века, когда протестанты-камизары во Франции взбунтовались против Людовика XIV и эмигрировали в Англию, где к ним примкнула небольшая группа квакеров. Официальное название этой секты «Объединенное общество верующих во второе пришествие Христа».

В семидесятых годах 18-го столетия во главе секты стояла некая Анна Ли. В 1774 г., после «чудесного видения», которое повелело ей уйти за океан и основать там свою церковь, Анна Ли, в сопровождении восьми верных соратников, уехала в Соединенные Штаты, где и обосновалась около города Олбани (штат Нью-Йорк). К концу XVIII в. миссионеры «шнейкеров» успели привлечь в свою секту несколько тысяч человек, рассеянных мелкими селениями по Атлантическому побережью.

В основанном впоследствии шейкером Jewett своеобразном религиозном кооперативе-монастыре “Shakers Hill” было построено несколько общежитий (отдельных для мужчин и для женщин, так как одной из их догм было безбрачие). Перед домами были террасы, откуда женщины могли непосредственно садиться в повозки, без помощи мужчин, которым строго воспрещалось их касаться.

Чистота, честность, религиозность, беспрестанный труд отличали последователей этой секты. Одетые в строгие черные платья, они работали целыми днями, сами сколачивали свою мебель и выделявали всякую утварь. Их душевная простота отражалась на всем, что они делали. Их мебель, стулья, шкафы, скамьи незатейливы, но чрезвычайно привлекательны своими строгими и благородными пропорциями. Шейкеры не прибегали к орнаментам, но любили крепкое красивое дерево, из которого, благодаря прекрасной обработке и полировке, делали отличные вещи. Шейкеровские подсвечники, деревянные тарелки, коробки и ларцы своей строгой линейной формой подходят к современному стилю Лекорбюзье, конструктивистов, Райта и др. К сожалению, массовое фабричное производство конца 19 в. совершенно подорвало кустарное ремесло шейкеров. Да и самих шейкеров становилось все меньше: они давно уже не принимают никого в свои ряды, и обет безбрачия ведет их к постепенному исчезновению.

На юго-западе Соединенных Штатов живет смешанное население из испанцев и индейцев. Там сохранилась своеобразная кустарная форма религиозного искусства: *bultos* (статуэтки святых) и *retablos* (религиозные барельефы). В наше время это, пожалуй, единственный вид религиозного искусства, в котором сохранилась непосредственность и вера в святость изображенного. Это испано-американское искусство заслуживает особого рассмотрения.

**Вера Коварская.**

# МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ

## НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 1914 ГОДА \*

В зиму 1910-1911 года я был приглашен, скорее всего по предложению Вячеслава Иванова, в Петербург для прочтения в Религиозно-Философском обществе публичной лекции. Ни темы своей лекции, ни прений по ней, ни облика собравшейся публики, я, странным образом, не помню. Читал я, скорее всего, о «Трагедии творчества». По окончании моего заключительного слова ко мне, с дымящейся папиросой в изящно приподнятой к плечу руке, медленно подошел одетый в черный спортук статный юноша с продолговатым, усталым и бледным лицом. То, что я в этом юноше, заговорившем со мною о моем докладе, не узнал своего любимого поэта, принадлежит к величайшим печалям моей жизни.

Думаю, что если бы я приехал в Петербург не как редактор «Логоса», к которому у Блока не могло быть особых симпатий, и не по приглашению Вячеслава Иванова, с которым у Блока были свои сложные счеты («если хочешь сохранить Вячеслава Иванова, окончательно подальше от него»), то мы сразу же чем-нибудь своим да перекликнулись бы друг с другом. Как много Блок, с которым мне вторично непонятным образом так и не довелось встретиться, значил для меня, я понял только после его смерти.

Вскоре после моего возвращения из Петербурга я как-то под вечер шел с Белым по Плющихе. Вокруг только что зажженных фонарей мглисто кружился «блоковский» снег. В мою душу, захваченную в те годы стихией блоковской поэзии, загадочно смотрели «крылатые глаза высокой женщины в черном, влюбленной в огни и мглу снежного города». Белый, в котором привезенная в Москву постановка «Балаганчика» с новой силой всколыхнула боль его тяжелой размолвки с «поэтом-братьем»,

---

\* См. кн. 26-ую «Нового Журнала».

«иероглифически» жестикулируя, торопливо бежал рядом со мною и, гневно меча в «пургу» свои зеленые исподлобные взоры, взволнованно говорил об измене Блока «теургической» теме символизма: о кощунственном превращении «прекрасной дамы» в «картонную невесту», священной крови — в «клоквенный сок», мистерии действия — в «балаганное паясничество». Недостаточно посвященный в замыслы раннего символизма и во все сложности личных взаимоотношений между поэтами, я слушал Белого не без смущения. Возражать было невозможно. Тон речи Белого был настолько страстен, в нем слышалась такая уязвленность души, что становилось невольно страшно, как бы каким нибудь неосторожным словом не коснуться тех личных отношений между поэтами, что явно стояли за критическими нападками Белого.

Не находя точных слов для своего возражения, я все же чувствовал, что правда была на стороне Блока. В ту смутную межреволюционную пору, готовую в любой загадочно-неудовлетворенной женщине и во всякой жаждущей «мистериозного служения» актрисе «прозревать» образ «вечной женственности», — такой послушный духу времени поэт, как Блок, не мог не снизить видения «прекрасной дамы» до явления ресторанной «незнакомки». В этом снижении мне уже и тогда слышалась та жестокая блоковская честность с самим собою, которой так не хватало многим из его современников. Несчастье Блока было лишь в том, что при всей своей честности он всё же до конца оставался духовно-беззащитным романтиком-мечтателем. Даже и лучшему, что он написал, его стихам о России, не хватает трезвости религиозного созерцания. Образ родины видится ему в том же тумане, как и образ «Незнакомки». При изумительной пластичности художественного письма, Россия религиозно всё же остается как бы не в фокусе: ее застилает дым и даже чад любовно-мечтательного пламени.

Россия, нищая Россия,  
Мне избы серые твои,  
Твои мне песни ветровые,  
Как слезы первые любви.

Тебя жалеть я не умею  
И крест свой бережно несу:  
Какому хочешь чародею  
Отдай разбойную красу.

Пускай заманит и обманет,  
Не пропадешь, не сгинешь ты,  
И лишь забота затуманит  
Твои прекрасные черты.

Не это ли романтическое увлечение разбойною красою заставило Блока увидеть в большевизме русского чародея? Не оно ли помешало ему, единственному по музыкальности уха поэту, отличить рёв разбушевавшейся революции от космической музыки; не оно линушило ему более, чем соблазнительный образ красноармейцев-апостолов, невидимо предводительствующих Христом? Своебразный свет на все эти романтические ошибки зрения и слуха проливает дневник Блока. 5-го апреля 1918-го года он записывает кощунственные слова: «Гибель «Титаника» вчера обрадовала меня нескованно — есть еще океан». Но я ни в чем не хочу обвинять Блока, так страшно искупившего духосмесительные грехи своей жизни и своего творчества своими предсмертными страданиями и своей преждевременной смертью.

Не сразу дошедшее до нас известие о кончине Блока произвело на меня, даже и среди всех ужасов тогдашней жизни, потрясающее впечатление. Помню, как я прибежал с этим известием в ригу, в которой шла молотьба. (В годы большевицкой революции мы с женой работали в «семейной и трудовой коммуне», в бывшем имении ее родителей). Брат жены, подававший снопы в барабан, сразу же остановил молотилку. Наташа и ее сестры, с запыленными мякинною пылью лицами и с граблями в руках, подбежали к нам. Я прочел только-что полученное письмо. Наступила растерянная тишина. Наш бывший работник и его жена, вечно недовольные своими бывшими господами, видя, что машина стоит, а мы опять «промеж себя разговариваем», проворчали себе что-то под нос и ушли в свою избу пить чай. Через несколько минут мы отстегнули лошадей и последовали примеру наших «товарищей». За чаем было невыносимо грустно. Чувствовалось, что кольцо захваченных, а частично и разгромленных большевиками старинных имений всё тревожнее и теснее смыкается вокруг нашей богоохраняемой Ивановки, последнего форта помещичьей крепости в нашем уезде.

Ночью, на сторожбе в старом яблоневом саду было, несмотря на заряженное ружье и верного пса, как-то особенно жутко. Перед глазами неотступно стоял Блок, тихим голосом читающий в клубе писателей (в доме Герцена) свои стихи.

Душу волновала мысль: не означает ли безвременный уход к немым теням упорно молчавшего перед смертью поэта его покаянного отречения от красноармейского Христа? Не знаменует ли это отречение окончательного отлета светлых интеллигентских чаяний и утопий от развертывающихся событий, предельного ожесточения революции? Подобные мысли, конечно, и раньше приходили в голову, но смерть Блока как-то по-новому закрепляла их своею печатью...

Раздумья о прошлом живут по своим собственным законам. Мертвый хронологический порядок им чужд, даже враждебен. Воспоминания о Блоке увели меня далеко от Петербурга и от дома с башней на Таврической улице, где жил Вячеслав Иванов, с которым я до тех пор был лишь весьма поверхностно знаком.

Звоню. Большая низковатая передняя, убегающий куда-то вглубь коридор. Вхожу в кабинет маститого ученого, блестящего эссеиста, сладкогласного искусника в поэзии. Книги, книги, книги: фолианты в старинных пергаментах, маленькие томики ранних изданий немецких, французских и итальянских классиков, ученые труды на всех европейских языках, полки растрепанных русских книг и книжечек без переплетов. Над полками и между ними гравюры, все большие Рим, в котором Вячеслав Иванов прожил свои лучшие годы.

Но вот в двери, около которой висит портрет покойной жены Вячеслава Иванова, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал — кисти М. В. Сабашниковой, появляется сам Иванов: розовое, лоснящееся, безбровое лицо, летучие золотые волосы, пронзительно-внимательные, светлые глаза и изумительно красивые руки, белизна которых подчеркнута черным кольцом. Во всем германски-профессорском облике поэта, в особенности же, в почти манерном наклоне головы и мелодическом жесте — нечто стариинно-романтическое, но и нечто современно-декадентское, причем, несмотря на 45-летний возраст Иванова, определенно юношеское. Смотрю и удивляюсь — и откуда это у людей «нового религиозного сознания», как в прессе иной раз называют вольных религиозных философов и поэтов-символистов, такие облики. В академической среде, как и среди писателей-реалистов, группирующихся вокруг горьковского «Знания», ничего подобного нет: все люди, как люди. Если же посадить за один стол Бердяева, Вячеслава Иванова, Белого, Эллиса, Волошина, Ремизова и Кузмина, то получается нечто среднее между Олимпом и кунсткамерой.

Вячеслав Иванов ласково приветствует меня высоким певучим голосом, легко и просто говорит какие-то весьма смуща-

щающие меня лестности и, глубоко заглядывая в глаза клюющим, острым зрачком, усаживается в кресло у своего письменного стола. Без труда завязывается одна из тех пленительновитиеватых бесед о древней Элладе, о Ницше и Дионисе, о новом христианстве, о теургическом искусстве, преображающем мир «выкликанием» и высветлением таящегося в нем Божьего замысла, о символе и аллегории, о манере и стиле, на которые старший мэтр символизма такой несравненный мастер. Вспоминая на путях своих пиршественных раздумий то Платона и Эсхила, то Данте и Шекспира, то Гете и Новалиса, Вячеслав Иванов вполне естественно, как бы по закону учтивой любезности, приветствует своих «вечных спутников» особыми архаизирующими интонациями, то эллинизирующими, то германизирующими жестами языка, тяготеющего в своей русской сущности к древне-славянской тяжеловесности.

Приехав в Петербург дня на два, я прогостила у Вячеслава Иванова целую неделю; до чего широко, радушно, праздно и одновременно полно жили мы в старой России. За это время я познакомился в знаменитой башне с целым рядом значительных людей — с Юрием Верховским, с поэтом-помещиком Бородоевским, с безобидным глашатаем мистического анархизма Георгием Чулковым, идеологии которого Вячеслав Иванов покровительствовал по мало понятной мне причине, с единственным по совершенству своего поэтического дара и по неестественности своей наружности — Кузминым: небольшая изящная фигура торреадора или балетмейстера: узкая голова со старомодными зачесами на висках в стилеalexандровской эпохи; лиловато-розовые, тяжелые, словно фарфоровые веки и в них громадные, печально-светящиеся глаза: «Два солнца, два жерла, нет, два алмаза». (Марина Цветаева).

На одном из вечеров был в гостях начинавший входить в большую моду Алексей Николаевич Толстой с его тогдашней женой Софьей Исаковной. Первою в столовую, где уже сидело много гостей, вошла графиня — красивая черноволосая женщина, причесанная в стиле Клео-де-Мерод, в строгом, черном платье, перехваченном по бедрам расписанным красными розами шарфом. За графиней появился граф — плотный, круто-плечий, породистый, выхоленный и расчесанный, как премированный экземпляр животноводческой выставки. В спадающей на уши парикообразной прическе, в модном в те годы цветном жилете и в каких-то особенного фасона больших воротничках — сознательное сочетание старинного портрета и модного дендизма.

Веселые карие глаза «с наглинкой» жадно шныряют по всему миру: им, как молодым псым — всё интересно. Но вот они делают стойку: Толстой внимательно прислушивается к вспорхнувшей перед ним в разговоре мысли. Из нижней, розово-вистлой части его крупного красивого лица, мгновенно исчезает полудетская губошлепость. Уже не слышно его громкого «бетрищевского» — ха-ха-ха. На лбу Алексея Николаевича появляются складки — он думает: медленно, упорно, туго. Нет, он не глуп, как меня уверяли в Москве, хотя и не мастер на отвлеченные размышления. Думает он, правда, не умом, но думает крепко всей своей утробой, страстями и инстинктами. В нем, как в каждом художнике, сильна память, но не платоновская «о вечном», а биологическая — о прошлом. Когда Толстой разогревается в разговоре, в нем чувствуется и первобытный человек и древняя Россия.

Переехав вскоре после нашего знакомства у Вячеслава Иванова в Москву, Толстые широко и просторно поселились в только что отстроенном, эффектном доме князя Шербатова на Новинском бульваре. В их светлой, обставленной старинной мебелью красного дерева квартире, в особенности, в кабинете Алексея Николаевича, где на низком круглом столике, рядом с пахнущими винной ягодой и мадерой крепкими английскими табаками, лежало бесконечное количество трубок, особенности которых Толстой знал так же хорошо, как художники знают особенности своих карандашей и кистей, быстро закипела шумная, литературно-богемская жизнь. В одну из последних довоенных зим в Москве много говорили о костюмированном вечере у Толстых, на котором соединение дворянско-заводского темперамента хозяина с его хмельными воспоминаниями о монмартрских маскарадах создало такую атмосферу, что даже привыкшие ко всему москвичи ахнули.

В России я видел Толстого в последний раз в тревожный день «Московского государственного совещания». Во время перерыва заседания он почти насильно умыкнул меня к себе завтракать. Ему, очевидно, хотелось поговорить о происходившем и еще предстоящем. Разговор начался уже в пролетке. В этом разговоре Алексей Николаевич поразил меня своим глубоким проникновением в стихию революции, которой его социальное сознание, конечно, страшилось, но к которой он утробно влекся, как к родной ему стихии озорства и убийства. Не вспоминая деталей, я хорошо помню то значение, которое этот разговор имел для меня. Толстой первый по-настоящему открыл мне глаза на ту пугачевскую, разинскую стихию революции, в не-

## МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 1914 г.

дооценке которой заключалась коренная слабость русской либерал-демократии.

Я не склонен идеализировать мотивы возвращения Толстого в 1923-м году из заграницы в Советскую Россию. Очень возможно, что большую роль в решении вернуться сыграл идеологический нигилизм этого от природы весьма талантливого, падкого на славу и деньги писателя. Всё же одним аморализмом толстовской «смены вех» не объяснить. Если бы дело обстояло так просто, мы с женой, только что высланные из России, вряд ли могли бы себя чувствовать с Толстым (к этому времени Алексей Николаевич был женат вторым браком на Наташе Крандиевской) так просто и легко, как мы себя с нимичувствовали накануне их возвращения из Берлина в СССР.

Помню два перегруженных чемоданами автомобиля, в которых Толстой с женой и детьми отъезжал с Мартин-Лютерштрассе на вокзал. Несмотря на разницу наших убеждений и судеб, мы провожали Толстых скорее с пониманием, чем с осуждением.

Мне лично в «предательском», как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстых чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда, весьма, конечно, загрязненная, но всё же не отмененная теми делячески-политическими договорами, которые, вероятно, были заключены между Толстым и Полпредством. Как-никак Алексей Николаевич ехал не на спокойную жизнь, его возврат был большим риском, даже если бы он и решил безоговорочно исполнять все предначертания власти. Мне, по крайней мере, кажется, что сговор Толстого с большевиками был в значительной степени продиктован ему живой тоской по России, правильным чувством, что в отрыве от ее стихии, природы и языка он, как писатель, выдохнется и пропадет. Человек, совершенно лишенный духовной жажды, но наделенный ненасытною жадностью души и тела, глазастый чувственник, лишенный всяческих теоретических точек зрения, Толстой не только по расчету возвращался в Россию, но и бежал в нее, как зверь в свою трущобу. Может быть, я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится, что его возвращение было не только браком по расчету с большевиками, но и браком по любви с Россией.

В последний раз я видел автора «Петра I-го» (замечательная вещь, которую Толстой никогда не написал бы в Берлине) в Париже в 1937-м году, на представлении «Анны Карениной». Самоуверенной осанистости в нем было много меньше, чем раньше; волосы заметно поредели; но главное изменение было

в глазах, в которых мелькал неожиданный для меня в Толстом, страх перед жизнью. На нем был костюм табачного цвета, живо напоминавший гороховое пальто царских охранников. Несмотря на эту ассоциацию, мы встретились по-приятельски.

То, что я пожал руку Толстому, вызвало не только сильный, но даже бурный протест у одного из наиболее идеальных и твердых парижских эсеров. «Если оправдывать Толстого, — говорил он мне через несколько дней в редакции «Современных Записок», — выступающего в России с требованием смертной казни, а в Англии с требованием свободы печати, то кого же в мире можно еще обвинять?».

Как я ни пытался объяснить моему строгому судье, что отказ от предъявления человеку каких-либо нравственных обвинений решительно не имеет ничего общего с его оправданием (скорее уже наоборот), он этого понять не мог и не без труда протянул мне на прощание свою честную демократическую руку.

---

Вскоре после моего первого выступления в Петербурге у меня создалась с этим городом прочная литературная связь, благодаря наладившемуся сотрудничеству в новом толстом журнале, начавшем выходить в 1910-м или 1911-м году. С работой в «Северных Записках» у меня связаны самые светлые воспоминания. Их редакторы — Яков Львович Сакер, курчавый, сутулый человек, и Софья Исаковна Чацкина, нервная изящная женщина, были типичными русскими интеллигентами-общественниками, но одновременно и людьми «нового культурного сознания». Целью своего журнала они ставили сращение умеренного эволюционного социализма с подлинною духовною культурою. Над письменным столом Сакера висел портрет Канта. Душе Софии Исаковны символическое искусство было ближе народнически-направленческой беллетристики «Русского Богатства».

Для осуществления своего издательского плана оба редактора искали новых молодых сотрудников, одинаково далеких, как от снобистического эстетизма «Аполлона», так и от культурного варварства идейной интеллигентчины. К моменту появления Якова Львовича в нашей московской квартире, в небольшом под вековым тополем домике, принадлежавшем М. М. Новикову, последнему ректору московского императорского университета, профессорствувшему ныне в Братиславе, мною было напечатано еще очень немного: тем не менее Яков Львович звал меня

в постоянные сотрудники, прося давать из номера в номер небольшие статьи на общекультурные и литературные темы. Считая себя в то время научным философом, я согласился на предложение Сакера лишь после долгих колебаний и, должен признаться, с не совсем чистою совестью: мне казалось, что регулярная журнально-публицистическая работа помешает быстрой сдаче магистерского экзамена, да и вообще уведет меня в сторону. Ныне я о своем решении не жалею. В той жизни, в которую нас всех ввергла война и революция, в настоящего ученого-исследователя мне всё равно бы не выработаться. Даже и по получении в 1926-м году кафедры социологии в Германии, я отдавал большие силы русской публицистике, чем немецкой науке. Такова уж судьба нашего поколения: когда тебя непрерывно бьют, можно или молиться, или отбиваться, хотя бы и журнальными статьями, но трудно спокойно исследовать или бесстрастно размышлять.

Желая съединить и объединить своих сотрудников, редакция «Северных Записок» устраивала время от времени большие редакционные вечера. Молодое дело велось настолько широко, что приглашались и москвичи: Цветаева, я и другие. Всем нам оплачивалась дорога и пребывание в столице.

Как сейчас стоит перед глазами обставлена со вкусом и с артистической небрежностью небольшая одухотворенная квартира редакции. Недалеко от камина — широкая, покрытая персидским ковром тахта, на которой, щурясь от папиронского дыма и становясь от этого похожей на японку, сидит с виду тишайшая, но внутренне ко всему горячая, Софья Исаковна Чашкина. В 1919-м году я с трудом разыскал ее в Москве в подвале дома писателей на Поварской. Когда я неожиданно вошел к ней, она варила себе какую-то кашицу в выщербленной ночной посуде. Что можно было, мы с женой для нее сделали, но многого сделать было нельзя. Она была душевно уже окончательно надломлена и вскоре умерла.

На собрании сотрудников и друзей «Северных Записок» я познакомился с большим количеством петербуржцев. Больше всех ценимая Софьей Исаковной и ее кругом Анна Ахматова мне при первой и единственной встрече не понравилась. Того большого, глубокого человека, которого в ней сразу разгадал Вячеслав Иванов, я поначалу в поэтичессе не почувствовал. Быть может, оттого, что она как-то уж слишком эффектно сидела перед камином на белой медвежьей шкуре, окруженная какими-то, на петербургский лад, шикарными, перепудренными визитками.

Среди этих выхоленных юношей чужаком мелькал Сергей Есенин, похожий на игрушечного паренъка из кустарного музея: пеньковые волосы, васильковые глаза, любопытствующий носик. В манере откидывать назад голову — «задор разлуки и свободы». Он только еще начинал входить в моду. «Северные Записки» весьма покровительствовали ему.

Не знаю, где я познакомился с Алексеем Михайловичем Ремизовым. Думаю, что скорее всего на тех же собраниях «Северных Записок». Не познакомься я с ним там, я вряд ли решился бы пойти к нему на дом. На дому же у Алексея Михайловича я был и посещение свое помню во всех подробностях. Случилось так, что, подымаясь к нему на лифте, я застрял между этажами и, не зная, что делать, начал громко кричать: «Застрял, Алексей Михайлович, спасите».

Тому, кто никогда не видел Ремизова, описать его внешность, да еще в момент его перепуганного появления у коварного лифта, почти невозможно. Я уже отмечал богатую лепку человеческих обликов на переходе 19-го века к 20-му. Ремизов и среди этого богатства поражал какой-то особой примечательностью. Маленькое сутулое тельце на длинных как у паука ногах, лицо, как будто, и смотреть не на что, а не оторвешься. Мало благообразный, руссейший носик заковыкою, губы — бантником, подстриженные бобриком непокорные волосы торчат какими-то тычинками и рожками; глаза — гляделки в морщинках, но если заглянуть в них поглубже, испугаешься, до того в них много муки и страсти. Странная внешность: если при克莱ить к ремизовскому лицу жидкую бородку — выйдет приказный дьяк; если накинуть на плечи шинелишку — получится чинуша николаевской эпохи; если изорвать его пиджачишко в рубице — Ремизов превратится в юродивого под монастырской оградой...

Кабинетик, в который ввел меня Алексей Михайлович, был единственной в своем роде писательской кельей. Впоследствии, уже в эмиграции, я сиживал в такой же ремизовской келье сначала в Берлине, а потом и в Париже. Вместо обычных книжных полок висели на стенах, прилаженные один над другим и обклеенные золотою, серебряною и голубою бумагою случайные ящики, до отказу набитые старинными изданиями и истрапанными книжenkами. Под потолком из угла в угол тянулись бичевки, целая сеть, на подобие паутины. На бичевках — совершенно уже невероятные вещи: сучки, веточки, лоскутики, палочки, косточки, рыбы скелетики, не то игрушки, не то фети-

ши, разные ремизовские коловертыши, кикиморы, пауки, скрыпники...

Кроме «Пруда» и «Крестовых сестер», я из ремизовских произведений тогда еще ничего не читал, со сказочною мифологией писателя знаком не был и потому смотрел на все его подпотолочные диковины с разинутым ртом. Алексей Михайлович стоял рядом со мною всё еще в том огромном женином платке, в котором он выскочил на лестницу и со странными, на мой тогдашний взгляд, ужимками, подмигами и подхихикиваниями тихонечко рассказывал о своей сновидчески-творческой жизни. Я слушал, внимательно всматривался в мучительно наморщенный лоб Ремизова, но сердцем и фантазией его мира не воспринимал. Окончив свои пояснения, Алексей Михайлович засуетился, застеснялся: «Уж и не знаю, чем вас попотчивать. Поставил бы самоварчик, да жены, Серафимы Павловны, нет, а без нее мне не осилить. Могу пасьянс разложить и, если расстегнете душку, русскими духами надушить».

Раскладывания пасьянса не помню, но разгадывание сна, который мне пришлось наскоро выдумать, и процедуру натирания груди какими-то крепкими, пахнувшими спиртовым лаком духами, которые Алексей Михайлович, если не ошибаюсь, называл ядовито-змеиным именем «скалопендры», на всю жизнь остались в памяти. До сих пор не знаю, с чего это Ремизову пришло в голову угождать меня своим душистым массажем. Всё хотел спросить его, да как-то не спросилось, а теперь боюсь, что и поздно. Война, конечно, когда-нибудь кончится, может быть, через год, может быть, через пять лет, когда — этого сейчас никто не знает. Но восстановится ли для нас, эмигрантов, с ее окончанием свобода передвижения по Европе — еще неизвестно. Может быть, возьмут да и запрут нас, нищих и никому не нужных, по разным странам, как по железным клеткам. Так запрут, что уже никогда большие не увидишь Парижа, не посидишь перед отправкой в последний путь в кругу своих людей, помнящих то же, что помнишь и ты, и на то же, что и ты, уповающих. Стареем мы, редеют наши ряды. Минутами даже самым сильным и благополучным среди нас, становится страшно жить. Каково же должно быть бедному Ремизову? Так и вижу его затравленною, голодною мышью, сидящим в своей комнате вместе со своими «коловертышами» и «сауками». А может быть его там и нету, где мы с женой были у него во время Всемирной выставки в 1937-м году? Как знать, что сейчас делается в Париже, который через несколько дней, вероятно, займут немцы?

Сегодня весь день перечитывал «Взвихренную Русь». До чего же замечательно сделана эта книга, до чего сложно инструментован в ней плач по России, до чего разительно сплетены ее многообразные темы, до чего смело противопоставлены в ней явь и сон, трагические и комические стороны жизни; и, главное, каким она написана своеобразно-изысканным языком! Каждая фраза искуснейше выкованный орнамент, не расплывляемый даже и адским огнем ее самых страшных страниц.

Подобно князю Мышкину, Ремизов большой калиграф, тонкий знаток и любитель старинного, витиеватого росчерка. Живо представляю себе, как он, изловчившись, сидит у своего простого (не письменного) стола и со вкусом выводит: «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». Проблема внутреннего почерка представляется мне одною из основных проблем ремизовского искусства. Он не «нутряной» талант в духе Куприна или Алексея Толстого — он словесных дел мастер, искусствник, стилизатор-орнаменталист, малодоступный широкой читательской публике. В его изысканном стилизаторстве древние мотивы, апокрифы, жития, легенды и сказания причудливо переплетаются с ухищреннейшими литературными приемами современного умного упадничества.

Хотя, быть может, и обидится на меня Алексей Михайлович, а всё же скажу, что его искусство не на древнем корню цветет, а лишь к своему древнему корню тянется. Много в этом искусстве чудесного, но много также и чудного и чудачествующего, как бы на сцене перед самим собою со смаком разыгрываемого (Алексей Михайлович большой актер и прекраснейший чтец). За многими страницами Ремизова во мне не раз подымалось желание, чтобы перестал он, наконец, сечевивать свою великую боль о человеке, свой испуг перед жизнью, свою пламенную горькую страсть и свое щекочущее сладострастие, которого в нем больше, чем в ком бы то ни было, из фигурного крантика своей точеной фразы, а ринул бы всё это прямо мне в душу вольным и бурным потоком.

Но не хочу критиковать, каждому свое; и Ремизову, тонкому знатоку и сознательному обогатителю «великого, могучего, правдивого и свободного русского языка», за все его древние слова и затейливые словечки не только спасибо, но слава и честь. Настоящих, природных писателей, огненных душ, горячих словолюбов становится с каждым годом всё меньше и меньше...

«Северные Записки» были, как все толстые русские журналы, журналом не только литературным, но, как я уже писал, и общественно-политическим. На редакционных раутах бывали поэту и политики. Близким другом редакции был Григорий Адольфович Ландау. Природа наделила Григория Адольфовича блестящими дарованиями, но жизнь жестоко насмеялась над его даровитостью: то немногое, что он написал, мало до кого дошло и мало на кого произвело должное впечатление. Помню, с каким захватывающим волнением читал я в галицийском окопе только-что появившуюся в «Северных Записках» статью Ландау «Сумерки Европы». В этой замечательной статье было уже в 1914-м году высказано многое, что впоследствии создало мировую славу Ос瓦альду Шпенглеру. Появившаяся в берлинском издательстве «Слово» в 1923-м году под тем же заглавием большая книга Григория Адольфовича, полная интереснейших анализов и предсказаний, так же прошла незамеченной в эмиграции. Мои хлопоты о ее переводе на немецкий язык ни к чему не привели — и это в годы, когда на немецкий язык с русского переводилось все, что попадалось под руку.

Причину этой литературной неудачи Григория Адольфовича надо прежде всего искать в том, что он был чужаком решительно во всех лагерях. Русская лево-прогрессивная общественность не принимала его потому, что, по ее мнению, русскому еврею надлежало быть, если и не социалистом, то, по крайней мере, левым демократом. Ландау же был человеком консервативного духа. Чужой в лево-интеллигентских кругах германофил, он не был своим человеком и среди либерал-консерваторов, убежденных сторонников союзнической ориентации. Но и германофилы были не по душе Григорию Адольфовичу, так как в годы войны германофильство процветало у нас в лагере крайних реакционеров-антисемитов, или в лагере большевиков-пораженцев. Ни с марковцами, ни с ленинцами у Ландау не могло быть ничего общего.

Известно, что посетивший Россию Андрэ Жид пришел в ужас от большевицкого конформизма. Что говорить, советский конформизм вещь страшная. Но пример Ландау учит тому, что требование конформизма было не чуждо и нашей свободолюбивой интеллигенции. Чужаков, не исполняющих ее социального заказа, и она безжалостно заклевывала.

В последний раз я видел Григория Адольфовича в Берлине уже после издания нюренбергских законов о положении евреев в Германии. От блестящего, несколько даже налмеченно-

го по виду молодого человека, с которым я познакомился в Петербурге, почти ничего не осталось. Полинял Григорий Адольфович, вытерся вместе с бобровым воротником своей шубы. Светлый взор отяжелел мутным оловом. Поредели и поседели виски. Видно было, что и костюм и галстук были выбраны давно обнищавшей рукой. Прежними были лишь гордый откид головы, тихий голос и горькая ирония у рта. Встреча была мимолетной. О больном вопросе не говорили, но боль, пронзительная, нечеловеческая боль чувствовалась и без слов...

---

Всплывающие в памяти, в окружении писателей и поэтов, образы политиков невольно наталкивают на вопрос о социологическом базисе описываемого мною культурного перелома России. Осветить этот важный вопрос на основе личных воспоминаний мне не под силу. Могу сказать лишь одно. Уже задолго до войны все политически сознательные люди жили, как на вулкане: возобновившаяся в 1902-м году кровавая тяжба власти и общества (в 1902-м году — убийство Сипятина, в 1904-м — убийство Плеве, в 1905-м — убийство великого князя Сергея Александровича и расстрел гапоновской рабочей депутатии по пути к Зимнему дворцу) лишила жизнь всякого чувства устойчивости, всякой веры в возможность каких бы то ни было прочных расчетов и планов.

Со смертью Столыпина даже и в консервативных кругах исчезла надежда, что власть как-нибудь справится со своею «историческою задачею». Во всем чувствовался канунный час. Всем было ясно, что Россия может быть спасена только радикальными и стремительными мерами. Но на такие меры власть была окончательно неспособна. Тень себя самой, изнутри безвольная, а потому и во вне бессильная, она, словно тяжело больной, лихорадочно металась от либеральной подачки к реакционной урезке и обратно.

После объявления пробной мобилизации в 1912-м году стало совсем страшно. Показавшийся на горизонте призрак войны сразу же приблизил революцию. «Эти ужасы, — записывал Блок в своем дневнике, — вьются кругом меня всю неделю, отовсюду появляется страшная рожа, точно хочет сказать: Ах, ты вот какой? Зачем ты наряжен? Думаешь, делаешь, строишь зачем?».

На это «зачем» у широких кругов русского общества не было ответа ни в уме, ни в сердце. Зародившийся после кру-

шения 1905-го года дух уныния, о котором я уже писал выше, с каждым днем всё шире и шире располжался по России душным, ядовитым туманом. Не только в обывательских кругах, но и в придушенной тяжелою реакцией партийной среде слагалось непреоборимое ощущение: «Ничего не поделаешь, идем к гибели».

В моей, несклонной к унынию, душе эти растлевающие жизнь настроения, которые так сильны в лирике эпохи, возвинкли впервые, когда мне, выросшему в деревне, весною 1912-го года, после долгого перерыва, пришло с снова соприкоснуться с нею.

Так же, как некогда, в Кондрое бежали по буро-навозному подмосковному шоссе ковровые деревенские санки. Кое-где по сторонам влажно чернели голые деревья. От деревьев на уже рыхлый ноздреватый снег узорчато падали синие тени. С искрящихся на солнце сосулек весело капала капель. На маслянистых навозных кучах копались куры и, хлопая крыльями, перекликались красные петухи.

Продающиеся усадьбы, которые я ездил осматривать вместе с родителями жены, собиравшимися купить небольшое имение, показывали обыкновенно пожилые, на вид степенные мужики, которых крестьяне, стекавшиеся посмотреть на приезжих, кое-где по старине еще называли бурмистрами.

Стоило, однако, после осмотра имений (в большинстве случаев помещики в них уже не жили) по душам разговориться с патриархальными на вид управляющими и крестьянами, чтобы сразу же почувствовать, что былой деревни уже нет. В 1912-м году за всеми продажами имений стоял 1905-й год: помещичье безденежье, крестьянское нежелание работать на дармоедов, предчувствие новых революционных вспышек. Да и как было их не предчувствовать после знаменитого крестьянского съезда 1905-го года, на котором деревенские депутаты так прямо и заявили: «Не было ни одного случая насилия: били только помещиков и их управляющих, да и то только в том случае, если они сопротивлялись».

Было ли создавшееся накануне войны положение, по существу, столь безвыходным, каким оно оказалось, не в последнюю очередь потому, что уж очень простым представлялся выход из него той свободолюбивой интеллигенции, которая одна только и могла спасти Россию? Обладай она более глубоким чувством трагической сущности истории, более глубоким пониманием греховной природы всякой власти, не думай она в своем просвещенском оптимизме, что достаточно введения ответствен-

ного перед народом министерства, чтобы всё сразу пришло в порядок, она, быть может, и нашла бы в себе мудрость дальнейшего претерпения безвольной и безыдейной, но далеко не такой кровавой, как то казалось нашей общественности, власти, которая одна только и могла довести войну до приемлемого конца и на тормозах спустить Россию в новую жизнь. Но в том-то и дело, в том-то и горе, что этой возможности в прогрессивном лагере никто не чувствовал. Десятилетиями обострявшаяся борьба между правительством и обществом приняла во время войны столь острые формы, что ни у кого не было сомнений в том, что, свергнув монархию, общество сумеет спасти Россию.

Как иначе понять, как объяснить знаменитую фразу Миллекова, сказанную им после опубликования манифеста 17-го октября 1905-го года: «Ничего не переменилось, война (с правительством) продолжается». И таких фраз было в свое время произнесено не мало. «Зачем говорить о возможности столкновения общества и власти», — витийствовал любимец публики Родичев, «голосу веления народного ничто не может противостоять. Нас пугают столкновением. Чтобы его не было — одно средство — знать, что его не может быть: сталкивающиеся с народом будут столкнуты силою народа в бездну».

Какой легкомысленный, банкетно-риторичный звон! А ведь и он выслушивался всеми нами чуть ли не со слезами на глазах. Что говорить: героичности, жертвенности, вдохновения, дара борьбы в русской интеллигенции, как либеральной, так, в особенности, и социалистической, было хоть отбавляй; зато трезвости, деловитости, политического глазомера — мало. Я знаю — всё это было уже не раз сказано, но это меня не смущает; есть истины, которые необходимо неустанно повторять себе и и другим.

С эмигрантской памятью трудно бороться: самое отчетливое сознание своих ошибок в прошлом не убивает в душе зачарованности им. Не будем слишком строги к своей памяти: без прикрашивания прошлого многим из нас не вынести бы своего настоящего. Но не будем также и поддаваться обманчивым воспоминаниям: в малой доле яд целебен, в большой — смертоносен. Скажем потому просто и твердо: хорошо мы жили в старой России, но и грешно. Если правительство и разлагавшиеся вокруг него реакционные слои грешили, главным образом, «любоначалием», т. е. похотью власти, либеральная интеллигенция — «празднословием», то описанные мною в этой главе круги

повинны, говоря словами всё той же великопостной молитвы Ефрема Сирина, двуединым грехом «праздности и уныния».

Дать людям, рожденным после 1914-го года, правильное представление об этом грешном духе, об его тончайшем аромате и его растлевающем яде, нелегко. Дух праздности, о котором говорю, не был, конечно, духом безделья. Наша «праздность» заключалась не в том, что мы бездельничали, а в том, что убежденно занимались в известном смысле всё-же праздным делом: насаждением, хоть и очень высокой, но и очень мало связанный не только с «толщью» русской жизни, но даже и с господствовавшей до тех пор в интеллигентской России образованностью, культуры.

Многие это чувствовали, томились этим. В том числе всё тот же Александр Блок. «Пишу я вяло и мутно, как только-что родившийся. Чем больше привык к красавостям, тем нескладнее выходят размышления о живом, о том, что во времени и пространстве. Пока не найдешь действительной связи между временным и невременным, до тех пор не станешь писателем не только понятным, но и кому-либо и на что-либо, кроме баловства, нужным». Точнее сказать трудно: «праздность» культурной элиты канунной России заключалась, конечно, лишь в том, что, занимаясь очень серьезным для себя и для культуры делом, она, с социологической точки зрения, занималась всё же «баловством».

Вверх по Дмитровке тянутся высокие (собственные) и низкие (извозчики) санки. Озябшие ноги седоков невольно пляшут под полостями в сыром сене. В шею теплым дыхом пышут ноздри насидающей сзади «резвой». Вот во дворе за оградой показывается двухэтажный востряковский особняк, в котором помещается «Литературно-художественный кружок» и собирается «Общество свободной эстетики».

В тепло натопленной просторной передней приятно пахнет надушенными женскими шубками. У больших зеркал, привычно поправляя прически и глубоко заглядывая самим себе в глаза, охораниваются московские дамы, любительницы литературных мод и модных талантов. Они возбуждены. Предстоит бой символистов с футуристами. Он будет, пожалуй, еще горячее, чем бурная встреча символистов со «знаньевцами», общественниками-натуралистами: от людей, ходящих днем по улицам в шириндрах и длинных цветных кофтах, можно всего ожидать. Особенно интересует вождь футуристов «смышеный малый Мая-

ковский, который кофточкой — цвет танго — наделал бум из ничего».

Толпа, среди которой мелькают знакомые лица, медленно подымается по устланной ковром лестнице мимо — Боже, до чего-же памятных — портретов Серова. Вот Ермолова в ее характерной, исполненной сдержанного движения позе. На ней до верху закрытое черное бархатное платье с треном. Гордая голова вдохновенно откинута назад. Вот-вот она сдвинется с места, вплотную подойдет к своему партнеру по сцене, исповеднически подметет кверху правую руку и тихо начнет своим низким, глуховатым, но проникновенным голосом один из тех возвышенных монологов в защиту справедливости и свободы, которыми она неизменно потрясала наши сердца.

Где-то неподалеку портрет Шаляпина. Певец изображен малоголовым долговязым парнем с капризно-печальным лицом и хмельно нависшими на лоб вихрами. Мягкая рубашка, жилет и галстук как-будто из-под смокинга, но с плеч спадает двуполый сюртук, сидящий на манер поддевки. Да, Серов умел разгадывать людей.

Несколькими ступеньками выше нас с женой осанисто колышет вверх по лестнице свои барские дородности граф Алексей Николаевич Толстой. Рядом с ним пружинисто шагает талантливый художник Жорж Якулов, похожий на Фавна армянин, в долгохвостой визитке и лаковых штиблетах. Приятелям весело. Ха-ха-ха-ха... могуче разносится всхрапывающий смех Толстого. Но вот происходит какое-то непонятное замешательство: почти одновременно раздаются испуганный женский возглас, чей-то звонкий смех и возмущенные голоса. Оказывается, Алешка Толстой, как его называли в приятельской компании, почувствовал себя легавою собакою и, крикнув самому себе «пиль», схватил подымющуюся перед ним даму за ее розовые гусиные лапки...

Зал постепенно наполняется живой говорливой публикой. Вокруг известных московских «прелестниц», как говорили в начале прошлого века, выются знаменитости: писатели, художники, музыканты, актеры, психиатры, адвокаты — почти все в сюртуках. Королями ходят по залу газетные критики. В отличие от советских и гитлеровских писак, обязанных расхваливать всё, что наполняет кассы государственных и городских предприятий, они чувствуют себя неподкупными олимпийцами.

Кое-где видны мундиры аполитичных студентов-культурников, «белоподкладочников». Во всех рядах много одевающихся под Айседору Дункан изломанных «пластических девиц».

Опытному глазу сразу заметны сговаривающиеся друг с другом представители оппозиционных литературно-мировоззрительных группировок. Вот вождь имажинистов — наглоликий, лопоухий и щегольски вылощенный Вадим Шершеневич, специалист по зычному прорезыванию своим громадным, резко-металлическим голосом несущегося к эстраде шума и свиста своих оппонентов. Рядом с ним Маяковский:

«Превыше крестов и труб,  
Крещеный в огне и дыме,  
Архангел — тяжелоступ,  
Здорово в веках, Владимир.  
Он возчик и он же конь,  
Он прихоть и он же право.  
Вздохнул, поплевал в ладонь:  
— Держись, ломовая слава»...

(Цветаева).

В то время как в кулуарах организуется оппозиция, на эстраде, обмениваясь улыбками и рукопожатиями, уютно рассаживаются вокруг длинного зеленого стола общепризнанные представители уже выкристаллизовавшихся литературных школ и направлений. Когда этого требует тема доклада, к членам правления «Кружка» в качестве заранее приглашенных оппонентов подсаживаются то философы, то музыкальные или театральные критики. Докладов и лекций без прений Москва, как я уже отмечал, не любила. Мысль в отрыве от страстной борьбы противоположных мнений ее не зажигала. Отсюда и русская любовь не только к публичному обсуждению всевозможных, в особенности, нравственно-религиозных и общественных вопросов, но и к бывшим накануне войны в большой моде постановкам литературно-судебных процессов. Эстрадные суды над «Екатериной Ивановной» Леонида Андреева, с назначением прокуроров, защитников и присяжных заседателей из среды литераторов, неизменно собирали, как в столицах, так и в провинции, мало взыскательную, но очень большую публику.

Собрания Литературно-художественного кружка были, как по своим темам, так и по своему уровню весьма различны. Когда на эстраде появлялись представители революционных течений в искусстве, прения превращались в настоящие скандалы, доходившие другой раз чуть ли не до драки. В своих воспоминаниях Белый сам рассказывает о том памятном вечере, на котором его и его приверженцев кто-то обозвал «лучезарными щенками», а он своих оппонентов «обозною сволочью символизма».

Эти бурные вечера были не худшими в «Кружке». Несмотря на то, что они зачастую пророчески омрачались отчасти искренним, а отчасти наигранным революционным хулиганством, в них всё же кипели не только настоящие страсти, но и весьма существенные мысли. Много хуже бывало, когда на кафедру выползал какой-нибудь патентованный пошляк, специализировавшийся на доходных лекциях о самоубийствах среди молодежи или о половом вопросе.

По окончании прений, в то время, как широкая публика, оживленно беседуя, покидала востряковский особняк, члены «Кружка» шумно и весело, с тем особым московским душевно-утробным подъемом, который так хорошо описан Буниным в «Иде», рассаживались вокруг столиков светлого клубного ресторана. После ужина кое-кто уходил в устланые зеленым сукном, залитые зеленоватым светом и заставленные сплошными стеклянными шкафами библиотечные комнаты, а кое-кто к зеленым столам игорного зала — попытать свое счастье. К двенадцати ночи, а то и позднее, подъезжали только что отыгравшие актеры со следамиспешно смытого гримма на выразительных обвислых лицах. Весело засовывая подкрахмаленные салфетки за крахмальные воротники, они со страстью набрасывались на водку и закуску. Такой постоянной готовности есть, пить, громогласно каламбурить и ухаживать, какою обладали почти все наши лицедеи, в других слоях общества и в других странах я не встречал. Несмотря на то, что все они страдали всевозможными ожирениями и не могли начать сезона, не побывав на курортах, они обладали совершенно несокрушимым физиологическим оптимизмом. Помню ночные блины у М. Ф. Ленина, начинавшиеся в полночь и кончавшиеся в три часа утра. Как можно было после таких блинов спать и как ни в чем не бывало в 10 утра быть уже на репетиции, одному Богу известно. Но ничего, удавалось, причем не раз и не два, а целую неделю подряд.

«Кружок» был, если так можно выразиться, как бы выставочной витриною нарождавшейся накануне войны новой русской культуры. На его шумных заседаниях последовательно отстаивали себя против более старых течений в искусстве и философии символисты, акмеисты, имажинисты и кубисты. Характерно, что вся левая общественность и критика огулом считали новое революционное искусство реакцией, изменою общественно-прогрессивной традиции идеального русского творчества. Позиции, занятые после октябрьского переворота защитниками нового художественного сознания и представи-

телями традиционного русского натурализма, доказали обратное. Бунин, Куприн, Арцыбашев, Андреев, Чириков, Зайцев — обернулись в эмиграции непримирами «белогвардейцами»: «Нет, не принять грядущей нови в ее отвратной наготе». Блок же, Белый, Брюсов, Маяковский, Есенин — каждый по-своему, т. е. со своими оговорками, приняли революцию и пошли с большевиками. Развивать эту большую тему здесь не место. О ней речь еще впереди.

В том же особняке, в котором помещался «Литературно-художественный кружок», заседало и «Общество свободной эстетики». Если «Кружок» был витриною новой литературы, то «Общество свободной эстетики» было скорее ее лабораторией. На сравнительно малолюдные собрания этого общества собиралась только своя, частично весьма снобистическая публика. Здесь корифеи «символизма» читали свои новые стихи и более утонченно, чем в «Кружке», развивали свои новаторские теории. Здесь же интимно принимались иностранные писатели и художники — комбатанты нового, революционного искусства. Помню выступление Верхарна, Матисса и Маринетти. Не знаю, какое впечатление вынесли от своего посещения Москвы иностранные гости, но думаю, что они вернулись домой с головами, вскруженными не только заморскими винами и русскими водками, но и чрезмерно сложными русскими теориями апокалиптической историософии и теургического искусства. Русская мысль была, в сущности, всегда мало доступна людям романской культуры.

Борьба французских и немецких влияний за душу России не играла в начале текущего века той роли, что в 30-х годах прошлого, когда за нее в западническом лагере боролись фурьеристы и вольтерианцы, а в славянофильском приверженцы немецкой романтики. Но всё же русские символисты, как я уже отмечал, отчётливо делились на гётеанцев и бодлэрианцев, а знатоки и любители новой музыки — на поклонников Николая Медтнера и приверженцев барона Петра Ивановича д'Альгейма, мужа незабвенной Марии Алексеевны Олениной д'Альгейм.

Кто не помнит ее концертов сначала в Малом зале «Благородного собрания» и потом в собственном помещении, созданного ею и мужем “*Maison de l'ied*”! Она пела не только на всех европейских языках, не исключая еврейского жаргона, но и из глубины всех народных душ. Если бы дух ее концертов когда либо в будущем мог стать духом новой «Лиги наций», Европа была бы спасена.

Мария Алексеевна никогда не была первоклассной певицей (у нее был небольшой и не безусловно приятный голос), не была она и первоклассной эстрадной актрисой в духе Шаляпина, но она была настоящею «жрицей» искусства в полном смысле этого большого слова. Несмотря на то, что Мария Алексеевна была весьма самостоятельной личностью, она на эстраде производила впечатление медиума. Для людей, близко знавших чету д'Альгейм, это неудивительно. Для них не тайна, какую громадную роль играл в творчестве своей жены Петр Иванович. Даже песни Мусоргского были «kreированы» этим гениальным французом, всю жизнь искавшим новый образ синтетического искусства. Не смею утверждать, но думаю, что Скрябин эпохи «Экстаза» и «Прометея» был бы невозможен без влияний и внушений д'Альгейма.

Ближе я познакомился с Петром Ивановичем по несколько странному поводу. В заштатном театришке, помещавшемся в одном из переулков Тверской, шли гастроли какой-то японской труппы. Петр Иванович одним из первых полетел смотреть «восток», который он хорошо знал и очень любил. Вернулся он, как мне рассказывал мой брат, годами перелистывавший ноты аккомпаниатору Марии Алексеевны, Богословскому, в полном восторге. Во главе труппы оказалась гениальнейшая, по мнению Петра Ивановича, актриса, достойная того, чтобы ее увидала и оценила вся театральная, художественная и литературная Москва. Мысль о всемосковском показе Гонако Отто, этой «японской Дузе» (гораздо более известная в Европе Садо Якко была, по мнению д'Альгейма, всего только японскою Сарой Бернар), с такой силой захвatiла Петра Ивановича, что он сразу же решил взять всю организацию дела в свои руки. Чисто технические вопросы разрешались без труда, но надо было еще найти человека, который мог бы правильно «подать» искусство японской актрисы московской публике. По замыслу Петра Ивановича было необходимо до поднятия занавеса сказать несколько убедительных слов на тему о религиозных истоках театра и, связав эту тему с темою двух культур, восточной и западной, кратко охарактеризовать игру японской актрисы, как редкостное по своей глубине откровение религиозной души востока.

Почему Петр Иванович остановил свой выбор на мне, я не знаю. Я был к этой задаче мало подготовлен, но он убедил меня, что я выполню ее в совершенстве. Помню, как нежно щуря свои голубовато-серые глаза под темно-синим беретом и попыхивая короткой трубкой, он внушал мне свои заветные мысли. Заручившись моим согласием, Петр Иванович тут же снабдил меня

книгами и рисунками и сразу же назначил первую репетицию литературно-музыкального «оформления» спектакля, как говорят в советской Москве, в доме широко известного в свое время всей передовой России профессора Тарасевича, бессменного председателя съезда «Пироговского общества».

Тарасевичи и д'Альгеймы были закадычные друзья. Их соединяли светлые юношеские воспоминания о Париже, страстная любовь к искусству, главным образом, к музыке, и какое-то особое, высокое «пиршественное», в платоновском смысле этого слова, ощущение жизни.

После концертов Марии Алексеевны в на редкость радушный, артистически беспечный дом Тарасевичей, к заставленному цветами, фруктами и винами столу почти всегда собиралось довольно большое общество. Случалось, что после оживленных разговоров и страстных споров между Петром Ивановичем, Белым, Медтнером, Рачинским и очаровательно заикающимся, тишайшими Петровским, Мария Алексеевна подходила к роялю, чтобы показать, как они с мужем задумывают исполнение какой-нибудь новой, находящейся еще в работе вещи.

Лишь много лет спустя узнал я, что в душе профессора Тарасевича не всё обстояло так благополучно, как оно казалось наполнявшим его дом друзьям и знакомым. Всё чаще и чаще заговаривал он о том, что надо энергично прекратить рассеянную жизнь, собраться с силами и засесть, наконец, за науку, чтобы успеть перед смертью завершить работу, так блестяще начатую под руководством Мечникова в Пастеровском Институте в Париже. Мечте Льва Александровича не суждено было осуществиться. Артист в душе, еще молодым ученым не доведший до конца с трудом наложенный научный опыт ради замечательной постановки «Тристана» в Миланской опере, и горячий общественник по темпераменту и воспитанию, он при всем желании не мог переменить стиля и перестроить обихода своей жизни.

В связи с неудачною борьбою Тарасевича за науку можно было бы, опираясь на целый ряд русских социологов и философов — Герцена, Михайловского, Толстого, Бердяева и других, написать поучительное исследование борьбы дилетантизма и профессионализма в русской культуре 19-го века.

Трагедии духовной скучности и профессиональной узости Россия почти не знала. Обратная же трагедия — трагедия слишком щедро отпущеных даров и связанного с этой щедростью

дилетантизма — была уделом многих крупных дарований. Причем все мы как-то не замечали, что профессиональная узость уродует, главным образом, отдельные жизни и души, дилетантизм же, создавая иной раз весьма яркие личности, неизбежно губит всякое «общее дело», требующее в нашу техническую эпоху дисциплинированного труда и специализации. Думаю, что одну из главных причин большевицкой победы над Россией и причиненного большевизмом России зла, надо искать в том беспшибашном дилетантизме, с которым ленинцы подошли к осуществлению своей социальной утопии.

Вспоминая царившие в предвоенное время среди культурной элиты России настроения и идеи, нельзя не уделять особого внимания тому хаосу и распаду, что господствовали у нас в сфере любви и семьи.

Высказанная Белым в третьем томе его воспоминаний мысль, что образ столяра Кудеярова («Серебряный голубь»), главы «голубиной секты» и сожителя «духини» Матрены, представляет собою как бы прообраз Распутина, кажется мне очень верною. Нет сомнения, что «распутиновщина» появилась в России задолго до Распутина. Вероятно, сам Белый только потому и рассыпал в подмосковном селе Целебееве мистически-эротически-революционное созвучие кудеяровской распутиновщины, что тот же аккорд уже годами растлевал душу интеллигентски-писательской среды.

Несмотря на то, что в свете грозных событий 1905-го года уже ясно обозначился грозящий срыв в пропасть, передовая Россия безудержно крутилась в каком-то напрягающем нервы, но расслабляющем волю похмелья. Как раз в те годы в Москве один за другим вырастали новые и расширялись старые рестораны и кафэ. В пику французски-фрачному Эрмитажу и старорязането-купеческому Тестову, в самом центре Москвы на Арбатской площади отстроилась полюбившаяся москвичам «Прага». В ней, овеянной печальными воспоминаниями о революционно-банкетной кампании в эпоху Первой Государственной Думы, чаще чем в других ресторанах собиралась богемно-купеческая и артистическая Москва. Чем страшнее становилась жизнь, тем больше «голубков» высыпало к полуночи на Арбатскую площадь экипажное заведение Туркина, тем длиннее становился хвост высокосаночных лихачей у подъезда «Праги».

Ночь за ночью неслись, бывало, по бледно-сиреневой, под электрическими шарами, Тверской в снег и мглу занедевелых

аллей Петровского парка лихие ковровые санки со щитками, похожими на перевернутые паруса и с затейливо-фигурными посеребренными отводами.

Каким-то экзотическим цветком распускался здесь, в морозных снегах, не один ресторан: негр в красной ливрее, пальмы, нудь, стон и страсть сладостно-тлетворного «танго», в перепуск с более родной, в Грузинах на Сенной площади зародившейся, старомосковской цыганциной:

«Перебой и квинта вновь  
Ноет-завывает,  
Приливает к сердцу кровь,  
Голова пылает.

Чибирияк, чибирияк, чибирияшенька,  
С голубыми ты глазами, моя душенька».

Не будем обманываться: по своим ритмическим перехватам буйные, хмельные, но, в сущности, трагически-чистые слова, вошедшей как раз перед войной в большую моду «цыганской венгерки» слушались кутившей в Стрельне и у Яра московской публикой совсем не в тех чувствах, в которых их некогда пел Фету злосчастный Аполлон Григорьев и в каких их — еще и в конце 19-го века слушала на Нижегородской ярмарке полная рогожинских страстей серо-купеческая и провинциально-дворянская Россия.

В Москве начала века, в среде меценатствующего купечества, краснозвонных присяжных поверенных, избалованных ласкою публики актеров, знатоков загадочных женских душ и жаждущих быть разгаданными женщин, в среде литераторов, поэтов и художников нашей «полумиллионной и полубогемной», ныне живущей, завтра сходящей Москвы», вместо стихии уже давно царствовала психология, вместо страстей — переживание, вместо разгула — уныние. Головы скорее фантазировали, чем пылали, а к сердцу приливалась не кровь, а сгущенный шартрёзом и бенедиктином «клиоквенный сок» блоковски-мейерхольдовских мистиков.

Под несущиеся с эстрады исступленно-скорбные рыдания:

«Басан, басан, басана,  
Басаната — басаната,

Ты другому отдана,  
Без возврата, без возврата.

Что за дело — ты моя,  
Разве любит он, как я?»

растленные сладостною мертвечною брюсовской эротики, расчесанные, напомаженные юноши томно цедили в русалочки души своих кутающихся в надушенные меха красавиц совсем не григорьевские строки своего «мэтра»:

«Идем свершать обряд не в страстной, детской дрожи,  
А с ужасом в глазах извины губ свивать,  
И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе,  
И ждать, что страсть придет, незваная, как тать»...

Как ни остры были яды брюсовской эротики, в особенности по сравнению с популярной среди чтецов-декламаторов и армейских подпоручиков «балльмонтиадой»:

«Хочу быть дерзким,  
Хочу быть смелым,  
Хочу одежды с тебя сорвать»...

они всё же действовали далеко не так сильно, как отрава «блоковщины».

Над сложным явлением «блоковщины» петербургской, московской, провинциальной, богемной, студенческой и даже гимназической, будущему историку русской культуры и русских нравов придется еще много потрудиться. Ее мистически-эротическим манифестом была «Незнакомка»:

«И медленно пройдя меж пьяными,  
Всегда без спутников, одна,  
Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна.

И веют древними поверьями  
Ее упругие шелка,  
И шляпа с траурными перьями,  
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,  
Смотрю за темную вуаль,  
И вику берег очарованный  
И очарованную даль»...

Эти медленно-певучие строки с такою магическою силою захватывали наши души, что даже и наиболее чуткие среди нас не замечали в них кощунственного слияния тоски по «Прекрасной dame», которую, благословленный на путь своего художественного служения самим Соловьевым, Блок воспевал в своих ранних стихах, с наркотически-кабацкой эротикой, что перед самой войной доводила до исступления многотысячную публику Вергинского, с монотонно-сомнамбулическим сладострастием распевавшего по эстрадам свою знаменитую песенку: «Ваши пальцы пахнут ладаном»...

До чего велика, но одновременно мутна и соблазнительна была популярность Блока, видно, между прочим, и из того, что в то время, как сотни восторженных гимназисток и сельских учительниц переписывали в свои альбомы, внущенные Блоку просительной ектенией, строки:

«Девушка пела в церковном хоре  
О всех усталых в чужом краю,  
О всех кораблях, ушедших в море,  
О всех, забывших радость Твою»...

проститутки с Подъяческой улицы, гуляя по Невскому с прикрепленными к шляпам черными страусовыми перьями, рекомендовали себя проходящим в качестве «Незнакомок».

Будь этот эротически-мистический блуд только грехом эпохи, дело было бы не страшно. Страшно то, что он в известном смысле был и ее исповедничеством. Замечание Достоевского, что русская идея заключается в осуществлении всех идей, верно не только по отношению к общественной, но также и к личной жизни. Ходасевич правильно отмечает в своем «Некрополе» тот факт, что люди, в особенности женщины декадентской среды, так же, как в свое время и народовольцы, не признавали расхождения слова и дела. Требуя, чтобы романы развивались в жизни так же последовательно, как в книгах, они во всем смело шли до конца, превращая тем самым эстетический канон искусства в нравственный закон. Стыдно вспомнить, сколько все мы в свое время говорили о том, что любовь, как

соната, должна строиться на борьбе двух тем, что все измени Дон-Жуана свидетельствуют лишь о его верности образу «вечной женственности», что трагедию любви нельзя смешивать с неудачною любовью, ибо как в искусстве высшими формами являются не назидательная басня и натуралистический роман, а лирическое стихотворение и трагедия, так и в любви исполненной вечности, миг — всё равно счастливый ли или несчастливый — значительнее долгих лет обыденного брака.

Забота о постижении вечности в любви тяготила, впрочем, немногих. Для большинства соловьевски-блоковская тема «вечной женственности» была лишь литературною фразою, не связанной ни с каким личным опытом. Зато с невероятно быстрою размножались эстетствующие чувственники, проповедники мгновений и дерзаний. Этот кульп, певцом и жрецом которого был Валерий Брюсов, стоил его адептам многих мук и многих жертв.

Помню волнение, разговоры и догадки по поводу самоубийства поэтессы Н. Львовой. Рассказывали, что перед тем, как застрелиться, она по телефону просила Брюсова приехать к ней, но он отказался и будто бы даже посоветовал ей застрелиться из того револьвера, который он ей в свое время подарил. Верно ли всё это или нет, не знаю; в конце концов, эти подробности и не важны. Достаточно показателен тот факт, что вскоре после самоубийства близкой ему Львовой, Брюсов за ужином в «Литературном кружке» читал посвященные новой встрече стихи, начинавшиеся с призыва:

«Мертвый в гробе мирно спи,  
Жизнь пользуясь живущий»...

Вот уж именно:

«Всё в жизни, быть может, лишь средство  
Для ярко-певучих стихов»...

Как ни страшна была атмосфера в Москве, она в некоторых кругах Петербурга была еще страшнее, еще тлетворнее.

Здесь все художественные и религиозные вопросы горели каким-то особенно чадным пламенем; милейший Георгий Чулков проповедывал мертворожденный мистический анархизм; пламенный, но холодный, как пожар за стеклом, Мережковский безответственно призывал к социально-политической революции во славу «Третьего Завета», а «епископесса» З. Гиппиус «благо-

словляла собравшихся лорнеткою и миропомазывала перчаткой». (Белый).

В одном из салонов, как рассказывает Белый, дело дошло до того, что охваченная мистическим экстазом публика на раздущное приглашение хозяйки выпить чаю, вдруг хором воскликнула: «Чаем, чаем Христа грядущего».

Этот кощунственный возглас не стоило бы и вспоминать, если бы он не имел поистине символического значения для всей предреволюционной эпохи. Всюду, где жизнь обывательски предлагала выпить стакан чаю, ей в ответ неслись всевозможные чаяния «всемирной социальной революции», чаяния «совершеннейшей в мире либерально-демократической республики», чаяния «облика вечной женственности в розоперстых закатах» и т. д. и т. д. — всего и не перечтешь; всюду господствовало одно и то же: безудержность, беспочвенность, безмерность:

«Над бездонным провалом в вечность,  
Задыхаясь, летит рысак».

---

Чудом перемахнув через бездну большевицкой революции, мы очутились в Западной Европе. Большинство описанных мною философов, писателей, журналистов, политиков и всяких иных известных и незаметных деятелей русской культуры оказалось в Париже.

Чуть ли не ежегодно наезжая из Германии, где я в 1926-м году получил профессуру, в Париж и постоянно встречаясь там со старыми московскими знакомыми, мы с женою невольно воспринимали русскую жизнь Парижа, как эпилог нашей московской довоенной жизни. Что говорить, парижская эмиграция не горела тем чистым ярким пламенем, к которому ее обязывало страдание родины. Были и чад, и тоска, и злоба, и уныние. Но всё же нельзя отрицать, что в нищей, неприкаянной эмиграции совершался процесс покаяния и духовного отрезвления.

В то время, как чисто политическая, «ничего не забывшая и ничему не научившаяся» эмиграция изнемогала в партийной междуусобице, вокруг представителей, так называемого, «нового религиозного сознания» уже начиналась творческая работа по осмысливанию развернувшейся трагедии. В этой работе по-но-

вому перегруппировались люди и силы, вырастали новые религиозные, культурные и общественно-политические фронты.

Волновавшая в свое время «Религиозно-философское общество» тема срашения христианства и политики, очищенная от политианства и литературщины, начинала понемногу объединять отдельные группы православных мыслителей, в которых революция не убила веры в христианское дело, со вчерашними революционерами, пережившими большевицкую трагедию, как свой личный грех. Писатели группы морозовского «Пути», продолжавшие начатое в Москве, на Знаменке, дело, под тем же названием в Париже, начали, к смущению правоверных демократов-просвещенцев, всё чаще появляться на страницах эсэровских «Современных Записок».

В результате этой христианской прививки к стволу традиционного в России толстого общественно-политического журнала религиозно-философские статьи начали приобретать такой вес и отнимать так много места, что И. И. Бунаков-Фондаминский, видный член Центрального комитета партии социалистов-революционеров, старый друг Мережковских и приверженец их революционно-христианских идей, решил в 1926-м году основать «Новый Град», журнал специально посвященный вопросам социального христианства, близкайшими сотрудниками которого оказались талантливейший учений и блестящий писатель, доцент Петербургского университета, Федотов и я. Чуть ли не в каждом номере «Нового Града» писали Н. А. Бердяев, приобретший в эмиграции всеевропейскую известность, отец Сергий Булгаков, выросший в изгнании в крупнейшего православного богослова, перешедшие на религиозные позиции идеалисты Б. П. Вышеславцев и С. И. Гессен, а также и некоторые евразийцы. Нет сомнения, что историки эмиграции в будущем установят не малое влияние «Пути», «Современных Записок» и «Нового Града» на лучшие элементы эмигрантской молодежи.

Смотря по своему политическому направлению, эти историки или вменят представителям «пореволюционного религиозного сознания» в большую заслугу, что они удержали эту молодежь от слепой ненависти к большевикам, от националистического озверения, белогвардейского чванства и несовместимого с христианством утробного антисемитизма, или поставят всё это им в вину.

Как от «Современных Записок» отпочковался «Новый

Град», так накануне мировой войны от «Нового Града» отпочковалось «Православное дело». Журнал этот сознательно отодвигал на второй план разработку догматических и религиозно-философских вопросов, выдвигая на первое место проблемы практического христианства, проблемы живой, духовной и практической помощи ближнему. Надо отметить, что «Православное дело» началось не с журнала, а с реальной помощи нуждающимся элементам эмиграции. Когда-нибудь будет подробно рассказано и об этом «Православном деле», во главе которого стояла монахиня Мария, урожденная Пиленко, по первому мужу Кузьмина-Караваева, по второму Скобцова. Духовный путь, пройденный этой замечательной женщиной, можно по праву рассматривать, как прообраз того пути, который один только и ведет ко спасению.

В свое время душа матери Марии пылала всеми страстями и болела всеми грехами описанной мною эпохи. Со свойственной ей глубиною она прошла, как через мистическую муть петербургской блоковщины, так и через социалистический утопизм.

Прокомиссарствовав некоторое время в каком-то южном городе, по мандату левых эс-эров, и написав большое количество своеобразно-значительных стихов, она пришла к заключению, что так дальше жить нельзя. Поняв это, она, обремененная тяжелыми заботами о семье, состоявшей из трех детей и матери, и принужденная добывать хлеб в качестве “*femme de menage*”, все же успела окончить богословский факультет в Париже. Окончив его, она приняла постриг, но и монахиней осталась работать в миру. Почти единоличным усилием добыла она довольно большие средства, открыла странноприимный дом для нищих эмиграции и устроила дешевые квартиры для нуждающихся писателей. Одновременно она продолжала сотрудничать в журналах по религиозным вопросам, напечатала, к смущению многих духовных лиц, воспоминания о своих встречах с Блоком и выпустила сборник стихов, посвященных памяти ее погибшей в Советской России старшей дочери. Бывая в Париже, мы часто ходили в помещавшуюся в гараже домовую церковь общежития матери Марии, где было как-то легче молиться, чем в старорежимном храме на Rue Daru с традиционно ревущими дьяконами.

Я подробней остановился на жизни матери Марии потому, что в ее деятельности с редкой последовательностью начала рас-

крываться та правда, что уже накануне войны стучалась в двери двадцатого века.

Большим утешением для всех нас, работавших в эмиграции над синтезом средневекового боговерия, либерально-гуманистического свободолюбия и социальной справедливости было то, что мы не чувствовали себя отщепенцами. Доходившие до нас скучные сведения с родины согласно свидетельствовали о том, что и там, быть может, там-то прежде всего, растут живая вера в Бога, тоска по личному творчеству и жажда новой справедливости.

К такой же цели стремились рядом с нами и новые люди Европы. В кругах французского нео-томизма, вокруг значительной и благородной фигуры Жака Маритэна, на страницах *“Esprit”* и в сердцах группирующейся вокруг этого журнала молодежи шла та же, начатая в России Соловьевым, работа по сращению живого христианства с социальной эволюцией, что и в наших рядах.

К той же цели, хотя иными путями и в другой религиозно-психологической тональности, пролагали себе путь вместе с нами и нео-томистами и религиозные социалисты Германии, Англии и Америки. И всё это охватывалось и скреплялось работами христианских экуменических конференций.

Я пишу об эмиграции в прошлом времени. Пишу в тревожном предчувствии, что в недавно занятом немцами Париже она уже начала перерождаться в сплошь безыдейное беженство, исповедующее по необходимости только один девиз: «спасайся, кто может». Очень боюсь, что по окончании войны совсем захиреет или, что еще хуже, исполнится новым духом наша эмигрантская жизнь. Не думаю, чтобы Бердяеву удалось возобновить *«Путь»*, а нам с Бунаковым *«Новый Град»*. *«Православное дело»* в тиши, конечно, будет продолжаться, но тратить деньги на издание собственного журнала оно вряд ли уже сможет: каждое су придется беречь на хлеб и картошку.

Нет сомнения, что на авеню де Версай, в заставленной книжными полками и заваленной рукописями и журналами квартире, уже не будут собираться кружки богословов, философов, поэтов и писателей для горячих бесед о старых грехах России и о ее будущем образе.

Прекратят свой выход и многие эмигрантские журналы, целый ряд крупных научных трудов, подготовленных к печати

как раз накануне войны, останется не напечатанным. Не увидят света, по всей вероятности, и многие художественные произведения. Осиротеет и, если не обольшевичится, то окончательно денационализируется эмигрантская молодежь.

Не печалиться душой, что заново вспыхнувшей войной окажется загубленным с таким трудом возделанное нами опытное поле пореволюционной русской культуры, конечно, нельзя. Но и падать духом нет основания. Совершающееся для нас не неожиданно. Русская религиозно-философская мысль 19-го века полна предчувствий и предсказаний тех событий, что ныне громоздятся вокруг нас. Начиная с Достоевского и Соловьева и кончая Бердяевым, Мережковским и Вячеславом Ивановым, она только и думала о том, что становится с миром в тот страшный час, когда он, во имя новых идеалов, станет хоронить уже давно объявленного мертвым христианского Бога.

Час исполнения страшных русских предчувствий настал. Потому так и бушует погруженный во мрак океан истории, что он не принимает в свою глубину насилинически погружаемого в него Гроба Господня.

Спасение только в вере, что после мрачных предсказаний исполняются светлые чаяния России, что...

(18)

«Железным поколеньям  
Взойдет на смену кроткий сев,  
Уступит и титана гнев  
Младенческим Богоявленьям».

(Вячеслав Иванов).

Март-июль 1940 года.

**Федор Степун.**

# КИЕВ, ВОЙНОЙ ОПАЛЕННЫЙ

В старинном баварском городе, таком прекрасном, несмотря на его военные раны, я начинаю писать эти воспоминания. В них, написанных для себя, нет ни строчки неправды или литературного домысла. Но в них нет и обобщений. Только то, что я видела и пережила, занесено мной на эти страницы.

Многое, касающееся первых лет войны, стерлось, кое-какие неточности, возможно, вкрадлись, так как все мои заметки погибли, но всё-таки картины пережитого, очень личные, повторяют судьбу сотен тысяч людей, занесенных на чужбину вихрем войны.

## I.

...Бум... Бах... Я лениво приоткрываю глаза. Моя уютная комнатка вся в цветах — сейчас июнь и их так много в киевских садах. Я люблю свой уголок, но сейчас просыпаться не хочется — вчера поздно засиделась за работой.

...Бах... Бум... Да это же выстрелы? Я настораживаюсь, но кругом тихо. Это, вероятно, летние маневры, недаром последние дни куда-то всё время шли войска.

Просыпаюсь я уже поздно, комната залита солнцем, ставни открыты и мама щекочет мне щеку уголком письма. Ага, весточка от Алёши... «Лететь самолетом совсем не так интересно, хороши только облака при разнообразном освещении... Москва утомительна и пыльна, но книги я нашел здесь чудесные. Успел уже сильно соскучиться...»

Когда же он успел соскучиться? Ведь только три дня назад он вылетел в Москву для окончательной «шлифовки» своей диссертации. И сразу же перед глазами встают красные колонны университета, наши аудитории, куда, казалось, я так недавно вошла робкой, взволнованной студенткой и куда я уже второй год хожу преподавателем. Теперь всегда, выйдя с лекций, я спешу в нашу библиотеку, так называемую, «фундаменталку», в читальный зал для аспирантов. Там, когда я на ципочек пробираюсь к своему обычному месту, меня обязательно встретит мягкая улыбка Алёши. Мы оба много работали

таем — он над своей диссертацией, я над сдачей кандидатского минимума. Через пять дней последний экзамен, а там защита диссертации, звание доцента... Я невольно улыбаюсь, вспоминая, как долго буфетчицы, гардеробщицы и университетские служители никак не могли признать во мне лектора, а не студентку. Да, к счастью, я молода, весела, люблю свою работу, своих студентов...

В это яркое утро какая-то радость настолько переполняет всё мое существо, что я делаю легкомысленный пируэт, совсем неподходящий для члена почтенной кафедры и бегу к отцу — ведь сегодня воскресенье и он не у себя в наркомате. Я прижимаюсь к его свеже-выбритой щеке, любуюсь всей его большой и сильной фигурой. Папа — это моя гордость — он всегда такой спокойный, уверенный, чистый — настоящий европеец. Недаром в студенческие годы он объездил немало стран и долго учился в Германии. Конечно, в ожидании мамы, вышедшей в соседний магазин, он за своим любимым занятием — у радиоприемника, старается снабдить нас утренними новостями со всего мира. А вот и мамимо синее платье мелькнуло в окне. Спешу ей навстречу и сразу в глаза бросается ее побледневшее лицо, а в сознанье впиваются непонятные неожиданные слова: «Война... Сегодня немецкие самолеты бомбили Пост Волынский... В двенадцать часов будет говорить Молотов».

Вечером, когда под оранжевым кругом нашей уютной лампы привычно зачернела Шурина голова, папа говорил, взволнованно шагая по комнате:

— Нет, Александр Александрович, всё это не так просто, как вы думаете, и радоваться еще рано. Россия — это крепкий орешек, особенно, когда советы только и делали, что готовились к войне...

— Нет, Василий Павлович, прямо не верится, что мы дождались, наконец, возможности освободиться от нашего любимого и мудрого вождя со всеми его доярками и пятисотницами. Германские войска, молниеносно прошедшие по Европе, безусловно уж не сдадут перед красными командирами, которым вы, Наточка, даже и десяток английских фраз не можете вбить в голову, несмотря на ваш трудовой энтузиазм. А Россия без советов снова будет прекрасной и великой нашей родиной...

И Шурины всегда серьезные глаза светились такой радостью, что невольно хотелось верить этому человеку. Но я не верила. Ведь он, сорокалетний, знал другую Россию, помнил ее, и тосковал по ней, а у нас, почти ровесников Октября,

была только одна родина, родина героев Советского Союза, смелых перелетов, гигантских строек, родина с границей на замке, с непобедимой Красной Армией, с романтикой далекой гражданской войны. Болышинство из нас было искренно уверено в том, что

«...никто на свете не умеет  
Лучше нас смеяться и любить».

Но и те из молодежи, кто, как я, прошел через вымирающие села Украины в страшный тридцать третий год, кто, как я, не спал целые ночи, боясь за судьбу близких и ожидая почти неизбежного для каждой интеллигентной семьи «визита» НКВД в эпоху пресловутой «ежовщины» (1937-1938 г.г.), даже и те хотели верить в счастливое будущее и пытались рассматривать все мрачное, тяжелое и так часто лицемерное, как неизбежные «трудности роста», которые нужно пережить и преодолеть. Я любила свою страну, хотя не любила многоного в ней, и сейчас сердце у меня сжалось тяжелым предчувствием.

\*\*  
\*

О, какими грустными стали все дни! Каждое утро приносило потери — рушился привычный и любимый мир, рушилась вера, воспитанная долгими годами. «Граница на замке» была прорвана в первый же день; «непобедимая Красная Армия» сдавала город за городом и мозг сверлил страшный вопрос: неужели всё было ложью? Мы отказывали себе во всем, наш жизненный уровень был много ниже европейского, но зато на нашей земле выростали гиганты, в нашем небе парили соколы-летчики, удивлявшие весь мир смелыми рекордами, с каждым днем, казалось, крепла обороноспособность нашей огромной страны. И вот уже рухнули арки Днепростроя, взорванного перед отходом советских войск; мертвыми черными трубами кому-то грозят разрушенные заводы Краматорска, в бесформенные, обгоревшие груды превратились когда-то такие вертикальные «ястребки» на изрытых бомбами аэродромах. Тяжелым и уверенным шагом немецкие армии шли по бескрайним полям Украины, зажимали советские войска, перерезали пути отступавшим, захватывали города... На фронт уходила советская молодежь, но не могла удержать натиска врага.

Первым из моих друзей, на следующий же день после объявления войны, ушел Боря — милый и мягкий товарищ по аспирантуре. Казалось, еще так недавно он сидел у моей боль-

ничной койки, смущенно вертя внушиительную коробку моих любимых пьяных вишен в шоколаде, которую врач строго-настрого запретил передать мне на другой день после операции, и строил планы летнего отдыха. И вот он уже где-то там, далеко, в роли штабного переводчика....

В танковые войска ушел Коля, синеглазый насмешливый инженер, моя первая любовь... С ним связана моя юность, первая тайна от мамы, первые мечты о собственном гнезде. С тех пор в садах Киева много раз расцветала пышная сирень, а в моем столе бережно хранилась покалевшая, сморщенная ветка — первый неуклюжий подарок влюбленного друга. И теперь, когда он целовал мои залитые слезами глаза, я прощалась со своей беззаботной молодостью, с любимым привычным миром.

Потом ушла Зойка, военный фельдшер, хохотушка и энтузиастка своего дела, уверявшая, что даже в глазах любимого человека она прежде всего будет искать... признаки конъюнктивита. Ушел Виктор, долговязый и веселый, любимый участник всех наших загородных прогулок и вечеринок, только недавно ставший отцом такого же веселого и белесого мальчишки.

Ушел Юра, мой многолетний друг, терпеливо справлявшийся каждые три месяца, не хочу ли я пойти с ним в Загс, и вместо этого ходивший со мной во все театры и кино и хранивший все мои большие и маленькие секреты. Летним вечером проводила я Толю, мужа моей близкой подруги. Еще так недавно отпраздновали мы годовщину их свадьбы, и вот он уже уходит «с ложкой, кружкой и сменой белья», как стояло в приказе Военкомата.

В нашем доме стало непривычно пусто и тихо. Иногда только забегали заплаканные, встревоженные подруги и делились невеселыми вестями. Я старалась ободрить их и утешить, не зная, что самая страшная потеря у меня еще впереди.

Свой последний экзамен я всё-таки сдала. Папа так и засветился горделивой сдержанной улыбкой. В Военной Академии, куда я, как и в мирные дни, пошла на лекцию, молодцеватый дежурный, вытянувшись, заявил: «Товарищ преподаватель, занятия откладываются до окончания войны». Сразу оказалось много времени, пустого и ненужного. Пробовала читать, вышивать, но книги валились из рук, а причудливые узоры не радовали глаз пестрыми красками.

Как-то утром, вернувшись из города, я нашла в своей ком-

нате огромный букет красных гвоздик, а с дивана навстречу поднялась белая фигура — Алёша.

— Восемь дней добираюсь из Москвы, — рассказывал он оживленно. — На поезд попасть невозможно, идут войска на украинский фронт. Наконец, влез в какой-то воинский состав. По дороге нас уже обстреливали немецкие самолеты. Был в московском военкомате, думал, прямо оттуда отправлюсь на фронт. Нет, не взяли, направили по месту жительства, да и тут пока не берут. Я, знаете ли, какая-то неопределенная личность — раз есть высшее образование, значит, должен ити в комсостав, раз никогда не был в армии — значит, командовать не могу. Вот мне и сказали дожидаться вызова.

Как хорошо, что приехал хоть один друг в эти дни расставаний. Поделилась с ним своими опасениями и горестями, но он меня мало утешил. Говорил о том, что и в тылу настроение подавленное, что почти беспреятственный переход границы немцами произвел удручающее впечатление. Бродили с ним по улицам и паркам, шумевшим пышной листвой, и говорили о странном раздвоении, заползшем в душу, жадно читали газеты, стремясь почерпнуть в них надежду и уверенность, но сводки скромно говорили о всём новых и новых направлениях, уже даже не упоминая отдаленных городов. Третьего июля появилась знаменитая речь Сталина, в которой он призывал угонять скот, скдигать хлеб и увозить от врага самое ценное. Читая эту речь, я не думала, что через какие-нибудь сутки из нашего дома тоже увезут самое ценное...

Ночью, с четвертого на пятое июля я проснулась от странного и томительного ощущения. Казалось, кто-то ледяной рукой сдавил сердце и оно билось медленно и трудно. Я зажгла лампу, глянула на часы — нет еще и четырех. «Вероятно, будет воздушный налет, как теперь часто, на рассвете», — приоткрыла ставню и начала напряженно вслушиваться в тишину. Где-то залаяла собака, откликнулась еще одна по соседству. Проехала машина, — вероятно, снова повезли раненых. Вдалеке щелкнула калитка, по каменной дорожке застучали сапоги. Ближе, ближе... Вот нетерпеливый стук в нашу дверь. Набрасываю платье, но мама уже снимает с двери цепочку дрожащими руками. Бедная мама, она всегда волнуется из-за пустяков — это же обычная теперь проверка паспортов.

В электрическом свете ярко заалели малиновые окольши фуражек НКВД. Двое, не здороваясь, входят в комнату, требуют предъявить оружие и радиоприемник. Первого у нас никогда не было, второй давно сдан. Начинается обыск. Один из

незданных гостей, угрюмый, черный, грубо роется в шкафах, выбрасывает белье, книги... Второй, более вежливый, подходит к папиной постели, показывает маленький белый ордер и говорит — «Одевайтесь». Это слово заставляет меня всю внутренне похолодеть. Настало то, чего я так боялась в страшные ночи 1937-38 г.г., когда темные машины останавливались почти перед каждой дверью. Тогда судьба пощадила нашу семью, но тем большее неожиданный удар. Мама окаменела, бессильно упали на колени руки, лицо застыло, как безжизненная маска. Я начинаю собирать папу в печальный путь — кладу белье, еду. Почему-то мне кажется страшно важным дать нитки и иголку — папа такой аккуратный, он не потерпит оторванной пуговицы, малейшей дырочки. Нет, оказывается, арестованному иголку дать нельзя, вообще ничего острого. Выньте ножик из кармана, бритву, даже безопасную, тоже нельзя. Деньги можно, всё, сколько есть дома — 180 рублей. Ну, вот, всё собрано, но мне кажется, что непременно нужно напоить папу чаем, его любимым крепким чаем с молоком. Я уже давно включила чайник и, пока составляется протокол, наливаю чай в пузатую голубую чашку. Папа покорно улыбается, пьет. Ему дают подписать, торопят — «сегодня у нас много работы», говорит черный. Конечно, при обыске ничего не обнаружено — забирают только папин паспорт, удостоверения со службы, да грамоты, пышные золотые грамоты, которыми его награждали за научную работу.

Прощание. Мама приникает к отцу и мне страшно смотреть на нее. Папа целует ее быстро, быстро, потом бережно отстраняет и говорит мне:

— Натуся, я тебе поручаю маму, сохрани ее.

Будь спокоен, папочка, мой большой, мой любимый друг, я сделаю все, что в моих силах. О, как мы держим себя в руках, и он, и я, мы не хотим сделать друг другу больнее в эти страшные минуты.

— Можете притти справиться восьмого, — говорит лейтенант.

— Приду, конечно, приду. Буду хлопотать всюду, папочка, родной, не беспокойся.

— Бесполезно, — устало качает он головой.

И вот папу уводят. Я хочу проводить его, хоть еще несколько шагов вместе. Меня непускают. Уже светает, я ясно вижу, как папа, чуть сгорбившись, идет по дорожке. Вот он

оглянулся, ускорил шаги. Как тяжело ему бедному. Хлопнула дверца, зашумел мотор... Увезли...

Энкаведистам, действительно, было некогда: в эту ночь около пяти тысяч представителей киевской интеллигенции — инженеров, врачей, агрономов разделили судьбу моего отца.

Я вернулась в опустевший дом, утешала и успокаивала маму, машинально раскладывала разбросанные вещи по их прежним местам. Только бы дождаться утра, позвонить Шуре. Он, моя «валерианка», как я в шутку называла этого нашего настоящего, преданного друга, наверное что-нибудь уж придумает, посоветует. Но Шура оказался бессильным. Ничего не дали и мои хождения по приемным НКВД. Когда я пришла в назначенный день, восьмого, мне ответили кратко, как и сотням других обеспокоенных людей: «Время военное, справок об отдельных лицах не даем». Я приходила снова и снова, получала тот-же ответ. Добилась приема у прокуроров, гражданского и военного. Первый сказал лаконично: — «за мной не числится»; второй долго просматривал списки, вызывал секретаря, звонил куда-то и, наконец, проговорил: «такого дела нет». Потом скользнул взглядом по моим судорожно сжатым рукам и добавил мягче: «вашего отца вывезло НКВД просто, как ненадежного».

О, да, он был ненадежным, мой отец. Ведь тридцать лет назад он учился в Германии и не скрывал этого, хорошо говорил по-немецки, никогда не ходил небритым и на его руке, несмотря на предупреждения секретаря партийной ячейки, поблескивал обручальное кольцо. Состав преступления ясен... Начальники в Наркомате были поражены папиным арестом, уверяли, что это недоразумение, что всё скоро выяснится, но денег за проработанное время не выплатили. В издательстве, где ему остались должны свыше двух тысяч за последнюю книгу, также отказались заплатить. Настаивать было бесполезно — учреждения лихорадочно готовились к эвакуации, сотрудники почти не выходили на работу, комнаты стояли пустые, с развороченными столами. Везде ярко горели печки — в них бросали горы бумаг, канцелярских дел, научных работ, инженерных расчетов. В те дни над Киевом шел черный снег — крупинки сажи и обгоревшие бумажные хлопья медленно кружились в воздухе и покрывали землю...

Зашла в университет — там такая же картина. В груде вываленных на пол трудовых книжек случайно отыскала свою — к счастью, выписку о сдаче кандидатского минимума получила раньше. Аудитории и кабинеты стояли настежь открытые,

в некоторых громоздились свеже сбитые ящики, пахнувшие сосновой. В нашем деканате, всегда таком людном и тесном, тоже пусто. Нет, не совсем, в углу пылает печь, и молодой, франтоватый заместитель декана сует в нее аккуратные папки из своего стола.

— А-а, Наталья Васильевна... Нет, ничего нового сказать не могу. Вагонов, к сожалению, не получили; студенты, аспиранты и часть преподавателей уходят пешком до Полтавы, а там будет видно...

Он крепко пожал мне руку, и я снова пошла по гулким пустым коридорам и лестницам. Что делать, как поступить? Итти пешком не сможет ни мама, ни я — у нас обеих больное сердце, да к тому же я только недавно встала после операции. Мы обе родились и прожили всю жизнь в Киеве, у нас нет никого вне этого города. А самое главное — папа. Может быть, он где-нибудь здесь, неподалеку, как же бросить его? Да и бояться врага нам теперь нечего — самую страшную рану нанесли свои...

Дома у нас томительно, особенно по вечерам. Сосед, майор, — на фронте, соседка застряла где-то в Черновицах в командировке. Мама просит Алёшу перейти в опустевшую комнату, ведь всё равно университетское общежитие занимают войска, а с мужчиной в доме как-то спокойнее.

Все вокруг целые дни стоят в очередях — ташат конфеты, масло, крупу. У нас совсем нет денег и потому мы запасов не делаем. Хотела кое-что продать — вещи идут теперь за бесценок, да и то с большим трудом. Как всегда, на помощь пришел Шура — заставил взять немного денег «до лучших времен».

Всюду в городе и за городом копают окопы и противотанковые рвы. Сначала мы тоже ходили, добросовестно оттаскивали землю, помогали маскировать вырытые ямы. Потом, как и все, уверенные в бесцельности и безнадежности нашей работы, старались не попадаться на глаза ретивым милиционерам. Тогда, чтобы рыть окопы, людей стали забирать отовсюду — из кино, из очередей, хватали на улицах. Многие мужчины завели себе пресловутые «окопные» бородки, делявшие их старше, и наглядно доказывая, что они перешли положенный для этих работ возраст.

Сады и парки Киева казались изрытыми огромными кротами — люди спешно делали щели — жалкие норы в земле и прятались там, как только слышали жужжанье самолетов, прятались и в страхе ждали смерти от неумолимых немецких бомб.

Но бомбы не падали. Каждый день над городом появлялись стаи вражеских птиц, чертили в небе непонятные дымовые знаки, иногда сбрасывали дождь белых листовок. Люди завистливо следили, как кружились, мерно падая, белые мотыльки, а потом посыпали детей разыскивать весточку от врагов (или друзей?) и жадно читали скучные строки. «Ни одна бомба не упадет на ваш прекрасный город», читали они в удивлении, и страх проходил, и всё меньше и меньше людей спускалось в сырье щели и всё большие глаза следило, как в синеве неба проплывали мощные серебряные птицы, иногда вступая в бой с советскими истребителями. Результат был всегда неизменен — белые дымные мячики разрывов прыгали у самых крыльев птиц, а они, покачиваясь, спокойно уходили вдали, неуязвимые...

Ночью люди выходили на дежурства. У ворот каждого дома темнели две-три фигуры, опоясанные противогазами. Но в городе ничего не случалось, и дежурства были такими же ненужными, как и баррикады из тысяч мешков с песком, сооруженные на всех улицах. Летние дожди сочными каплями падали на их грубую ткань, жаркое украинское солнце сушило их, мешки гнили, разрывались, песок золотыми струями вытекал на улицу и дети разносили его по дворам. Ночью по бархатному небу, дрожа, скатывались серебряные звезды и полыхали далекие зарницы. Это были жаркие ночи, «воробышные ночи», и гул отдаленной канонады сливался с глухим урчаньем грома. Пряно пахли цветущие липы, табак и петуния в маленьких садах. Нужно было петь, любить, смеяться, скользить на лодке по широкой ленте Днепра, мечтать до рассвета на Владимирской горке, но совсем близко, в Голосеевском лесу, засели немцы, шли бои, и по улицам Киева без конца проносились автобусы с большими красными крестами. Часто они шли очень медленно и тогда люди провожали их скорбными взглядами, потому что так возили только тяжело раненых. Впрочем, чаще мелькали другие машины — полуторатонки и трехтонки, до верха нагруженные всяkim скарбом. Иногда среди пружинных матрацов, зеркальных шкафов и скатанных в толстые трубы ковров ютились фикусы и пальмы — партийные «отцы города» предусмотрительно отсыпали свои семейства в глубокий тыл. Но не всем удавалось покинуть угрожаемый город с таким комфортом — люди, эвакуировавшиеся с предприятиями и учреждениями, по много дней сидели на разъездах и товарных станциях, тщетно ожидая отправки. А те, кому и удавалось попасть на заветные поезда, писали близким, не расставшимся с родным кровом, отчаянные письма о неразберихе, беспорядке,

## КИЕВ, ВОЙНОЙ ОПАЛЁННЫЙ

скученности и грязи на эвакопунктах, о панике, всё глубже и глубже охватывавшей тыл.

Через город отступали войска, сначала из западной Украины, Львова, Тарнополя, а потом из привычных, близких местечек и сел, куда киевляне ездили отдыхать, покупать клубнику, пить густое парное молоко. Проходили красноармейцы, хмурые, небритые, голодные, неохотно отвечали на вопросы, иногда едко ругали командиров и комиссаров, умчавшихся на «Эмочках» и «Зисах» и далеко опередивших свои части. Зато гордо выступали «защитники города» — бойцы истребительных батальонов, щеголеватые юноши, одетые в новенькую с иголочки форму. Им предназначалась почетная роль — они должны были бороться с мощными немецкими танками, забрасывая их бутылками с горючей жидкостью. До этого, однако, не дошло: покрасовавшись в своем боевом убранстве, юноши благополучно сменили, где-то на задворках, еще не успевшую проплыть форму на спокойные пиджаки и майки и разошлись по домам. Многие из них позже пополнили кадры украинской полиции при немцах, состоявшей в своей массе из наиболее беспринципных, грубых и ненавидимых населением элементов, или же стали «рыцарями менки», шнырявшими по селам и сбывавшими голодным киевлянам добытые там муку и масло, требуя за них баснословные деньги. Впрочем, пока что «истребители» не предвидели жалкого конца своей военной карьеры и всячески раздували «шпиономанию», охватившую весь город. В каждом белокуром и голубоглазом человеке, в каждой девушке, «подозрительно» расспрашивавшей, как ей пройти на незнакомую улицу, видели немецких шпионов. Районы милиции были переполнены такими «агентами фашистов», которые, просидев томительные часы в заплеванных камерах, возвращались домой, установив, наконец, свою личность.

А немцы подходили всё ближе и ближе. Однажды вечером, на помятой и грязной машине на минуту заехал «дядя Коля», как его шутливо называла молодежь, красивый и спокойный сорокапятилетний майор, наш друг. На его гимнастерке уже давно поблескивала медаль «20 лет РККА», но в этот вечер человек, прошедший все фронты Советского Союза, мало походил на сдержанного и всегда трезвого командира. Он был пьян и из глаз его рвались тревога и тоска. Странно звучали его шутки, в натянутой улыбке кривились губы. Он каким-то прощающимся взглядом окинул старую липу, кусты жасмина под окном, наш маленький уютный домик, крепче затянул жел-

тые щегольские ремни у пояса и бросил вдруг устало и просто: «Плохо, совсем у нас плохо...» Зафыркал мотор, машина рванулась из узкого дворика. Еще одним другом стало меньшее...

А именно друзей мне всё больше и больше не хватало в эти тревожные дни. После ареста отца я потеряла и маму — всегда приветливая и веселая, она стала неузнаваемой с того страшного дня, когда папу увезли из комнаты, где только две недели назад они отпраздновали тридцатилетие своей свадьбы. Безучастная, застывшая, она не интересовалась никем и ничем, и все мои попытки утешить ее, она отводила: — «Оставь... Не трогай меня...»

Распалась наша тесная, дружная семья, ушли друзья, потеряно любимое дело, ненужно пылятся записки и книги... Идет грозное неумолимое, разметавшее привычный уклад, забравшее тысячи жизней, и не знаешь, горе ли оно несет всему народу или же «небывалый расцвет», как уверяет Шура.

Мы с Алёшой дежурим по вечерам, обходим двор, стоим у калитки, а потом подолгу сидим на ступеньках веранды, увитой диким виноградом, вслушиваясь в далекое уханье тяжелых орудий. Часто падают, катясь по небу, золотые звезды — это их пора, но еще чаще взвиваются ввысь алые и изумрудные сигнальные ракеты, что-то говоря кому-то невидимому тревожным и непонятным языком...

Прошел слух, что через Киев отступает штаб, при котором работал Боря, милый университетский друг, от которого давно уже не было вестей. И вот, действительно, — «Натуся, Наточка...», — и худенький военный, запыленный и загорелый, жмет мне руки, быстро говоря:

— Подумайте, как удачно. Штаб стоит на левом берегу, я был здесь в городе в редакции, осталось полчаса времени и вот я к вам. Стою, злюсь, что нет трамвая, что не успею побывать у вас...

Мы так и стояли среди толпы, держась за руки, и перебивая друг друга, спешили поделиться новостями.

Через день Боря сидел у нас на веранде и взволнованно говорил о наболевшем. Честный, застенчивый, идеалист и мечтатель, он возмущался обманом, на котором строилась его работа в политуправлении штаба.

Потом он сказал:

— Квартира брошена, родные эвакуировались так спешно, что и захватить ничего не успели. Нельзя ли к вам пере-

везти книги, заметки и материалы для диссертации, авось выживу, тогда займемся всем этим?...

Это мы успели сделать, и я еще получила на память «Трое в одной лодке» Джером-Джерома с трогательной надписью.

Милый друг, никогда уже мы не поплыли втроем в одной лодке, как бывало, Алёша и вы на веслах, я на руле... Ваши заметки остались лежать вместе с моими на нижней полке шкафа в покинутом доме...

Еще два раза приходил к нам Боря, ждали мы его и в третий, но свидеться больше не пришлось — железная подкова немецких армий каждый день угрожала превратиться в кольцо, и штаб спешно ушел глубже в тыл.

А небо всё чаще и чаще пылало зловещим заревом. Отступавшая красная армия жгла всё на своем пути...

И наконец, наступило н е и з б е ж н о е .

Глухо и тяжело заухало противотанковое орудие на ближайшем перекрестке, пулеметные очереди с сухим треском рассыпались по притихшим садам, и люди инстинктивно глубже глотнули воздух и прошептали: «начинается»... Целую ночь полыхало небо, целую ночь грохотали орудия, целую ночь люди жались друг к другу в сырых щелях. А на рассвете вдруг стало тихо, только внизу на Подоле еще щелкали выстрелы и немецкий миномет упрямо бил по отступавшим войскам. Потом глухо дрогнула земля от сильного взрыва — осели в воду красивцы-мосты, взлетевшие в воздух, когда по ним еще проходили последние воинские части. И снова тишина, полная ожидания и неведения...

Мы вышли на улицу. Всюду на трамвайных путях стояли вагоны, разогнанные из парка. Водокачка и электростанция были уже взорваны, и вагоны, пустые и ненужные, казалось, заблудились в большом городе. Зато было много пешеходов — все с детскими колясками, нагруженными мешками с мукой. Мы вспомнили, как накануне обыватели без конца тащили кровати, ярко голубые с веселыми никелевыми шариками. Где-то грабили склады, разбивали железнодорожные вагоны, чернь радостно тащила в свои норы легкую добычу...

А немцы всё не показывались. Говорили, что они уже в городе, шустрые мальчишки с разгоревшимися глазами сообщали, что «дядя Федя на Сенном базаре видел вот такенный танк», но в нашей окраине они появились только часов в пять вечера. Люди высypали на улицу, боязливо и заинтересованно посматривая на пришельцев с Запада. Шли красивые и рослые парни в странной серовато-зеленой форме, усталые, пропы-

ленные, но чисто выбритые, улыбались жителям, брали на руки детей, безбоязненно заходили в дома и дворы и мылись, мылись, с наслаждением обливая холодной водой тугие мускулистые спины.

А своя, родная армия уходила на восток, попадалась в огромную ловушку, захлопнувшую свыше 660.000 человек...

На небе вспыхнула первая звезда, робкая, маленькая. День 19 сентября 1941 г. подходил к концу. Мама захлопнула калитку, окинула взглядом тихий зеленый дворик с кустами ярких георгин и настурций и сказала облегченно: «Ну, вот для нас и кончилась война»...

Бедная мама, она не знала, что война только начиналась...

## II.

Как красивы киевские парки, расцвеченные золотом и багрянцем осени! Какой нарядный сегодня Крещатик, нарядный и незнакомый. Сотни подтянутых, свеже-выбранных молодых солдат, сияющих победной радостью... Но сколько молодых людей в штатском! Откуда только они взялись? Ведь советы, казалось, прямо идеально провели кампанию по вывозу (вернее, выводу) из города всего мужского населения до 50 лет. О, это те, кто ждал прихода немцев, как друзей, хотя бы потому, что они грозили гибелью сталинской клике, это те, кто по много дней прятался в погребах, кладовках, шкафах и даже... диванах, кто впрыскивал в ноги керосин и они покрывались страшными ранами и нарывами, дававшими возможность не покидать родной город. Это те, кто теперь с лукавой улыбкой, подмигивая друг другу, говорят: «Мне Володя, спасибо ему, ногу прокусил. Я сказал, что собака покусала и итти не могу — вот и остался».

«А мне бабушкино приданое помогло — у нее комод на полкомнаты, как только проверка, — так меня туда и укладывают, до сих пор спина болит, прямо разогнуться не могу».

Все шли в город посмотреть на огромные, невиданно-мощные немецкие грузовики, на ослепительных жандармов с серебряными бляхами и коричневыми бархатными воротниками, на стройных офицеров с блестящими жгутами на фуражках и погонах... Многие шли не потому, что сердца их были преисполнены симпатии к завоевателям. Нет, их гнало любопытство людей, в течение четверти века оторванных от внешнего мира, смотревших на немногих «интуристов», как на пришельцев с другой планеты. С какой жадностью люди, привыкшие к дра-

коновской советской цензуре, годами не выдавшие иностранных изданий, хватали немецкие журналы и газеты, где можно было, наконец, прочесть слова, не совпадавшие с генеральной линией партии. Но еще удивительнее было смотреть на бюст «любимого и мудрого вождя народов», выброшенный из какой то школы. На гипсовом пьедестале, старательно и неграмотно было выведено чернильным карандашом: «Изверг проклятый, чтоб тебе смерть такая тяжелая как ты наших людей задавил».

Всё это непривычное, так долго недозволенное, волновало умы и заставляло нас долгие часы проводить друг у друга в спорах. Так было и двадцать третьего сентября, в день, врезавшийся острым шилом в мою память.

В этот день наш ветхий старый дом вдруг странно дрогнул и невидимая рука распахнула окно. Сильный взрыв, где-то совсем недалеко, за ним второй, третий... Вечеревшее небо зарозовело заревом пожара... По городу поползли тревожные слухи. Говорили, что в магазин рядом с германской комендатурой, куда, согласно приказу, население сносило приемники, молодая женщина принесла радиоприемник, оказавшийся адской машиной и послуживший толчком к взрывам цепного ряда домов, заранее минированных советами. Взрывались и горели привычные, знакомые всем киевлянам здания. Вот уже огненные языки лижут просторное фойе кино Шанцера, вот искры ярким фонтаном брызнули из окон универмага.... Спустилась ночь, забрезжило утро, сменившееся печальным, тревожным днем... И снова ночь, а город горит, пылает, содрогается от все новых и новых взрывов. Черные тени шныряют около еще целевых домов, бутылки с горючей жидкостью делают свое злобно дело — и вот уже бесформенными руинами дымится Крешатик, корчащийся в огне Николаевская, Лютеранская, Прорезная. Рухнул знаменитый многоэтажный дом Гинзбурга, засыпав всю улицу горой обломков... Отгненные змеи пробираются в Липки, ползут по Фундуклеевской, грозят красавице Владимирской, тянутся к оперному театру... Тысячи людей с наскоро связанными узелками, онемевшие от горя и страха, лишившиеся крови и того немногого, что советским гражданам удалось пронести через годы гражданской войны, разрухи, бесконечных займов и голодных пятилеток, собрались в бывший Купеческий (Пролетарский) сад и оттуда, бездомные, голодные, перепуганные, следили за гибелю города. А огонь не унимался... Длиннейший шланг, привезенный откуда то издалека на аэроплане и дававший возможность качать воду прямо из Днепра, был неумолимо изрезан в темноте острыми

коварными ножами. Пятеро молодых людей, пойманных на этом преступлении, были расстреляны на месте, и трупы их два дня не убирались. Но поджогов это не остановило. Всё новые и новые здания гибли в огне и оставалось только одно средство — прекратить путь огню, взорвав еще совсем целые, неповрежденные здания и сжать пожар в кольце из развалин... Еще несколько дней дымился и полыхал город, еще взрывались глубоко заложенные мины, но огонь дальше не пошел...

С приходом немцев магазины не торговали, базар не собирался, хлеба не было, и мы, не имея никаких запасов, стали очень скоро перед призраком голода. Здесь на помощь пришел Шура, предложил пойти с ним в Бучанку, в их с таким трудом построенную усадебку, и набрать картофеля. Путь был далекий — свыше 25 километров, но делать нечего, пошли. Пропусков еще никаких не давали, везде стояли военные патрули, но знание немецкого языка делало свое дело — нас беспрепятственно пропускали.

Всё вокруг еще напоминало о недавних боях — разбитые грузовики, странно осевшие в канаву обгоревшие танки, брошенные противогазы и, наконец, шлем на лесной дороге, новенький, с аккуратной красной звездой спереди и рваной, зловеще сквозившей дырой на затылке... Мы спешили домой, не спокойно было на сердце от взрывов, изредка долетавших даже до Бучанки, да и тяжело было оставаться в когда-то приветливом домике, теперь опустевшем и разграбленном. Обратный путь был тяжелее, плечи и руки оттягивала картошка, а главное — перед глазами колыхалось огромное черное облако — догоравший Киев. Казалось, какой-то фантастический темный спрут в бессильной злобе вытягивает дымные щупальцы и сится поймать ускользающую добычу...

По дорогам встречалось много военных в табачной форме с алой повязкой на рукаве, где отчетливо чернела свастика и таинственные слова: "Org. Todt". Что могло это значить? «Организованная смерть», если вспомнить устаревшую форму слова "Tod"? Сама не веря такой догадке, я не выдержала и спросила у юноши с голубыми, северными глазами о значении надписи на его рукаве. Он посмеялся над моим предположением и объяснил, что это организация Тодта, строители дорог и мостов. Он был прав, этот юноша, — организованная смерть пришла в Киев в совсем другой форме...

Едва успели рассеяться клубы дыма над городом, как многие жители были встреможены приказом, щедро расклеенным на всех перекрестках. В нем всем евреям предлагалось

немедленно явиться на сборный пункт за городом, у православного и еврейского кладбища, захватив с собой самые ценные вещи.

Два дня тянулись толпы людей с чемоданами и узелками, два дня по Львовской ехали подводы с совсем еще библейскими стариками и старухами, которых обычно и на улицах не было видно. Прибегала прощаться толстенькая, миловидная Доня с добрыми вытаращенными глазами и картинно-хорошеньким кудрявым сыном. С плачем и причитаньями собиралась в путь худенькая некрасивая Геня, измученная частыми родами. Приятливо кивала головой, прощаясь с пациентами, Елизавета Абрамовна, добросовестнейший врач, скромный и отзывчивый человек, в течение многих лет лечившая всю Лукьяновку и знавшая здесь всех от мала до велика. Одинокая, потерявшая отца где-то в подвалах Чека, она теперь покорно и спокойно шла навстречу незнакомой судьбе.

Проехали последние подводы со стариками и скарбом, прошли последние понуро бредущие люди... Обыватели смотрели на них из окон, собирались у ворот и обсуждали события. Говорили, что евреев куда-то вывозят, собирая в гетто, где они будут обособленно жить и работать.

На следующий день в наш тихий сад отчетливо доносилась несмолкаемая дробь пулеметов. Никто на нее не обращал внимания — неподалеку за рощей и при советах был маленький полигон, где проводилось красноармейское ученье. Очевидно, и немцы занимались тем же. Однако, вечером из соседнего домика прибежала трясущаяся соседка и взволнованно проговорила:

— Евреев расстреливают... Знакомые ходили копать картошку, сами видели. Забирают у них все вещи, оставляют в одном белье и строчат, строчат без конца из пулеметов, а тела сбрасывают в Бабий Яр...

Перед глазами встал Бабий Яр, такой, каким я видела его прошлым летом. Молодые березы, орешник, крупные ромашки и колокольчики на дне оврага... Все вокруг дышало таким по-коем и миром, что нелепой, неправдоподобной показалась картина, нарисованная взволнованной женщиной. Да и разве могут люди с Запада, потомки Баха и Вагнера, Канта и Гегеля, Гумбольта и братьев Гримм, так нечеловечески расправиться с безоружными людьми, стариками, детьми? Конечно, это очередная паническая выдумка склонных ко всяkim преувеличениям обывателей. Ведь *как-никак* свыше шестидесяти тысяч человек собралось у Бабьего Яра...

И в следующие дни стрекотали пулеметы. На улице какие то темные личности показывали меха и драгоценности, отданые им евреями в последнюю минуту, когда у них уже не оставалось сомнения в ожидавшей их судьбе. А я все еще не хотела верить в возможность этого массового убийства. Особенно упорно ссыпалася я на фразу о явке с самыми цennymi вещами. Ведь тогда всё происшедшее было бы не только неслыханным зверством, но и грабежом, цинически-подготовленным ограблением мертвых...

Как-то, когда уже по осеннему грустно пахло землей и сухими листвами, мы с Алёшой пошли навестить дорогую могилу моей любимой подруги, похороненной на лукьянновском кладбище. Дорога за городом тянулась вдоль стены еврейского кладбища, осененного тополями. Это была та самая трагическая дорога в Бабий Яр. Под ногами, в пыли, почти сплошным ковром валялись коричневато-серые маленькие книжечки советских паспортов, обрывки облигаций, документы. Так и оставались они там, эти последние свидетели страшного убийства, пока их не скрыл белый снежный покров.

\*\*  
\*

Страшная судьба евреев была неожиданным ударом, первым жестоким разочарованием в благородстве «освободителей». Позже судьба, не скупясь, усеяла весь наш путь, пройденный при немцах, такими разочарованиями, превратившими многих людей, страстно ждавших новых варягов, в их ярых противников, а часто и в активных врагов. Всё это случилось позже, когда немцы уже полностью развернулись в своей бессмысленной жестокости, тупой самоуверенности, жадности и совершенном непонимании психологии советского человека.

Мы всё яснее видели, что они пришли отнюдь не освободителями, а колонизаторами, мечтавшими о безудержной эксплоатации богатейших украинских земель. Бескрайние поля наливной пшеницы, тенистые вишневые и яблоневые сады, ровные ряды сахарной свеклы, сливающиеся с горизонтом — как всё это необходимо для «высшей расы», собирающейся покорить мир. Но сначала нужно сделать вид, что пришельцы — друзья, нужно подавить в себе презрение и недоброжелательность к «туземцам», мешающим полностью воспользоваться всеми этими заманчивыми благами. И вот начинается грубое и неискусное, впрочем, очень кратковременное, заигрыванье: на дверях передвижного кино в первые же дни после прихода

немцев появляется надпись: «Тільки для українців»; разрешение на пользование радиоприемниками получают только украинцы; из плена отпускаются только украинцы; на работу принимаются преимущественно украинцы.

Эти объявления немцев застали население Киева врасплох: многие не знали даже о своих ближайших друзьях, русские они или русифицированные украинцы? Заполнение графы о национальности в советских паспортах было совершенно произвольным, не основанным ни на каких документах, а зависящим только от желания человека, получавшего паспорт. Но теперь от пометки в паспорте «украинец» зависело многое: позади оставалась проволока страшных немецких лагерей для военнопленных, где люди умирали, как мухи; у голодных людей появлялась возможность работы.

А работать было необходимо. Надвигалась зима, а с ней и призрак страшного голода. Советы, отступая, уничтожили огромное количество продуктов, которых им не удалось вывезти. Позже немцы поднимали со дна Днепра целые баржи, груженые мешками с мукой. Туда же, в глубокие воды Днепра было выброшено огромное количество сахара, медикаментов, зерна. Была подорвана и разрушена часть хлебных и колбасных заводов и других предприятий пищевой промышленности. Население украинской столицы осталось и без дров — обычно они планово заготавливались летом через учреждения, но неожиданно начавшаяся война помешала этому. Теперь же на доставку их тоже не было надежды — советы угнали весь транспорт, и огромный город, разрушенный, опустошенный, тоскливо ждал наступления холодов.

Работа — это надежда на какой-то паек, на какое-то снабжение. Ведь у советских граждан запасов нет — люди едва умудрялись сводить концы с концами.

\*\*

Алёша, бледный, худой, сильно ослабевший после недавнего тяжелого приступа астмы, всё еще задыхающийся от малейшего напряжения, почти не выходит из дома. В город обычно отправляюсь я. На Львовской стоят огромные очереди — идет регистрация мужчин. Их с каждым днём становится всё больше и больше на улицах — приходят отпущенные из плена, попавшие в окружение, скрывавшиеся по окрестным селам.

По вечерам, при колеблющемся свете коптилки — электростанция и водопровод разрушены — мы жадно читаем га-

зету, которую я приношу из города. В ней, казалось бы, не особенно много нового — всё то, что передумано и перечувствовано почти всеми из нас, — но видеть эти мысли накрепко приколоченными к листам скверной шершавой бумаги рядами бесстрастных, черных букв — до того ново, непривычно, что невольно перехватывает дыханье. Неужели же это свобода, настоящее человеческое право говорить обо всем, не боясь ареста, ссылки, расстрела?...

Каждое утро толпа жадно расхватывала газеты с жирными шапками сводок. В октябре — взяты Одесса, Калуга, Калинин, Старино, Харьков... Грандиозная танковая битва у Вязьмы и Брянска, длившаяся почти три недели, принесла немцам огромное количество пленных и военной добычи. Боевые операции шли уже в Крыму...

Немецкие отряды, казалось, неудержимо рвались к самому сердцу Союза — красной столице, правда, уже покинутой правительством. 22 октября появилось сообщение о том, что головные части германской армии — в 60 км. от Москвы. Каждый день я с замирающим сердцем вслушивалась в слова диктора, медленно и методически начинавшего последнююю сводку: “Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt...”.

Казалось, что падение Москвы положит конец войне, что там будет создано правительство новой, свободной России, что советские войска, десятками тысяч сдающиеся в плен, сложат оружие перед врагом-освободителем и обернут его против настоящего врага... Но такая сводка никогда не была принята, бог войны повел Россию по пути победы, не менее трагической для ее народа, чем поражение...

Но пока что победители — немцы, и мы стараемся поближе рассмотреть этих пришельцев с Запада, на описание которых советская пропаганда не жалела самых мрачных красок. Нас, привыкших к советской подозрительности, просто поражала удивительная доверчивость немцев: они входили в совершенно незнакомые дома, не опасаясь ловушек, были очень общительны с населением, нисколько не беспокоились о судьбе своего оружия, которое они бросали, отстегнув, где попало. Как это ни парадоксально, но в первые же недели после захвата Киева они устроили выставку советских антифашистских плакатов и с большим интересом приставали часами перед самыми нелестными изображениями, только насмешливо улыбаясь и посвистывая.

\*\*  
\*

А зима всё более входит в свои права, обдувает колючим ветром, осыпает мелким блестящим снегом. Теперь уже совсем рано темнеет, выходить на улицу нельзя, и вечера тянутся долгие, пустые, скучно освещенные светом крошечных керосиновых коптилок.

Тиски голода всё сильнее сжимали город. Как всегда, хуже всего приходилось интеллигенции. Чёрнь, разграбившая еврейские квартиры и в свое время натаскавшая запасов из разбитых складов и вагонов, в общем, процветала. Люди же, брезгливо относившиеся к таким способам обогащения, очутились в тяжелом положении. Все магазины были закрыты, никакого централизованного снабжения не существовало, хлеб, да и то в очень ограниченном количестве, мы впервые получили через два с лишним месяца после прихода немцев. Базары беспощадно разгонялись немецкими властями, считавшими, что таким образом они борются со спекуляцией, а на самом деле только способствовавшими ей. Горожане превращались в тени, множество пожилых людей умирало, не выдержав голода и лишений. Зато село наверстывало всё, чего оно было лишено при советах. Отступающие армии бросили на своем пути огромное количество всевозможного добра, да и вывезти всё из колхозов нельзя было так, как это удавалось при эвакуации городов. Колхозники в свою очередь зорко следили, чтобы запасы зерна или иных продуктов не были каким-либо образом испорчены, и грозили смертью тем, кто это попробует сделать.

И вот туда, в деревни и села, в лютую стужу, которой страна не знала несколько десятилетий, потянулись длинные вереницы людей с самодельными саночками, котомками и узлами, в надежде добыть для себя и своих близких немного пшена или хлеба.

Но село мстило. Мстило за все те годы, когда по полям Украины шел голод и вяли, срезанными бледными цветами никли головки десятков тысяч украинских детей. Тогда в Киеве, в огромных очередях всё же можно было достать каравай «коммерческого», т. е. продаваемого по дорогой цене в добавление к скучному пайку, хлеба, и город не знал страшных картин вымиравших от голода сел, где когда-то зажиточные крестьяне становились лодоедами. И село возненавидело тогда город. Сытые, опьяненные мечтами о возврате собственности, о разделе колхозной земли, купающиеся в самогоне крестьяне

были теперь хозяевами положения. Что за беда, если эта женщина не оставила пиджак мужа, свое шелковое платье или тонкие простины за смехотворно-маленький мешочек муки? Ведь через час снова кто-то постучится у дверей и покрасневшими от холода, непослушными пальцами будет разворачивать принесенные вещи... И недаром на робкий вопрос горожанки: «Что же вам всё-таки нужно?» — однажды последовал глумливый ответ: — «Колячей проволоки, чтоб от вас отгородиться». И недаром везде были расклеены плакаты, где на фоне обгоревших, черных развалин Киева, резко выделявшихся на зловещем лиловатом небе, изможденная женщина с ребенком на руках тянулась к небольшому мешку с мукой, на котором красноречиво стояло: «1000 руб.». Тут же был изображен и обладатель его, плотный, цветущий крестьянин. Надпись призывала: «Не пользуйтесь тем, что город в беде».

У нас некому было ходить по селам, а потому и жилось нам хуже, чем многим. Мой лыжный костюм был обменен у заезжего крестьянина на два ведра картофеля, пышно расщипая, нарядная блузка пошла за комочек масла. Из картошки, вместе с кожурой, пекли своеобразные лепешки, от которых неизменно топнило, масло делили микроскопическими порциями для похлебки. Мучительно хотелось хлеба...

На работе согреться не удавалось — совсем не топили — и люди сидели посиневшие, взъерошенные, с поднятыми воротниками, напоминая нахохлившихся, больных птиц. Зато работающих начали кормить — утром и днем давали горячий суп. Впрочем, трудно назвать супом эту жижу без жиров, без картофеля, без лука, но зато восхитительно-обжигающую, около которой можно было погреть совершенно одеревяневшие пальцы. Сначала давали только пшено, потом стали разнообразить горохом. Чтоб не оставлять немцам, этот горох в свое время был облит бензином, и этот запах остро ударял в нос, как только мы входили в столовку. Но всё же мы ели, и снова становились в очередь за «добавкой», а потом целый день во рту был привкус бензина...

Часто за одним столом с нами обедала — если это можно назвать обедом — молодая дама в маленькой шапочке, отделанной темно-малиновым бархатом. Мы разговорились — это была Олена Телига, председатель Киевского Союза Писателей, редактор «Литавров» — первой на восточной Украине литературной газеты времен немецкой оккупации. Умная, пылкая, неутомимый борец за свободу Украины и украинского слова, талантливая поэтесса, она в то же время обладала большой

личной привлекательностью и чисто-женским обаянием. Ее статьей «Окна настежь» зачитывались многие, в ней видели новую Лесю Украинку. Скромная, очень простая в обращении, очень дружественная, она легко завоевывала симпатии.

Вскоре она была арестована Гестапо, помещавшемся в бывшем здании Всеукраинского НКВД на Владимирской 33, и расстреляна в феврале 1942 г., как член ОУН (Объединение Украинских Националистов). Киевлянка по происхождению, она после многих лет жизни заграницей вернулась, наконец, в родной город, чтоб обрести в нем мученическую смерть...

В связи с трагической гибелью этой выдающейся женщины я невольно вспомнила другую киевлянку, нашего друга, талантливую писательницу Зинаиду Тулуб, прогремевшую своим монументальным историческим романом «Людоловы», времен гетмана Сагайдачного. Занимательная канва, блестящее изложение, тонкое и старательное изучение документов, относящихся к изображаемой эпохе, сделали этот роман чрезвычайно популярным. Критика пела дифирамбы писательнице, публика зачитывалась ее произведением; Зинаида Павловна, жившая дотоле в очень стесненных обстоятельствах, измученная, усталая, получила возможность скрасить остаток своей жизни сравнительным комфортом. Впрочем, ее благополучие длилось недолго — с некоторым опозданием партийная критика провозгласила ее роман вредным, «националистическим», и в июле 1937 г. писательница была арестована. Не раз «черный ворон» мчал ее из тюрьмы в то же здание на Владимирскую 33, в котором позже томилась Олена Телига...

Долго принимали передачу для З. Тулуб в киевской Лукьянновской тюрьме, потом отказали... Через несколько месяцев пришло коротенькое письмо с дальнего севера, из лагеря около бухты Тикси: «Вокруг полярная ночь... Я совсем ослабела... Ноги невообразимо распухли... Гибну...» Больше писем не было.

Всё имущество Зинаиды Павловны подверглось в свое время конфискации. Единственное, что удалось спасти старушке-тетке, это «Людоловы» — два объемистых тома с авторскими ремарками и изменениями для второго издания. Эти книги пять лет пролежали в моем столе, ожидая лучших времен. Когда Олена Телига заинтересовалась произведением, о котором она столько слышала, я дала ей прочесть дорогие мне книги. Она так и не успела их мне вернуть...

\*\*  
\*

С работы возвращаемся поздно, устало бредем по заледеневшим, нечищенным тротуарам. Невыносимо стынет рука, сжимающая кастрюльку с супом для мамы. Сама мама встречает нас, закутанная в платок, в пальто — в почти нетопленной квартире не намного теплее, чем на дворе. К ногам ее жмется наш верный Джим, отошедший, полуослепший пес, которого позже так, шутки ради, застрелили пьяные немцы...

Большая пальма отбрасывает лапчатые, причудливые тени на потолок. Неровный, дрожащий огонь коптилки освещает только маленький круг на столе. Впрочем, долго жечь ее нельзя — нужно экономить керосин. Там, за плотно закрытыми ставнями — тоже темнота. Улицы не освещены, всюду окна плотно занавешены одеялами. Выходить на улицу нельзя. Где то там, только через несколько домов — подруги, но добраться к ним невозможно. Кажется, что мы на каком-то острове, заброшенные, отрезанные от всего мира, предоставленные самим себе.

Н. Павлова.

(Окончание следует)

# ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ЛЕНИН

(СТАТЬЯ ВТОРАЯ)\*

Нет надобности останавливаться на появившейся в 1895 г. следующей работе Ленина (подписана «Тулин») «Экономическое учение народничества в книге г. Струве». В литературном отношении неряшливая, бесформенная, полная необоснованных, странных мыслей, она набита таким же антилиберализмом, как и «Друзья народа» и на эту её сторону не могли не обратить внимания Плеханов и Аксельрод, с которыми, в качестве почтительного ученика, 25-летний Ленин приехал в Швейцариюзнакомиться. Они поразились его неистовым, анархическим антилиберализмом, усматривая в нем нечто au dela их марксизма, какое-то особое идеологическое начало. Им и тогда, и потом осталось неясным, каким таинственным, могучим флюидам подчинялось политическое мышление Ленина. Они доказывали Ленину, что самодержавно-крепостническая Россия не есть «сложившееся буржуазное государство»: страна стоит не перед социалистической, а перед буржуазной революцией, либералы могут быть союзниками социал-демократии в общей борьбе против царизма и нельзя их рассматривать только как злейших врагов. После долгих разговоров Аксельроду, наконец, удалось убедить Ленина отказаться от утирированных взглядов, и Ленин вернулся в Петербург с измененной, исправленной системой социально-политических взглядов, из коей было изгнано (временно!) убеждение насчет возможности уничтожения капитализма одновременно с низвержением царизма.

Новая для Ленина концепция жила с ним в тюрьме, потом в ссылке, и насколько тогда Ленин ушел от взглядов прежнего времени, видно из составленного им в 1896 г. наброска программы партии. Он уже не предает проклятию либералов, а желает поддерживать их борьбу и протесты. Социал-демократия должна и «будет поддерживать все слои и разряды (?) буржуазии, всех и всяческих представителей буржуазии, выступающих против чиновниччьего управления и неограниченного правительства». Те же мысли и в брошюре «Задачи русских социал-демо-

\* ) См. кн. 26-ю «Нового Журнала».

кратов», где, кроме того, есть не лишенная интереса рекомендация буржуазным партиям «без ложного стыда» «развивать классовое самосознание тех общественных групп и классов, для которых социализм вовсе не нужен, но которые чем дальше, тем сильнее чувствуют гнет абсолютизма и необходимость политической свободы». В то время у него нет, как будто, и следа мыслей, развитых через несколько лет на страницах «Что делать», где доказывалось, что в стачечной борьбе с фабрикантами и борьбе за необходимые им законы, рабочие не приобретают никаких элементов социалистического сознания, присущего лишь «извне» особой социалистической бациллой, «двигателями двигателей». В заметках 1896 г. и брошюре «О стачках» в 1899 г., сильно перегибая палку, он утверждает как раз обратное: «всякая стачка наводит рабочих с громадной силою на мысль о социализме». «Рабочие приобретают классовое самосознание, постоянно черпая его из той самой борьбы, которую они начинают вести с фабрикантами».

И в тюрьме, и в ссылке, как о том свидетельствуют его книги «Развитие капитализма в России» и сборник «Экономические этюды», Ленин, отбрасывая свой прежний грубый анти-капитализм, был очень недалек от апологетики великого прогрессивного значения развивающегося капитализма. Для расширения нужного капитализму внутреннего рынка, он был готов, вслед за Струве и Туган-Барановским, защищать высокие цены на сельско-хозяйственные продукты, хотя знал, что такая мера, выгодная крупным помещикам и «кулакам», очень невыгодна рабочим. В ссылке его антилиберализм настолько исчезает, что в крайне любопытной статье «От какого наследства мы отказываемся» (1897 г.) Ленин, отвергнув идеальное наследство народников, ведет родословную русского марксизма, от некоего либерал-консерватора Скальдина. Из ответа Ленина Боровскому мы теперь знаем, что статьи Скальдина «В захолустье и в столице», печатавшиеся в 1867–68 г.г. в «Отечественных Записках» (они вышли затем в виде книги), Ленин читал еще в Кокушкине в 1888 г. Энгельс в брошюре «Soziales aus Russland», появившейся в 1875 г., с дополнением переизданной в 1894 г. и в следующем году напечатанной на русском языке в переводе В. И. Засулич, говоря об освобождении крестьян в России, в числе заслуживающих внимания работ по этому вопросу назвал книгу Скальдина. Узнав заграницей о таком отзыве, Ленин, с священным вниманием прислушивавшийся ко всем замечаниям Маркса и Энгельса, снова ухватывается за чтение Скальдина. Книга Скальдина находится в его руках, когда он си-

дит в тюрьме (он попал в нее вскоре после приезда из заграницы), она едет с ним в ссылку в Сибирь, и когда Ленин пишет там «От какого наследства мы отказываемся» — цитаты из нее составляют фон статьи.

Ленин знал, что «Скалдин-буржуа», но, почтительно относя его к разряду «наших просветителей», стал видеть в нем в некоем роде предтечу марксизма. Он хвалит Скалдина за ясный взгляд на существующие пережитки крепостного права, за его критику сословного строя, общины, круговой поруки крестьян, за его веру, что «отмена крепостного права принесет с собой общее благосостояние». Скалдин, по его мнению, принадлежит к людям, которые в 60-х годах защищали «всестороннюю европеизацию России», «европейские формы жизни», «европейские идеалы», «западно-европейскую культуру». Он резко противопоставляет Скалдина народникам. «Те всегда вели войну против людей, стремившихся к европеизации России», выдумывали какие-то «самобытные» пути ее развития, отрицали прогрессивность западно-европейского капитализма, настаивали, что с этого пути «нужно свернуть», взять другой, вне капитализма. Вывод из статьи Ленина таков: народническое мировоззрение, хотя оно воодушевляло десятки лет радикальную и революционную интеллигенцию, нужно отвергнуть, а наследство Скалдиных, просветителей, представителей либеральной прогрессивной буржуазии, следует принять; к марксизму оно стоит несравненно ближе, чем народничество.

Будучи убежден в высокой прогрессивности капитализма, отвергая всё, что может задержать его развитие, избегая нанести урон земледельческому капитализму, Ленин, сообразно с этим, составил самую умеренную аграрную программу, в которой речь идет не о передаче крестьянам помещичьей земли, а только земель, отрезанных у них в 1861 г. и служащих «в руках помещиков орудием закабаления крестьян». Не трудно показать (удивительно, что никто тогда этого не сделал!), что программа «отрезков» или «обгрызков», как называли ее социалисты-революционеры, подсказана Ленину книгою в сё того же Скалдина, в 80-х годах, переставшего быть даже либерал-консерватором, а сделавшегося яростным реакционером. Так как бурные скачки и повороты свойственны натуре Ленина, то он, в 1905 году, от отрезков сразу перескочил к требованию конфискации всего помещичьего землевладения, но в течение ряда лет защищал с великой страстью свою программу «отрезков» и добился того, что она была принята в 1903 году партийным съездом.

Период со времени возвращения Ленина из поездки в Европу (конец 1895 г.) до конца ссылки (январь 1900 г.) составляет особую полосу его жизни, по духу, взглядам, состоянию психики глубоко отличающуюся от жизни предшествовавшей и жизни последовавшей. Он, конечно, продолжает любить и почитать Чернышевского, но всё-таки от него отходит вглаза. Критикуя в 1899 г. подпольную петербургскую газету «Рабочая Мысль», он писал, что она «бессмысленно цитирует Чернышевского» и «бессмысленно надерганными цитатами стремится показать, будто Чернышевский не был утопистом». Такого рода замечания по адресу своего первоучителя, ни прежде, ни позднее, Ленину не были свойственны. «Редакция «Рабочей Мысли» обнаружила свое неумение дать скольконибудь связную и всестороннюю оценку Чернышевского, его сильных и слабых сторон». Эта фраза Ленину тоже не свойственна. «Слабые стороны» Чернышевского он прежде не видел, вернее, не хотел видеть и рассудочность в его оценку не вносил. «Пред заслугами Чернышевского, — заявил он Воровскому, — меркнут все его ошибки». Любопытно, что рассудочному отношению к Чернышевскому у Ленина сопутствует появление такого же отношения и к Марксу. «Мы вовсе не смотрим, — писал Ленин, в том же 1899 г., — на теорию Маркса, как на нечто законченное и неприкосновенное». Это необычайное для него заявление. Подобной вещи ни прежде, ни потом Ленин не говорил. «Ничто в марксизме не подлежит ревизии, — говорил он позднее, в марте 1904 г., пишущему эти строки. — Ревизии не подлежит ни марксистская философия, ни материалистическое понимание истории, ни экономическая теория Маркса, ни теория трудовой стоимости, ни идея неизбежности социальной революции, ни идея диктатуры пролетариата, короче, ни один из основных пунктов марксизма».

Новые черты в мышлении Ленина были замечены некоторыми лицами, с которыми он вел переписку, в частности, П. Б. Струве, писавшим о том А. Н. Потресову. «Ильич (Ленин) скорее удалился от ортодоксии, чем приблизился к ней. Он еще не отрешился от ортодоксии, но, надеюсь, что рано или поздно это произойдет». От ортодоксии Ленин не отошел, но стал (для него тоже необычайно!) много терпимее. «Я, сообщал он сестре Анне, теперь вообще стою за смягчение резкостей. В печати они выходят неизмеримо сильнее, чем на словах... Надо быть поумереннее в этом отношении». В указывающую нами эпоху Ленин — убеденный западник,

европеец. Поездка в Европу, жизнь в Берлине, где он изучал рабочее движение, произвела на него большое впечатление. В ссылке он мыслит, как европейский социал-демократ. «Европейский образ мыслей и чувствования, — повторяет он за Шульце-Геверницем, — не менее необходим для успешной утилизации машин, чем пар, уголь и техника». Он с глубоким почтением относится к вождям германской социал-демократии, особенно к К. Каутскому, книгу которого об аграрном вопросе считает самым «замечательным» произведением, появившимся после III тома «Капитала». С таким же величайшим почтением он относится к Плеханову и Аксельроду. В первого, по его словам, он даже «влюблен». В ссылке его ближайшими идеяными товарищами были будущие меньшевики Мартов и Потресов, хотя у них от загибов и перегибов Ленина, его апологии капитализма, защиты высоких цен на сельскохозяйственные продукты, породнения со Скалдином, по выражению Мартова, «временами сосало под ложечкой». Этим, будущим меньшевикам Ленин предложил «тройственный союз» для организации заграницей газеты «Искра». По всему характеру тогдашних взглядов Ленина, состоянию психики, временно освободившейся от присущего ему хилиазма, — описываемый период его жизни можно, хотя это звучит парадоксально, назвать «меньшевистским». Вряд ли это состояние, искусственно поддерживаемое некоторой идеальной системой, могло продолжаться долго. Оно не соответствовало ленинской натуре и под толчком одного происшествия с треском и навсегда разлетелось осенью 1900 г. То, что произошло, для Ленина было столь важным (оно оказалось важным и для истори!), что, сидя в Steindes-Wiener Grand Cafe, перед вокзалом в Цюрихе, он счел нужным это записать на попавшихся в его руки листках с заголовком кафе. Этот документ под заглавием «Как чуть не погибла Искра», ставший известным после смерти Ленина, стоит совершенно вне всего того, что он писал. Это — исповедь, и Ленин рассказывает в ней о своих чувствах, переживаниях, горечи разочарования и в откровенности бросает ошеломляющее, с обликом его столь мало соединимое, признание: «До такой степени тяжело было, что, ей Богу, временами мне казалось, что я расплачусь».

Что же случилось? На этом исключительно важном моменте в жизни Ленина, не привлечением к себе внимание биографов, нужно обязательно остановиться, он тесно связан с разбиравшей нами темой — влиянием на него Чернышевского. Члены «тройственного союза», Ленин и Потресов (Мартов

оставался еще в России) приехали в Швейцарию приглашать «стариков», Плеханова, Аксельрода и Засулич, участвовать в организуемой ими нелегальной газете. Главным образом, Ленину принадлежала идея газеты (газеты, как организатора партии), он обдумал ее план, а Потресов, в придачу к своему взносу, достал деньги на ее издание. Плеханов, с которым начались переговоры, в личных сношениях и в общественной деятельности был столь же мало приятен, как Маркс. Во время переговоров (будем цитировать Ленина) он проявил «абсолютную нетерпимость», полную «неспособность и нежелание вникнуть в чужие аргументы» (можно подумать, что Ленин рисует свой будущий портрет!). Он внес в переговоры «атмосферу ультиматума», его «невероятная резкость (а резкость Ленина?) инстинктивно толкала на протест», он был “*recht habernisch*” до “*nees plus ultra*”, непомерно уверен в своей неизменной правоте (не в этом ли основная черта Ленина?). К участвующим в легальной прессе марксистам (Струве, Туган-Барановскому) он относился «с ненавистью, доходившей до неприличия», заподозревал их в шпионстве и заявлял, что «расстрелял бы их, не колеблясь».

Потресов, — а только ему Плеханов обязан изданием в Петербурге своих работ (Бельтова!), — был совершенно сложившейся политической фигурой, а Ленин не только автор большого исследования «Развитие капитализма в России». В предисловии (1898 г.) к написанной Лениным в ссылке брошюре «Задачи русских социал-демократов», Аксельрод характеризовал его как «революционера, счастливо соединяющего в себе опыт хорошо-го практика с теоретическим образованием и широким полити-ческим горизонтом», принадлежащего вместе с Мартовым «к самым талантливым и наиболее влиятельным среди основателей наших главных рабочих организаций».

Для Плеханова всё это как бы не существовало. Безмерно самолюбивый, видящий в себе наместника Маркса в России, он недвусмысленным образом дал понять Ленину и Потресову, что в сравнении с ним они только маленькие провинциальные *apprentis* в политике и литературе. В газете он хотел быть полновластным *maitre*, а отнюдь не соредактором. В 1934 году нам пришлось беседовать об этом событии «давно минувших лет» с А. Н. Потресовым, последним из оставшихся тогда в живых ре-дакторов «Искры». Несмотря на тяжелое столкновение с Плеха-новым тогда и позднее, в 1909 г., Потресов говорил о нем очень мягко, явно стремясь его обелить и всё-таки должен был при-знать, что поведение Плеханова во время переговоров было «до

невозможности вызывающим, до крайнего предела оскорбительным». Это глубоко потрясло его, а больше всего Ленина. «В эти дни, рассказывал Потресов, он перестал есть, спать, осунулся, пожелтел, даже почернел».

«Мою влюбленность в Плеханова, писал в своей исповеди Ленин, как рукою сняло. Мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением. Ни перед кем я не держал себя с таким «смирением» и никогда не испытывал такого грубого «пинка». Нечего сомневаться в том, что это человек нехороший, что в нем сильны мотивы мелкого самолюбия и тщеславия; товарищеских отношений он не допускает, не понимает. Мы (он и Потресов) были раньше влюблены в Плеханова, не будь этой влюбленности, смотри мы на него со стороны, мы иначе повели бы себя, не испытали бы такого в буквальном смысле краха. Младшие товарищи «ухаживали» за старшим из громадной любви к нему, а он вносит в эту любовь атмосферу интриги и заставляет почувствовать себя не младшими братьями, а дурячками, пешками, которыми можно двигать по произволу. Это был самый резкий жизненный урок, обидно грубый. Влюбленная юность получает от предмета своей любви горькое наставление: надо ко всем людям относиться без сентиментальности, надо держать камень за пазухой. Прощай журнал! Бросим всё и уедем в Россию. Всё налаживалось к лучшему после долгих невзгод и неудач и вдруг налетел вихрь и конец, всё опять рушится. Неужели это я — ярый поклонник Плеханова — говорю о нем с такой злобой и иду, с сжатыми губами и чертовским холодом на душе, говорить ему холодные и резкие вещи, объявлять ему о разрыве отношений. Дурак ты, если не видишь, что мы теперь уже не те, что мы за одну ночь переродились»...

Разрыва не произошло. Плеханов, поняв, что зашел слишком далеко и не встречая должной поддержки Аксельрода и Засулич, пошел на попятную. «Искра» не потухла, а появилась на свет под общей редакцией Плеханова, Аксельрода, Засулич, Ленина, Потресова, Мартова. О происшедшем было решено никому не говорить. «По внешности, заключал Ленин, как будто ничего не произошло, только внутри порвалась какая-то струна и вместо прекрасных личных отношений наступили деловые, сухие, с настоящим расчетом по формуле: *Si vis pacem — paga bellum*, — если хочешь мира, готовься к войне».

В том, что Ленин назвал «крахом» нельзя видеть лишь психологическую встряску, после которой он принял себе за пра-

вило «держать камень за пазухой». «Крах» имел и другие, более важные, последствия: с этого момента, т. е. с конца августа 1900 года, начинается ликвидация идеиного и психологического состояния, характерного для Ленина в тот период его жизни, который я называл «меньшевистским». С исчезновением влюбленности в Плеханова исчезает и его идеиное подчинение Плеханову и, вместе с тем, Аксельроду. Он признает в Плеханове большую силу, но уже никогда не будет видеть в нем вызывающегося над ним — Лениным — теоретика и революционера. Поэтому, в течение трех лет совместного редактирования «Искры» у Ленина — постоянные острые стычки с Плехановым по разным вопросам тактики и программы партии. Не совсем верна фраза Ленина, что после испытанного им краха он «переродился в одну ночь». Он не переродился, а, откинув навязанное влияние, просто возвратился к самому себе, к своему подлинному настоящему «я», обуздывать которое теперь он уже не хотел. А что такое это ленинское «я»? Ленин принадлежал к «одержимым» натурам. Он был одержим идеями и не он ими владел, а они им. Какие же идеи им владели? Идеи Маркса? Но я, кажется, достаточно показал, что душевную политическую суть Ленина нельзя уложить в футляр одного только марксизма, хотя с внешней стороны всё говорит, как будто, за то, что она в этот футляр укладывается без остатка. На Ленина, еще раз повторяю, до знакомства его с Марксом, огромное влияние было оказано Чернышевским, и его возвращение к самому себе не могло быть ничем иным, как возвращением и к Чернышевскому, ибо тот его «зарядил», вложил в мозг незабываемые наставления, в том числе о том, каким должен быть революционер.

Неопровергимым свидетельством возвращения Ленина к Чернышевскому служит (если не брать более мелкие вещи) его статья «Гонители земства и Аннибалы либерализма», появившаяся в 1901 году в журнале «Заря». Она подверглась критике Плеханова, Засулич, Аксельрова, кое-что в ней Ленин согласился изменить, но на коренную ее переделку пойти отказался. Статья проникнута такой же неистовой ненавистью к либералам, как его первое произведение 1893-94 г. От Плеханова и Аксельрова он явно ушел: «возвратился ветер на круги свои». Бичуя «трусливую», «фарисейскую», «дряблую», «позорную» политику русских либералов, начиная с 60-х годов, Ленин абсолютно не хотел считаться с тем, что нигде в мире либерализм не выдвигал на первый план насильтственные приемы борьбы, всегда предпочитая реформы кровавой революции,

всегда стремился использовать легальные пути, избегая разжигать до белого каления ненависть идущих за ним народных масс. А именно такую тактику в борьбе с царизмом, полностью совпадающую с тактикой революционной партии, Ленин требовал от русских либералов. Он клеймит их за отсутствие стремления к «непреклонно-непримиримой борьбе», «замену революционной борьбы борьбою за реформы», сочувствие к «концепции мирного, легального развития», нежелание «будить ненависть, возмущение, разжигать готовность и страсть к борьбе» у народных масс. Беря под свою защиту «задиру» Чернышевского от «огрызавшихся» на него либералов, Ленин, в конечном счете, допускает либерализм лишь в роли прислуги при делающих историческое дело революционерах. По просьбе Плеханова, сугубо убеждавшего «выражаться дипломатичнее», фраза Ленина с требованием от либерализма услуг была им вычеркнута и заменена другую, но, в сущности, мало чем от нее отличающейся: «объединение либералов полезно для поддержки нелегальной борьбы, а не для фразерства о значении легальной деятельности».

В этой статье Ленин представляет себе соотношение различных классов, партий, их идеологии под весьма странным освещением. Это «кокушинское» освещение, это концепция Чернышевского о «новых людях», слово которых будет неукоснительно «исполняться всеми». И подтверждением, что Ленин, уйдя от Плеханова и своих взглядов времен тюрьмы и ссылки, в это время уже снова шел в русле идей Чернышевского, является тот факт, что в том же 1901 году он принялся за писание «Что делать», вышедшего в 1902 г., а в 1904 г. в книге «Шаг вперед — два шага назад» порвал всякую идейную связь с меньшевизмом, несмотря на позднейшие попытки объединения, навсегда у него исчезнувшую. В апреле 1905 года на т. н. III-ем съезде партии (на нем присутствовали лишь большевики, меньшевики его бойкотировали) Ленин провел резолюцию о «контр-революционном» характере всего буржуазно-демократического направления «во всех его оттенках», начиная «от умеренно-либерального» и кончая «более радикальным», представленным «многочисленными группами свободных профессий». Как далек он от обещаний поддерживать в борьбе с абсолютизмом «всех и всяческих» представителей буржуазии! Теперь без разбора он всех предает анафеме<sup>1</sup>. В

<sup>1</sup> Марксу чужд этот взгляд. Он критиковал изображение либерально-демократических партий в виде некой «реакционной массы».

## Н. ВАЛЕНТИНОВ

1893-94 г. в «Что такое друзья народа» Ленин бросил фразу, что социалисты должны «понять неизбежность и настоятельную необходимость полного окончательного разрыва с идеями демократов». Тогда такая фраза, казалось, вылетела как шальная пушка из ружья, словно кто-то нечаянно или случайно нажал на курок. В разгар первой революции уже ясно, что никакой случайности здесь нет, а есть совершенно определенная политическая ориентация.

Годы 1905-7 г.г. были политической весной России, годы октroiования конституции и свобод, созыва и распуска двух первых ярко-оппозиционных Государственных Дум, общественного пробуждения после векового сна, политического самоопределения, образования политических партий и союзов, появления новых газет, свободного выступления всех общественных оттенков на свободных собраниях. Как к этому концу всероссийской политической обломовщины должен был бы отнестись Ленин? Семь-восемь лет перед этим, в эпоху своего «меньшевизма», он писал: «настоящие политики несоциалисты, демократы несоциалисты, могут принести немалую пользу, стараясь сблизиться с политически-оппозиционными элементами нашей буржуазии, стараясь пробудить политическое самосознание класса нашей мелкой буржуазии, мелких торговцев, мелких ремесленников, класса, который везде в Западной Европе сыграл свою роль в демократическом движении». Необходимо, чтобы «демократы оставили ложный стыд, препятствующий сближению с буржуазными слоями народа, т. е. чтобы они не только говорили о программе политиков-несоциалистов, но и поступали сообразно с этой программой». В 1905-7 г.г. Ленин стоит на диаметрально-противоположной позиции. Рост «политического самосознания» вчера еще спавших общественных групп приводит его в величайшее раздражение. Он бешено ненавидит этот пробудившийся мир «порядочных», как он иронизирует, людей: «Мы радуемся, что нам удалось всей своей деятельностью отгородить себя прочной стеной от круга порядочных людей русского общества».

Говоря, что «социалистический пролетариат не может отказать несоциалистической мелкой буржуазии в *п о з в о л е н и и и и т т и з а н и м*», Ленин считал, что вместе с этим позволением должна быть «осуществлена гегемония пролетариата над демократической мелкой буржуазией». Но ее политические представители не испытывали ни малейшего желания удовлетворить или слушать требования Ленина. Одни игнорировали этого неизвестного, прибывшего из Женевы, эмигран-

та, другие — над ним смеялись, третьи с ним непочтительно полемизировали. И это распаляло гнев Ленина. Безапелляционно он заносит все политические группировки русского города в лагерь реакции. Он утверждал, что в отличие от революций в Западной Европе, русская революция происходит в условиях полной реакционности настроений всего городского населения. Забывая, что только что на съезде в Стокгольме (в 1906 г.) объединился с меньшевиками, он и их относит в лагерь «предателей революции». Перефразируя слова Чернышевского из очерка «Русский человек на rendez-vous», Ленин презрительно бросал в лицо демократическому лагерю: «Эх, вы, зовущие себя сторонниками трудящейся массы! Куда уж вам ходить на rendez-vous с революцией». «Пусть трусы, белоручки, боящиеся себе испачкать руки, сидят дома, пусть идут прочь». «На свидание с революцией могут выходить не трусы, подобные «тургеневскому герою, сбежавшему от Аси», а люди, воспетые Чернышевским — «энергичные, живые, подвижные». Таковыми могут быть только большевики и «революция может побеждать лишь при гегемонии большевистской социал-демократии».

Крайне характерно, что жало ненависти Ленина обращено не против царского правительства и правых партий — оплота самодержавия, а, главным образом, против левых партий и оппозиции царизма. Главенствующую роль среди последней играла, сильная своими интеллигентскими кадрами, партия «ка-дэ» — конституционно-демократическая, стоявшая за всеобщее избирательное право, ответственное перед Государственной Думой министерство, социальные реформы, принудительное отчуждение земли у помещиков. Если бы, как о том говорили, правительственная власть была передана в руки ка-дэ и, поддержанная народом, она смогла надолго удержаться, значение такого события было бы громадно: открылась бы новая страница истории России, вступление ее на широкую дорогу европейского развития, обставленного законностью, свободой и реформами. Не думаем, чтобы потом могла иметь место октябрьская революция. Ленин слышать не хотел о правительстве из ка-дэ. «Социал-демократия ни в каком случае не может поддерживать кадетской политики и кадетского министерства. Она должна вскрыть пред массами предательский характер этой политики». Ленин руководили те же самые мотивы, которые определяли позицию Чернышевского перед освобождением крестьян (Ленин комментировал эту позицию в «Что такое друзья народа»). Когда

Чернышевский увидел, что реформа не будет произведена так, как ему хотелось, он стал считать, что было бы лучше, чтобы не либералы, а правые помещики руководили ходом реформы. Либералы могут что-то дать крестьянам, правые — ничего. «Лучше не давать ничего, ни земли полевой, ни усадебной. Пусть будут освобождены без земли. По крайней мере крестьянин будет прямо знать, какая судьба ему готовится». Чем хуже будут условия освобождения, чем больше, по выражению Чернышевского, будет «мерзости», тем более и шансов на крах, на восстание крестьян (в редакции «Современника» надеялись, что оно произойдет летом 1863 г.). Словом, лучше правые, чем либералы.

Взгляды Ленина не отличались от позиции его учителя. Он видел, что правые «всё наглее вырывают из рук народа завоевания революции» и, тем не менее, с упорством маниака твердил о «вздорности сказок о черносотенной опасности и очевидности кадетской опасности». «Величайший вред революции и делу рабочего класса приносят плехановцы, которые кричат нам неустанно: надо бороться с реакцией, а не с кадетами». Препятствия, ставимые самодержавием и правыми партиями делу революции и социализма, он считал неизмеримо менее опасными чем те, что исходят от буржуазной интеллигенции. Правая реакция держит над народами только палку и нагайку, тогда как интеллигенция может влиять на него убеждениями, доводами, доказательствами, объяснениями. Не палка страшна, а идеиное влияние. Буржуазная демократия, став правительством, может провести разные реформы, изменить всю социально-политическую обстановку и благодаря этому убедить крестьянство и пролетариат не итти на *rendez-vous* с великой кровавой революцией, о которой мечтал Ленин. Вот чего он боится. «Влияние интеллигенции, непосредственно не участвующей в эксплоатации, обученной оперировать общими словами и понятиями, носящейся со всякими «хорошими» заветами, влияние этой буржуазной интеллигенции на народ опасно. Тут и только тут есть налицо заражение широких масс, способное принести действительный вред, требующее напряжения всех сил социализма в борьбе с этой отравой». Всё, буквально всё, основное, что проповедывал Ленин в 1906-7 г.г., он уже сказал 24 года перед этим — в своем первом произведении «Что такое друзья народа», написанном под влиянием его «покорившего» Чернышевского. «Кружится, кружится на ходу своем и возвращается ветер на круги свои».

## ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ЛЕНИН

Однако, вот какое, очень важное, отличие должно было, казалось, отделять Ленина от Чернышевского. Славянофилы, — национальной истории и истории русского православия, — настаивали, что Россия не Европа, у нее особая стать и ей назначена иная, чем Европе путь развития. Герцен после 1848 года также стал верить в этот особый путь. «Если нас раскуют — путем капитализма мы не пойдем». В своде «физиологических законов» нет параграфа, согласно которому нам предстоит социально-экономическая дорога романо-германских народов. Благодаря общине, русский человек ближе других подходит к новому социальному устройству. Подхватывая эту линию развития национальной мысли и с помощью иностранных заимствований придавая ей резко-революционный, далекий от славянофильства и Герцена, характер, — Чернышевский утверждал, что Россия имеет все шансы миновать, перескочить чрез «среднюю» буржуазную стадию развития и, таким образом, установить у себя социалистические порядки. В «Критике философских предубеждений против общин» (1858 г.) свое убеждение он выразил с помощью, непонятных цензуре, но понятных ближайшим к нему читателям — нарочито туманных формул. Он считал «забавными» все tolki о, так называемом, «органическом развитии», о «невозможности» у нас «другого учреждения» (т. е. социализма), «о нашей неопытности, неприготовленности». «Всё, чего добились другие — готовое наследие нам. Не мы трудились над изобретением железных дорог — мы пользуемся ими». Страны отсталые с помощью скачка могут «подыматься с низшей степени развития прямо на высшую» и, благодаря влиянию передового народа, не «мучаясь прохождением страшно длинного пути», «могут переходить с первой или второй степени развития прямо на пятую или шестую, пропуская средние».

Но разделял ли Ленин мысль о возможности такого скачка, ухода от буржуазного строя, капитализма и буржуазной революции? Не он ли в 1905 году в книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции» писал, что нужно устранить «нелепые полуанархические мысли о немедленном осуществлении программы-максимум, о завоевании власти для социалистического переворота. Степень экономического развития России (условие объективное) и степень сознательности и организованности широких масс пролетариата (условие субъективное, неразрывно связанное с объективным, т. е. делающим сейчас невозможным полное освобождение рабочего класса. Только самые невежественные люди могут игнорировать это»?

рировать буржуазный характер происходящего демократического переворота. Те социально-экономические преобразования, которые для России стали необходимостью не только не означают подрыва капитализма, подрыва господства буржуазии, а, наоборот, они впервые очищают почву для широкого и быстрого, европейского, а не азиатского развития капитализма, они впервые сделают возможным г о с п о д с т в о б у р ж у а з и и, как класса. Совершенно нелепа мысль, что буржуазная революция не выражает интересов пролетариата. Буржуазная революция в высшей степени выгодна пролетариату».

Эти строки, повторяя, написаны Лениным в 1905 году, в июне. В таком случае, чем и как объяснить его политику в 1905-7 г.г., явно расчитанную на уход от буржуазного строя? Не тем ли, что в хмелю революции он потерял голову? Не только этим. Цитированные слова — шелуха, последний остаток еще сохранившегося «меньшевистского» наречия. Фразеология, не имеющая за собой никакого внутреннего убеждения, никакой психологической поддержки. Крепкие слова, которыми он ее сопровождает, не должны обманывать, они только привычка. Формула о буржуазной революции для него была живой, когда он писал, например, «Развитие капитализма в России» или «От какого наследства мы отказываемся». Но она у Ленина выдохлась, высохла, даже не в 1905 г., ибо уже тогда он заявлял, что «мы не остановимся на полпути, мы за непрерывную революцию», а раньше, когда принял за свое «Что делать». А раз формула держалась на кончике языка, ничем Ленина не связывала, ни к чему не обязывала, ничто уже не мешало ему в 1906-7 г.г. действовать так, как он хотел. Что из этого получалось? Относя без разбора всю городскую буржуазию, в том числе и мелкую, демократическую, во всех ее партийных выражениях, вплоть до эс-эров и «предателей меньшевиков», в лагерь контр-революции, Ленин толкал против этого лагеря пролетариат и требовал «диктатуры пролетариата», якобы, для успешного доведения до конца задач буржуазной революции. Получалось нечто несообразное: буржуазная революция б е з буржуазии, п р о т и в буржуазии и с диктатурой пролетариата н а д в с е й буржуазией. Что угодно, но это уже не буржуазная революция. Нас в молодости учили, что это называется социалистическим переворотом. Нет, замечал Ленин, это всё-таки революция буржуазная, нужно только понять, что «победа буржуазной революции у нас невозможна как победа буржуазии». Она перестала быть движущей силой революции и потому последняя должна принять

необычный вид и характер. Имея против себя весь город, яко-бы, перешедший на сторону контр-революции, пролетариат один не в состоянии полностью осуществить задачи революции, но у него естественный союзник в и е города, в лице крестьянства, жаждущего экспроприировать помещиков. Союз этих двух сил «есть не что иное, как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», она и обеспечит победу буржуазной революции. Хитрил Ленин! Формально-двуличная диктатура, к которой он взвывал, фактически одночленна. Она псевдоним диктатуры пролетариата. Насколько политически мало, в «двойной» диктатуре, он отводил места крестьянству, нужному ему только для ломки шеи помещиков, ясно из его слов: «без инициативы и руководства пролетариатом крестьянство н и ч т о». Но «н и ч т о» и сам пролетариат без руководства железно-организованной большевистской партией. Она — гегемон, «двигатель-двигателей» и слово ее должно «исполняться всеми».

Комплекс идей, развивавшихся Лениным в 1905-7 г.г. вел его к революции октябрьского типа и в 1917 г. к ней и привел; если же этот комплекс «размотать», рассмотреть стадии его формирования, свести к отправному пункту, мы упремся во флигель Кокушкина, где — читайте запись Воровского! — «энциклопедичность знаний Чернышевского, ярость его революционных взглядов, беспощадный полемический талант меня (Ленина) покорили». «Скачком» Ленина из царской России прямо в социалистический строй («на всех парах к социализму!») бессознательно дирижировали, издавно и глубоко пропитавшие его душевную ткань, идеи Чернышевского. Ленин мог клясться и клялся именем Маркса, не переносил «хулу» на него, уверял, что «влюблен» в него, но настоящая душа его всё-таки тянула не к Карлу Марксу, а к Николаю Гавrilовичу Чернышевскому.

Как ни важны перечисленные нами «приобретения» Ленина от Чернышевского — это еще не все, чем он зарядил вождя октябрьской революции. Нам нужно в дополнение внимательно остановиться на следующих словах Ленина, записанных Воровским: «величайшая заслуга Чернышевского в том, что он показал, каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен ити, какими способами и средствами добиваться ее осуществления». С особым напором подчеркивая слова «каким» и «должен», Ленин произнес эту фразу, обращаясь, главным образом, ко мне и

снова упрекая меня (он был прав, я тогда на самом деле этого не понимал) в непонимании, в чем влияние Чернышевского, сделавшегося учителем сотен «настоящих» революционеров. В каком же произведении он показал Ульянову-Ленину черты правильного идеального революционера? Не в «Что делать» ли в лице «высшей натуры» Рахметова, которого «пламенная любовь» к добру превращала в «мрачное чудовище»? Чтобы не дрогнуть в борьбе за свою цель, это «мрачное чудовище» подвергало себя мучительному самозакаливанию. Испытывая свою выносливость, Рахметов ложился спать на войлок, в который «натыканы сотни (?) мелких гвоздей шляпками с исподу остриями вверх», высовывавшимися из войлока «чуть ли не на полвершка». «Спина и бока Рахметова были облиты кровью. Под кроватью была кровь, войлок также в крови». Слишком всё это аляповато и грубо, чтобы с этим считаться всерьез — это скорее номер цирка или экзерсис факира. У Чернышевского есть другие произведения, где без таких фокусных штучек весьма основательно обрисованы черты «настоящего» революционера. Мы имеем в виду его обзоры иностранной жизни, т. е. как раз те статьи, которые «с особенным интересом и пользою» читал, по его словам, Ленин. В них, между прочим, часто наталкиваемся на такого рода замечания: «Читатель должен заметить, что мы вообще стараемся не брать на себя претензии хвалить или порицать, а стараемся только рассказывать факты. Читатель не ребенок, он сам может видеть, что хорошо, что дурно». Это — пыль в глаза, заслон от цензуры. В действительности же, Чернышевский никогда не оставлявший проповедь, претендует именно на то, чтобы внушить читателю — что хорошо, что худо и, пользуясь иностранными фигурами, политиками, государственными деятелями, хвала одних, порицая других, — извилистым путем, но очень ловко, идет к своей цели, к поучению, как нужно делать революции и какими свойствами для их успешности должны обладать революционеры. Для выполнения такой задачи, разумеется, он мог оперировать лишь фигурами из иностранной, а не русской жизни. Слово «революция», как правило, он употреблять избегает, вставляя его лишь изредка. Он заменяет его термином «исторический путь», «потребность времени», «общественное дело», чаще всего «дело», а вместо революционер, «вождь революции» — ставит «государственный человек» или просто «человек». Вылавливая из его иностранных обзоров указания и замечания, относящиеся к разбираемому вопросу (ограниченные местом даем их в минимальном числе) — можно

получить сводку, весьма ясно устанавливающую, чему наставлял Чернышевский, иначе говоря, чему у него учился Ленин<sup>2</sup>.

«Политический вождь должен быть решительным и, раз поставив себе определенную цель, и т т и б е с п о щ а д и о до конца».

«Исторический путь не тротуар Невского проспекта, он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрытым пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она занятие благотворное для людей, но н е с о в с е м о п р я т и о е. Впрочем, нравственную чистоту можно понимать различно»<sup>3</sup>.

«Государственный человек (революционер Н. В.) полезен только тогда, когда его характер и его образ действий сообразен с обстоятельствами. Кто не понимает, что ему надобно делать в данном положении или не хочет делать того, что необходимо, тот лучше пусть не становится в это положение. Пусть оставит место действовать другим, ждет, пока другие, быть может, м е н е е ч и с т ы е, удовлетворят потребность времени. Если вы не хотите грязнить сапог, сидите дома, пока грязные дворники чистят улицу, душная пыль которой превращена в грязь грозой. Э т о в р е м я ч и с т к и н е у д о б о и для прогулок чистоплотным людям. Они только будут мешать людям, у которых ч и с т о п л о т н о с т ь не доходит до пренебрежения к исполнению дел, нужных для приведения в порядок тротуаров. Аполлон не принимался за очищение Августовых конюшень, это дело мог исполнить только Геркулес».

«Гордясь именем демократов, умеренные республиканцы называли демагогами всех, кто хотели действовать в о з б у ж д е н и е м масс для достижения целей, сообразно с выгодами масс. К чему после этого умеренным республиканцам так шумно кричать о своем демократизме, демократ становиться пустейшим и бессильнейшим из людей, как скоро придумывает разницу между демократизмом и демократией».

«Одной честности мало. Нужна последовательность в иде-

<sup>2</sup> Для более легкого чтения его наставлений нам пришлось их сокращать, вычеркивать повторения, ставить точки там, где у Чернышевского или запятые или никакого знака.

<sup>3</sup> Ленин неоднократно цитировал эти слова во время первых лет октябрьской революции. См., например, «Правду» № 22, августа 1918 г.

ях. Если вы приняли принцип — не отступайте перед его последствиями».

«Государственный человек не должен оставлять влияния на ход событий врагам своих намерений».

«Политические перевороты никогда не совершались без фактов самоупротивства. Кто не знает этого, тот не понимает характера сил, которыми движется история. Человек, который принимает участие в политическом перевороте, воображая, что не будут при нем много раз нарушаться юридические принципы спокойных времен, должен быть назван идеалистом».

«Да или нет, как вам угодно, но во всяком случае будьте тверды. Надобно быть человеком, а не флюгером. Это может быть важнейшая вещь в истории. Ничем так не задерживаются успехи ее, как жалкой наклонностью большинства людей говорить ныне — да, завтра — нет. Оттого самые успешные дела в истории остаются неоконченными. Французская революция, например, не успела совершенно искоренить старого порядка. Он воскрес при Наполеоне и оказался очень сильным при реставрации».

«Надобно взвесить добро и зло и, если вам кажется, что дело хорошо, не смущайтесь, что в нем стороны дурные. Колебаться из-за разногласий между этими сторонами нечего. Понрави нас черненькими, беленькими нас всякий полюбит».

«Правительства центральной Италии не умеют вести свое дело как следует и боятся тех мер, которых оно требует. Их дело революционное, а они воображают придать ему характер законности. Быть может, средства, требуемые этим делом, дуры, но кто не хочет этих средств, тот должен отвергнуть и дело. Кому отвратительны сцены, неразрывно связанные с возбуждением народных страсти, тот не должен и брать на себя ведение дела».

«Великие люди (вожди революции. Н. В.) едва ли не потому только и бывают великими людьми, что спешат ковать железо, пока оно горячо, умеют не терять дней, пока обстоятельства благоприятствуют делу. Но не может ковать железа тот, кто боится потревожить сонных людей стуком. Только энергия может вести к успеху, а энергия состоит в том, чтобы не колеблясь принимать такие меры, какие нужны для успеха. И Суворов, и Наполеон, да и все великие полководцы, начиная с Александра Македонского, известны тем, что не жалели же рта для одержания победы. Их сражения были вообще страшно кровопролитны. Мы не хотим решать

— хорошая ли венец военные победы, но решайтесь — прежде чем начнете войну — не жалеть людей. То же самое надобно сказать и о всех исторических делах (революциях. Н. В.). Если вы боитесь или отвращаетесь тех мер, которых потребует дело, не принимайтесь за него».

Хвалия Наполеона, умевшего принимать меры, обеспечивающие осуществление поставленной цели, Чернышевский писал: «Наполеон поставил себе целью подавить революцию во Франции и нельзя не признать, что он действовал, как следовало ему действовать по натуре дела, за которое взялся. В парламентских формах крылся тогда революционный дух. Он уничтожил эти формы. Революционеры вздумали противиться ему — он их казнил или ссылал в ссылку. Правильный суд находил, что для их истребления нет юридических оснований, он отстранил правильный суд и заменил его во всех нужных случаях военно-судными комиссиями».

Нужно быть неразумным ребенком или тупым царским цензором, чтобы не понять к чему, с ссылкой на Наполеона, клонит Чернышевский. Достаточно перевернуть, что он пишет, и получится следующее: если революционеры встанут у власти и обнаружат, что в существующих в стране представительных учреждениях, в «парламентских формах» кроется оппозиция, противореволюционный дух, они должны разогнать, уничтожить эти представительные учреждения. Если контр-революционеры и вообще все, кто не на стороне революции, вздумают ей противиться, протестовать, их нужно сажать в тюрьмы, гнать в ссылку, казнить. Если «правильный суд», апеллируя к законности, справедливости, гуманности, будет считать, что для истребления этих людей «нет юридических оснований», такой суд отстранить и вместо него прибегнуть к отвечающим намерениям власти, быстро карающим военным судам, революционным трибуналам. Таков смысл фразы Чернышевского: «государственный человек (вождь революции. Н. В.) не должен оставлять влияния на ход событий врагам своих намерений».

Наполеон говорил: “*j'ai versé du sang et si je le devais j'en verserai encore parce que le sang entre dans les prescriptions de la médecine politique*”.

Такого же взгляда держался и Чернышевский: «пускание крови входит в предписания политической медицины». «Хорошие», большие революции в белых перчатках не делаются. Их не делают «чистоплотные люди», боящиеся «испачкать свои сапоги», т. е. боящиеся шагать по крови. Революционер, по толкованию Достоевским взглядов Чернышевского, «если ему

надо для своей идеи перешагнуть через труп, через кровь, может дать себе разрешение перешагнуть через труп, через кровь и много крови». Так поступали «Ликурги, Магометы, Наполеоны, Петры Великие», все «имеющие дар сказать новое слово». «Кто много посмеет — тот и прав. Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее»<sup>4</sup>. Идя к цели, революционер должен быть беспощаден, быть Рахметовым — «мрачным чудовищем». Чувство жалости нужно из себя изгнать (Чернышевский говорил о себе: «как писатель, я известен крайней жестокостью»). Если жалеете людей — своих и чужих — не идите на *rendez-vous* с революцией. Все средства хороши, лишь бы они вели к цели. Цель оправдывает средства. «Если отвращаетесь мер, которых требует дело, не беритесь за него», но тогда не жалуйтесь на окружающую «мерзость», живите в ней и ей подчиняйтесь. Презрения достойны реформаторы, боящиеся «самоуправства» народных масс, их возбуждения, желающие достигнуть результатов легальными, честными, чистыми, «копрятными» способами. Для хорошей чистки Авгиевых конюшен требуются не женственные Аполлоны, а «дворники» с мускулами Геркулеса<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Достоевский, вернувшись в 1859 г. из Сибири, политически изменившийся, ставший глубоко религиозным, ощущал остро, болезненно, враждебно атмосферу радикального общества Петербурга, в котором царил дух Чернышевского. Но Чернышевский был отправлен в «мертвый дом» на каторгу и деликатность диктовала автору «Записок из мертвого дома» не говорить о нем открыто с той злобой, с какой Достоевский говорил, например, о Тургеневе, карикатурно им представленном в лице Кармазинова в «Бесах». И всё-таки он свел с ним счеты в «Преступлении и Наказании», вложив мысли из некоторых иностранных обзоров Чернышевского в мысли Раскольникова, в качестве отправного идеального пункта для объяснения его преступления. Наша литературная критика, насколько знаю, на это не обратила внимания...

<sup>5</sup> Переводя наставления Чернышевского на язык подпольных прокламаций, его поклонники, составившие в 1861 г. воззвание «Молодая Россия», заявляли: «мы не испугаемся, если увидим, что придется пролить второе больше крови, чем пролито якобинцами в 1790-х годах». «Мы издадим крик: к топору, и тогда бей императорскую партию, бей на площадях, бей в домах, бей в темных переулках, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Кто будет не с нами, тот будет против, кто против — наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами».

Вот что проповедывал Чернышевский. И все это в Кокушине в 1888 году «запоем», с «особенным интересом» читал 18-летний Ульянов и из прочитанного делал «карандашником» «большие выписки и конспекты», потом долго хранившиеся. Обзоры иностранной жизни Чернышевского он, и потом в 1904 году, считал «замечательными по глубине мысли». Он уже хорошо знал, что сюсюкание в «Что делать» по поводу купающейся в ванночке Веры Павловны — фиортура для цензуры и что к сюсюкающим Чернышевский не принадлежит. Теперь он уже хорошо понял, каких людей имел ввиду в своем романе Чернышевский, бросая свою, будто простую, фразу:

«Каждый из них — человек отважный, неколеблющийся, неотступающий, умеющий взяться за дело, и если возьмется, то уже крепко хватающийся за него так, что оно не выскользнет из рук».

Если подолгу, «как я это делал, — говорил Ленин Воровскому, — вчитываться в статьи Чернышевского, приобретается безошибочный ключ к полной расшифровке его политических взглядов, даже выраженных иносказательно, в полунаимеках». «Могучая проповедь Чернышевского, — писал Ленин в 1901 году, — даже подцензурными статьями воспитывала настоящих революционеров». И взглядами своего первоучителя на революционеров, на то, как они должны действовать, Ленин заражается и заряжается. Нужно думать, что сделанные им выписки из Чернышевского образуют некий «Кодекс революционера», может быть, нечто подобное «Катехизису революционера» Бакунина и Нечаева. Стоит отметить, что через три года после знакомства Ленина с Чернышевским, встретившийся с ним в Самаре В. В. Водовозов был поражен упорством, страстью, цинизмом, с каким молодой Ульянов доказывал — цель оправдывает средства. У него не было «никаких сомнений в допустимости применения того или иного средства, если только оно вело к цели». Немного позднее Ленин (в 1893 г.) напишет, что марксисты должны быть «сангвиниками», под сим эфемизмом он имел в виду людей, не отвращающихся, не боящихся пролития «sang» — крови. В особенно приподнятом настроении, с сжатыми кулаками, Ленин жил в период, когда писал «Что такое друзья народа». В тюрьме и в ссылке, т. е., по нашей характеристике, в «меньшевистскую» полосу его жизни, «Кодекс революционера» как-то мало заметен, не очень выпирает наружу, хотя некоторые взгляды и высказывания Ленина (речь идет не о политических взглядах) шокируют или удивляют его товарищей. По словам Кржижановского, он, например, с пол-

нейшим равнодушием относился к тому, что «то или иное лицо грешит по части личной добродетели». Нарушение «заповедей нашего праотца Моисея» — не имеет никакого значения, если нарушитель хорошо служит революции. Многое изменяется с началом ликвидации меньшевистского периода жизни, с осени 1900 г., когда, после столкновения с Плехановым, Ленин, возвращаясь к своей душе, обработанной Чернышевским, устанавливает правилом «относиться ко всем людям без сантиментальности», «держать камень за пазухой». Но мы не можем здесь детально останавливаться на том, как в последнее время, до 1917 года, «Кодекс революционера» накладывал печать на поведение Ленина внутри партии и на решение им политических вопросов. Ограничимся тремя иллюстрациями.

Революции 1906–7 г.г. нужны средства. Для их получения Ленин, не задумываясь, одобряет налеты на банки, «эксы» по терминологии того времени. Кто и как их производит — его не интересует, важно одно: экспроприированные деньги должны поступить в кассу партии. После разгрома революции в 1907 г., остро нужны деньги для издания заграницей большевистских изданий и содержания разных штабов профессиональных революционеров. Деньги могут быть получены, если один из товарищ женится на богатой купеческой девице. Ленин рекомендует и одобряет такую комбинацию, прекрасно отдавая себе отчет, что при этой особе его товарищ будет играть роль простого сутенера. Ленину нужно, чтобы его заграничные единомышленники проникли в мало к ним расположенные профессиональные союзы рабочих и постепенно завладели ими. «Нужно «совлечь» трэд-юнионы, стихийно идущие «под крыльшком буржуазии», к буржуазной демократии». Цель оправдывает средства, сообразно с этим принципом, Ленин дает директиву: «пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытия правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы и в них остаться». Он дает эти директивы открыто, не прячась, не краснея, не стесняясь, как человек глубоко верящий, что это «не совсем опрятное занятие» нужно делать, ибо оно служит великой цели, и его — Ленина — «образ действий вполне сообразен с обстоятельствами».

То были лишь цветики, в своем роде, подснежники, привавера «Кодекса революционера», ягодки показались с приходом октябрьской революции. Меры, употребленные Лениным для ее торжества, можно сказать, списаны у Чернышевского. Он цитирует Маркса, а за Марксом высматривает кокушкинский первоучитель. Ведя на захват власти, Ленин писал Центрально-

му Комитету: «Мы должны взять власть тотчас. История не простит нам, если мы не возьмем власть. Дни решают теперь всё. Промедление смерти подобно. Ждать есть полный идиотизм или полная измена». Как не вспомнить наставление Чернышевского: «вожди революции потому и бывают великими людьми, что спешат ковать железо, пока оно горячо, умеют не терять дней. Только энергия может вести к успеху». Нет ни одной меры из принятых Лениным, которая не была предусмотрена Чернышевским или не была бы им одобрена. Разгон Учредительного Собрания, лозунг «кто не с нами — того к стенке» — это ведь очень во вкусе Николая Гавриловича. А разве он не подписался бы под знаменитым ленинским приказом: «провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов, белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь. Взять заложников из кулаков и богатеев. Заложники отвечают жизнью за точное в кратчайший срок исполнение наложенной контрибуции». Подобно Чернышевскому, Ленин с презрением относился к «чистоплотным» белоручкам, пытавшимся убедить его в необходимости умерить, ограничить террор, гуманизировать кровавый ход революции. К числу таких принадлежал, тогда еще не потерявший совесть, Горький и Ленин отвечал ему: «вам не кажется, что занимаетесь чепухой, пустяками?». Над ходом революции грозной черной тучей нависла идея диктатуры пролетариата, т. е., пояснял Ленин, «власти, опирающейся на насилие и несвязанной никакими законами», но если нет никаких законов, ни человеческих, ни божеских, тогда мы приходим к концу человека, адскому выводу — всё позволено. Объективность требует заявить, что до «всё позволено» Ленин всё-таки не дошел и, судя по некоторым его свойствам, дойти и не мог бы. Тут у него, возможно и у Чернышевского, были пределы. Всё позволено — это убеждение Сталина, но ведь нельзя же его сравнивать с Лениным: один интеллигент — диктатор, другой — восточный деспот.

Нужно предвидеть указание, что вдохновлявшая Ленина идея о диктатуре пролетариата пришла к нему от Маркса, Энгельса и их ученика Плеханова, вбившего ее в программу российской социал-демократии, где с 1903 г. она благополучно жила, встретив в партийных рядах одного только критика — В. П. Махновца-Акимова<sup>6</sup>. Что Маркс и Энгельс были яростными

---

<sup>6</sup> Не следует забывать, что программа эс-эров была тоже украшена идеей «в случае надобности временной диктатуры». О бессрочности диктатуры никто не говорил, это уже «идея» Сталина.

пропагандистами «диктатуры пролетариата», не подлежит никакому сомнению. Попытки доказать обратное, ссылаясь, что это «словечко» у них, якобы, вырвалось случайно и совсем не страшно — лишни, странны, бесплодны. Энгельс гораздо мягче Маркса и, однако, в «Антидюиринге» расточал самые неумеренные панегирики насилию, с таким удовольствием цитируемые Лениным. Формально, теоретически ленинская идея диктатуры пролетариата привязана, конечно, к Марксу и Энгельсу, но анализ приводит нас к убеждению, что у них он взял «словечко», тогда как суть, главное содержание словечка, познал и впитал в себя от Чернышевского, покорившего его раньше, чем произошло знакомство Ленина с марксизмом. Носить в голове со всеми ее специфическими чертами концепцию насильственной революции, такую имел Ленин, можно лишь обладая особой натурой, характером, темпераментом. Не Чернышевский создал эту натуру, но он первый оформил идеями ее инстинктивные тяготения и наклонности. Чернышевскому было тем легче это сделать, что он предстал перед 18-летним Лениным в образе, поражающем воображение: страстного проповедника блага и добра с окровавленным топором в руке. А с топором диктатуры сам Чернышевский стал носиться с раннего возраста. «Лучшая форма правления есть диктатура» — писал он в своем дневнике в 1848 г. — ему было тогда двадцать лет.

Последнее замечание. Можно и следует критиковать Маркса (при условии: знать его), можно в эпоху от его письма к Анненкову в 1846 г. к письму В. И. Засулич (1881 г.) или предисловию ко второму изданию «Манифеста коммунистической партии» насчитать не менее пяти-шести различных Марков. И всё же, как бы ни были значительны происходившие в нем изменения, у него нельзя найти утверждения, что цель оправдывает всякие средства, в том числе «неопрятные», нельзя найти мысль, что революция должна быть беспощадной, не бояться большого кровопролития и «людей не жалеть». Этих мыслей «великого ученого и критика» (слова Маркса о Чернышевском) он не разделял. К Ленину они пришли не от Маркса. Вообще говоря, стремясь понять историческую фигуру Ленина, нужно менее всего думать о Марксе. Несмотря на «марксизм» и пятнадцать лет жизни заграницей, Ленин поднялся не на импортных, заграничных дрожжах. Он такое же растение национальной почвы, как воспитанник духовной семинарии, сын саратовского протоиерея, Чернышевский, которого вряд ли кто будет считать типом не национальным, а только отпрыском

Фурье, Оуэна и Бланки. Национальность не представляется одним типом. Часто она многотипна. Кроме того, национальное не значит еще истинное и правильное, не есть синоним должного, лучшего, высокого, справедливого. В национальном есть элементы нейтрального характера — таковы многие национальные привычки и обычай, они могут быть элементами большого положительного значения, но могут быть и элементами отрицательными.

**Н. Валентинов.**

# МАРШАЛ В. К. БЛЮХЕР

Положение каховской группы войск значительно улучшилось, когда летом 1920 года, со ст. Апостолово начали прибывать, давно ожидаемые нами, части 51-й стрелковой дивизии.

Прибывшая в район Берислава в два ночных перехода 51-я дивизия имела прекрасный вид. Одетые в «буденовки» с алыми суконными звездами на них, в светло-серых длинных шинелях, в суконном защитном обмундировании и сапогах, рослые и по сибирски медлительные, эти бойцы были ярким контрастом нашим дивизиям.

51-ю дивизию формировал и привел из Сибири В. К. Блюхер. Когда, после многочисленных квартирьеров и командиров для связи, Блюхер появился у нас в штабе, — разговорам о нем не было конца.

Выше среднего роста, широкоплечий, мускулистый, с холодными глазами на мужественном лице, Блюхер был спокоен, выдержан, как и его сибиряки. Несложная в то время военная форма сидела на нем, как влитая, и он казался почти щеголем. Он одинаково внимательно выслушивал и командующего группой, и более младших командиров.

Таким в 1920 году был этот 30-летний комдив, вокруг имени которого вилось столько, подчас нелепых, слухов. Одни утверждали, что Блюхер офицер генерального штаба царской армии, другие — что он не то граф, не то князь, третья — что он простой шахтер с Урала, четвертые — что его фамилия — псевдоним, пятые — что он прислан из генерального штаба германской армии и т. д.

В кабинете Эйдемана идет ознакомление по карте с участком дивизии. Завтра этот участок будет приниматься на местности. Эйдеман и Блюхер со своими начальниками штабов стоят у стены, у большой трехверстки и уточняют детали. Каким деревенским увальнем кажется в этой группе наш командующий Эйдеман!

\*\*

Сибиряки получают левый фланг каховского плацдарма. Во дворе нашего штаба несколько автомобилей, среди которых выделяется блюхеровский.

Блюхер едет в машине Эйдемана.

Тихо проезжаем по понтонному мосту, проходим по песочным улицам Каховки и берем на юго-восток по проселку. Дороги разбиты сотнями подвод и шофер ведет машину осторожно. Мимо нас мелькают полуразрушенные господские дворы, кресты на перекрестках дорог и немногочисленные хуторки, жители которых благоразумно попрятались, закрыв наглухо двери халуп. Всё укрылось и притаилось в страхе перед артиллерийским обстрелом и приходами красноармейцев, шаривших в хатах в поисках съестного.

Мы въезжаем на самую лысину какой-то, обозначенной на карте, высоты, уже лежавшей в расположении резервов. Перед нами на десяток километров открывается широкая панорама предкрымской степи. Это уже территория противника. На дорогах никакого движения. Только двухколка с красным крестом на белом флаге выехала из хуторка и запылила прочь, да всадник рысью запылил в тот-же хутор. Панорама пустыни и в это летнее утро страшна своей безлюдностью: мы знаем, что каждое естественное укрытие, каждый овражек, лесок и хуторки дали приют невидимому нами противнику.

С биноклями и картами, показывая рукой в направлении интересующих их пунктов, стояли командиры частей, забыв, что и противник наблюдает за нами. Его особенно могли ориентировать белая гимнастерка Блюхера и стекла автомобилей.

С этой мыслью я протолкался к Эйдеману.

— Роберт Петрович, позвольте убрать машины с высоты на этот фольварк, сказал я, показывая на кучку каменных строений влево от нас.

— Не надо, мы сейчас идем, недовольно сказал Эйдеман.

К нашему счастью, пошел небольшой дождик, и это заставило командиров двинуться пешком на фольварк.

И тут произошло то, чего я боялся. На самой лысине высоко взметнулись столбы дыма и нас обдало комьями земли. Кто постарше — лег прямо на дороге, помоложе — бегом влетел в фольварк, и только Эйдеман, Блюхер и Стуцка продолжали идти, ускорив шаг.

Лысина опять в дыму разрыва гранат.

Несколько переждав, мы тронулись на машинах в Каховку. Так произошла сдача участка дивизии на местности.

\*\*

Несколько дней спустя, когда сибирская дивизия Блюхера уже занимала свой участок на каховском плацдарме, а сам Блюхер расположил свой штаб в Каховке, приютившей уже несколько штабов дивизий нашей группы, я, по поручению начальника штаба, выехал из Берислава в Каховку.

— На обратном пути прону вас заехать за Василием Константиновичем и привезти его ко мне на квартиру. Я пригласил его на чашку чая, сказал мне Эйдеман, когда маленький форд уже пыхтел у дверей нашего штаба.

Мне давно хотелось узнать Блюхера в неофициальной обстановке, интерес к нему у всех был большой. Неудивительно поэтому, что, выполнив как можно скорее поручение начальника штаба, я явился на квартиру Блюхера с некоторым волнением.

Каховка — маленький провинциальный городок, окраины которого застроены простыми крестьянскими хатами под соломенной крышей, а улицы не замощены и ничем не отличаются от деревенских. Лучшие здания в городе уже давно были заняты штабами других дивизий. Штаб Блюхера разместился на одной из крестьянских окраин в хате «под бляхой», т. е. под железной крышей, что служило признаком зажиточности хозяина.

Я нашел Блюхера в утопавшей в зелени сада хате, рядом со штабом. В очень чистом дворе стояла его машина, а под навесом на коновязи несколько прекрасных верховых лошадей. Очень хорошие лошади под седлом стояли привязанными к плетню на улице, ожидая командиров, находившихся, очевидно, у Блюхера.

Когда я вошел в комнату Блюхера, там находилось человек шесть командиров, одетых по форме, рассевшихся где попало. Происходила, очевидно, неслужебная беседа, я слышал смех еще у дверей.

Я «явился» по уставу и доложил о причине моего посещения.

— Хорошо, хорошо. Я готов и свободен, ответил мне Блюхер. До свидания, товарищи командиры, обратился он к остальным.

— До свидания, Василий Константинович, хором ответили присутствующие, уходя.

Пока Блюхер убирал со стола в полевую сумку свои бумаги, я рассматривал его комнату. Несложная хозяйствская об-

становка была дополнена походной складной кроватью с тонким матрацом, покрытым серым солдатским одеялом. На койке — небольшая подушка в свежей наволочке. Рядом с койкой — складной столик, на котором лежали туалетные принадлежности и несколько книг в хороших переплетах. Два прекрасных кожаных чемодана, память давно ушедшего мирного времени и комфорта, стояли на специальной деревянной подставке. Несколько походных с брезентовыми сиденьями стульев — у небольшого стола, покрытого картой-трехверсткой, на столе — несколько полевых телефонов. И у самой двери на деревянной стойке — чудное, желтой кожи, офицерское седло с медной оковкой и полным выюком. В комнате пахло лошадью, кожей и какими-то хорошими мужскими духами. Бросив еще один взгляд на книги и походный комфорт, которым окружал себя Блюхер, я пришел к выводу, что он во всяком случае не уральский шахтер.

Мы вышли из хаты. У своего форда я совсем сконфузился. Мне было неудобно предложить Блюхеру сесть в мою допотопную машину.

— Отпустите вашу машину, мы с вами доедем на моей, сказал Блюхер.

Что такое хороший автомобиль, я узнал в течение пятнадцати минут обратной дороги. Новенький темно-синий лакированный «Паккард» без малейшего шума, блестя никелем и зеркальными стеклами, шутя, нес нас по песку; на упругих кожаных сиденьях было покойно и тряская дорога казалась мне теперь асфальтированной автострадой.

«Чашка чая» у Эйдемана собрала всех начальников дивизий и некоторых работников штаба. Пили каховское красное вино, подогретое в хозяйственном эмалированном ведре вместе с аптекарским спиртом, выписанным из санитарной части для нужд штабного околодка. Единственные в своем роде каховские арбузы и дыни служили закуской.

Общая беседа, подогретая «пуншем», как называли питье из ведра, протекала оживленно и интересно. Трудно сейчас восстановить в памяти всё то, о чем говорилось. Сравнивали боевые качества китайского и русского солдат, обсуждали промышленные перспективы Сибири, спорили о течениях в поэзии, цитировали Маяковского, строили розовые планы будущего, вспоминали московские кабачки и дореволюционную богему и даже пели. Словом, это была скорее студенческая вечеринка, чем «чашка чая» солидных начальников дивизий, распорядителей судеб сотен тысяч людей.

Блюхер меня очень интересовал. Я прислушивался к его голосу, наблюдая его манеры, следил за темами, на которых он останавливался. Его нельзя было поставить рядом с Эйдеманом, бывшим студентом-химиком, ни с бывшим педагогом латышом Стуцка, ни с Саблиным — кажется, бывшим артистом, ни с Либусем—бывшим полковником царского генерального штаба. Суждения Блюхера, излагаемые в серьезной и медленной речи, часто подкрепляемые ссылками на авторитетные источники, касалось ли дело достоинств поэзии Маяковского, работ Государственной Думы последнего созыва, украинского фольклора или особенностей формы полков гвардейской кавалерии, — были всегда серьезны, точны и свидетельствовали о знании вопроса. Собеседники Блюхеру не возражали, не спорили с ним, — они сразу же превращались только в слушателей.

Второй раз в течение одного дня я подумал о Блюхере — «нет, он не шахтер».

Вскоре мне пришлось покинуть каховский плацдарм.

\*\*

С Блюхером я встретился вновь через год, летом 1921 года. В это лето Махно с отрядом, насчитывавшем тысячи бойцов всех родов оружия, оперировал в районе Мариуполя и Волновахи. Почти всё молодое население этого района, заселенного преимущественно греками, находилось у Махно и поэтому борьба с ним усложнялась. Даже такой общепризнанный специалист по борьбе с бандитизмом, как Эйдеман, испытывал затруднения и никак не мог сбить Махно на восток в степи, в чуждую ему среду, где поддержка населения была бы менее вероятной.

Штаб Эйдемана расположился в вагонах на ст. Мариуполь. Эйдеман, видимо, нервничал, «висел» на прямых проводах с Харьковом, в глаза и за глаза поругивал командиров подчиненных ему частей и подтягивал свой штаб. Директивы из Харькова становились всё лаконичнее и категоричнее.

В такое напряженное время в Мариуполь неожиданно прибыл Блюхер. Содержание его беседы с Эйдеманом, проходившей наедине, в купе, осталось неизвестным. Но слухи поползли. Говорили о замене Эйдемана Блюхером. И вскоре мой начальник оперативного отдела Пиотровский объявил, что отдел должен выделить в распоряжение Блюхера одного работника для сопровождения его в специальной поездке по району, занятому Махно. Мысль сопровождать Блюхера мне улыбалась и я легко получил назначение в эту командировку.

— Зайдите к Блюхеру, представьтесь ему и получите указания, сказал мне Пиотровский.

Второй раз я представлялся Блюхеру в купе вагона Эйдемана.

— Я помню вас по Каховке. Очень приятно, улыбаясь, говорил Блюхер. Прошу вас приготовить карты района действий и иметь при себе полевую книжку. Мы с вами выедем под вечер, по холодку. С маршрутом я познакомлю вас в пути.

— Оружие?

— Нет, никакого оружия не надо. Оно нам не понадобится. Вот только проследите, чтобы Роберт Петрович дал нам хорошую машину.

Я был несколько смущен тем, что наша поездка, окружённая такой таинственностью, требовала столь несложных приготовлений. В течение получаса были готовы карты, полевая сумка и машина. В портфель я уложил свои туалетные принадлежности и несколько обойм «Парабеллума». Помня, что Блюхер распорядился оружия не брать, я свой заряженный «Парабеллум» засунул в карман брюк, оставив кобуру в вагоне. Два бравых шоfera, Ребров и Норвайш, поступили так же со своими «Ноганами».

Поездка эта заинтриговала меня чрезвычайно. Во-первых, она была окружена таинственностью; ни задачи, которую должен был выполнить Блюхер, ни маршрута, ни продолжительности поездки — я не знал; во-вторых, мне предстояло пройти по крайней мере несколько дней в непосредственном общении с Блюхером и, может быть, думал я, мне удастся, в конце концов, определить кто же такой Блюхер — шахтер или офицер немецкого генерального штаба?

В дороге несколько приподнялась завеса таинственности нашей поездки.

— Я прошу вас, сказал Блюхер, в вашей полевой книжке вести нечто вроде путевого журнала. Мне нужно будет знать, какой маршрут мы с вами проделали, когда именно прибыли в данный пункт, когда отправились дальше. Мы будем добывать от местного населения кое-какие сведения о Махно, его численности, вооружении, тактике, источниках пополнения людьми и боеприпасами, отношении к нему местного населения и т. д. Всё это надо будет записать, чтобы затем составить доклад штабу.

Из этого я вывел заключение, что наш главный штаб проверяет через Блюхера заключение Эйдемана, касающееся тактики Махно: оно явно себя не оправдывало, ибо Махно хозяй-

ничал на Украине уже больше года почти безнаказанно. Чувствовалось, что военная звезда Эйдемана закатывалась и что во многом дальнейшая судьба Эйдемана зависела от проверки, которую сделает Блюхер. Позже оказалось, что мои предположения почти оправдались.

\* \*

Мы ночевали верстах в пятидесяти на северо-восток от Мариуполя. Сутки назад деревня находилась в руках Махно. Почти все лошади и повозки были угнаны. Махно бросил в деревне одну калечь, загнанную и неспособную двигаться. Установить, какое число мужчин ушло с Махно, было невозможно. Соседи и оставшиеся без мужиков бабы стереотипно отвечали — «Чоловика в пидводы забралы».

Возле нашей машины, как это бывало всегда, собирались крестьяне, поглязеть, пощупать, — для деревни автомобиль в те годы был диковинкой. Десятка полтора мужиков пришли на двор и Блюхер с ними завязал разговор. Я невольно прислушивался.

Кажется, в первый раз в жизни я узнал, что посевы бывают озимые и яровые, что на покрытие хат лучше пользоваться пшеничной соломой, что близость и сорт леса влияет на влажность почвы и качество урожая хлебов и еще много агрономических тонкостей, о которых и не подозревал, родившись и прожив все свои годы в городе. Блюхер в крестьянской среде чувствовал себя, как дома. Его замечания были настолько авторитетны, что какой-то старик, поборов нерешительность, спросил Блюхера:

— А дозвольте спросить вас, вы по какой части будете, по земельной?

— По земельной, папаша. Землю вашу освобождаем от Махно, от непорядков всяких, чтоб никто не мешал вам спокойно работать на земле. Понял?, полуслутильно ответил Блюхер, не сбившись ни разу с местного наречия.

Попрощавшись с мужиками и не дав никаких распоряжений на ночь, указывая этим, что я сам должен обо всем догадатьсяся, Блюхер улегся на куче соломы под открытым небом, сняв только сапоги и завернувшись в шинель.

Шоферам и мне баба вынесла из хаты пару кожухов, ряден и подушки и мы устроились с большим комфортом рядом с Блюхером. Ночь мы разделили по времени на три равных части и распределили между собой для дежурства. Мое дежурство было последним, и мы с Ребровым, накрыв спящего уже Блю-

хера одним кожухом и закатив машину под навес, чтобы не бросалась в глаза с улицы, улеглись довольно удобно. Дежурный Норвайш сел неподалеку от нас,укрытый штабелем дров.

— Ну, и командарм! Хоть бы выругал, всё легче было бы, а он молчит. Не поймешь — сердится или шутит. Видно, что не мужик, заметил вполголоса Ребров.

— Из интеллигентов, образованный, а с мужиками свой человек, коротко резюмировал Норвайш.

Мне нечего было добавить к их впечатлению от Блюхера; оно совпадало с моим.

\*\*

Ребров разбудил меня, когда солнце уже вставало, баба выгоняла в ворота корову с теленком, а Норвайш лил воду из ведра умывающемуся Блюхеру. На дежурство шоферы меня так и не подняли, разделив короткую ночь между собой. От утреннего холода, ледяной воды из колодца и такого же ледяного молока, вынесенного бабой к нашим кожухам, стало совсем зябко.

— А теперь догонять Махно! — скомандовал Блюхер, свежий и бодрый после крепкого сна на воздухе.

Пробегали села, моя полевая книжка заполнялась сведениями о Махно, надо сказать весьма однообразными; чередовались очаги то в удобной кровати, то в стоге соломы под открытым небом. Неизменная яичница сменялась молоком, молоко — яичницей.

Страшную картину разрушения, жестоких расправ с местной советской властью оставлял за собой Махно. Сгоревшие и дотлевающие здания сельских ревкомов и комбедов, продовольственных складов и мельниц, сожженные мосты, телефонные и телеграфные провода, спутавшиеся вдоль дорог, брошенные тощие и загнанные лошади, бродящие по полям и почти в каждом селе трупы. Председатели ревкомов и комбедов, сельские милиционеры, агенты продовольственных отрядов, случайные люди, попавшие под горячую руку, валялись застреленные, изрубленные шашками, убитые прикладами. Обрубки человеческих тел без ног и рук, трупы с мелко изрубленной шашками головой «в капусту», как говорили махновцы, с головами без ушей и носа, с выкинутыми вон кишками и с животом, наполненным зерном пшеницы. В одном из сел, лишенный всех конечностей труп одного начальника продотряда, почти сутки вращался привязанный к мельничному крылу; жители боялись его снять.

А вслед за Махно, карательные отряды ЧК, составленные из актива коммунистов ближайших городов во главе с опытными чекистами-профессионалами, врывались в деревни и творили такую же расправу. Ужасы пугачевщины блекнут перед тем, что переживала украинская деревня в те годы.

По своему характеру, замкнутый, не сказавший за несколько дней пути почти ни одного слова, не относящегося к нашей поездке, — Блюхер был сосредоточен и, казалось, углублен в свои мысли. Трудно было сказать, — было ли то его обычное состояние, или на него, как и на нас, действовала, окружавшая нас, тяжелая картина.

\*\*  
\*

Мы двигались на восток, в донские степи.

Как-то мы заночевали в одной из донских станиц. В этой станице после неудачного десанта полковника Назарова еще в июле 1920 года, — много казаков, примкнувших к нему и не примкнувших, ЧК постреляла «ради профилактики».

Средних лет казачка, возможно лишившаяся мужа или сына, встретила нас недружелюбно, но это нас не смущило. Мы расположились во дворе хаты, принесли соломы для ночлега, укрыли машину и сидели в ожидании молока и хлеба, которые казачка что-то долго не несла. Наконец, молоко и хлеб появились, и остановка была только за Блюхером, который незадолго перед этим вышел один на станичную улицу.

Я пошел его искать.

Недалеко от нашей хаты, у сложенных прямо на улице длинных бревен, на которых уселись девушки и парни, происходила «вечеринка». Играла гармошка, человек двадцать парней под гармошку пели песни, девушки визжали и смеялись, грызли семячки. На всякий случай, хоть и не предполагая найти здесь Блюхера, я подошел к кругу и увидел Блюхера, который... запевал. Было видно, что запевал он не впервые, слова песен и мотивы их были ему знакомы, он пел, как пели и остальные казаки.

Зрелище это меня поразило.

Блюхер стоял в центре круга, заложив пальцы рук за ремень, фуражка его была лихо заломлена на затылок, он покачивался в такт песне и видно было, что пение его увлекает. Увидев меня, Блюхер вышел из круга.

— Прощевайте, станичники! — сказал он.

— Прощевай, командир! — хором ответили казаки.

Через несколько минут мы сидели вчетвером у горшка с молоком, нашим повседневным ужином.

— А хороши песни у казаков. Только поют они уж не так, старики пели лучше, сказал Блюхер.

\*\*

Не отставая от Махно, мы шли по его пятам и часто невооруженным глазом наблюдали, как хвост махновской колонны то втягивался в попутный лесок, пыля проселком, то выходил из села. Махно уходил, избегая соприкосновения с нашими частями. Только один раз за время всей нашей поездки Блюхер заметно забеспокоился. Случилось это, когда Махно, сделав скачек в 100 верст в одни сутки, вдруг круто повернул и в продолжение двух-трех переходов по 80-100 верст, почти без остановок, двинулся на запад. По рассказам крестьян, освобожденных махновцами из своего обоза вместе с лошадьми, угнанных за триста верст, Блюхер установил, что Махно берет направление через Украину на Бессарабию.

На маленькой донецкой станции (откуда Блюхер хотел поговорить с Фрунзе по прямому проводу) по случаю нашего приезда — оживление. Все служащие на местах, а телеграфист прямо таки священнодействует. Судьба поставила его в самый центр сегодняшних событий; он, может быть, первый раз в жизни, властно выступает на Морзе «уйдите... уйдите... зову Харьков... зову Харьков... штаб Фрунзе... штаб Фрунзе... у аппарата Блюхер...» Мешающие станции послушно подчиняются ему, освобождая провод. Мы с трудом связываемся с Фрунзе, которому Блюхер делает короткий доклад и сообщает свои выводы. Теперь Махно не уйти с Украины, ему не позволят проскользнуть в Бессарабию.

К великому разочарованию телеграфиста, лента аппарата Морзе сворачивается и исчезает в моей полевой сумке. Взамен он получает справку, что провод был занят Блюхером такое то время.

Следующая цель нашего пути — ст. Волноваха, где стоит штаб Эйдемана.

— Ну, мы с вами можем воспользоваться теперь заслуженным отдыхом, — говорит Блюхер. — Переночуем сейчас где-нибудь у священника, давайте выбирать село покрупнее, будем спать в комнате и в постели, а, главное, пить чай. Молоко, признаться, мне изрядно надоело.

Еще засветло мы были уже в большом селе, где ориентируясь по церкви, быстро нашли дом священника.

Я пошел в дом в качестве парламентера. Батюшка, непривычный, очевидно, к вежливости собеседников, если ими были представители власти, весьма приветливо выслушал меня и, узнав, что Блюхер большое начальство, вышел вместе со мною встретить его.

Засуетилась и матушка, забегала баба-работница; в домике захлопали двери. И когда машина уже стояла укрытой во дворе, а мы все отмылись и очистились от дорожной пыли и грязи, батюшка пригласил нас к столу.

— Пожалуйте чай пить.

— Я говорил вам, что будем чай пить, — тихо и заговорщически сказал мне Блюхер.

С самого начала здесь всё казалось необыкновенным. Еще въезжая в село, на довольно высоком бугре мы увидели прекрасную старинную поместью усадьбу, окруженную густым парком. Мы не видели, что сделало с усадьбой время, ревком и комбет, но то, что осталось — так и просилось на полотно художника. Батюшкин дом и сад тоже были необыкновенными. Большой фруктовый сад, почти сливавшийся с церковным погостом и отделенный от него невысокой деревянной изгородью, переходил у батюшкиного дома в солнечную большую поляну с громадными липами. И сад, и беседка в нем, всё носило следы запущенности, сирень у самого дома давно не расцвела, дорожки и крокетная площадка под липами поросли травой, цветочные клумбы были заброшены...

В чистенькой столовой матушка усадила нас за стол. Но когда на столе появилась неизменная яичница, которой изо дня в день, а иной раз троекратно в течение дня, кормили нас бабы в дороге, — совершенно очевидное разочарование так ясно отразилось на моем лице, что Блюхер невольно рассмеялся. Матушка смущалась, лицо батюшки выражало недоумение и, чтобы сгладить наступившую неловкость, Блюхер сквозь смех проговорил:

— Моего спутника, обладающего прекрасным аппетитом, в продолжение нескольких дней дороги, по несколько раз в день кормили только яичницей. Поэтому, при виде новой яичницы, его лицо выражает полное разочарование.

Блюхер долго еще за столом подтрунивал надо мной, вызывая общий смех.

За чаем, который Блюхер пил с видимым наслаждением, выяснилось, что наш батюшка — художник, пишет маслом и что его картины должным образом оценены очень крупными художниками.

— Покажите, батюшка, свои картины. Я, если и не большой знаток, то большой почитатель этого искусства, говорил Блюхер.

И после чая батюшка повел нас в свое «ателье».

На обширной застекленной веранде батюшка оборудовал прекрасную мастерскую. Она была заставлена мольбертами, ширмами, складными лестницами, гипсовыми моделями. На стене висела почти законченная картина «Моление Христа о Чаше». Произведения батюшки относились к библейской тематике, а большинство — к иконописи.

Блюхер был заметно заинтересован и, разглядывая работы, досадовал на скверное освещение.

— Мы внимательно посмотрим всё это при дневном освещении, если позволите, говорил он батюшке.

В столовой, на убранном после чая столе появились гравюры, наброски, эскизы. Батюшка принес несколько толстых книг по истории иконописи и церковного зодчества и началась беседа, которая грозила затянуться надолго. Из вежливости пришлось остаться и мне, хотя меня, откровенно говоря, разговор об искусстве в те годы мало интересовал. Матушка, извинившись, ушла. Говорили Блюхер с батюшкой.

Рубенс, Рембрандт, Микель Анжело, Васнецов, стили новгородский, псковский, киевский, византийский, иконопись древняя, средних веков, позднейшего времени, храмы готические, пятиглавые, трехглавые и одноглавые, — вот темы, которые одинаково увлекли и священника-художника и большевистского командарма.

Я давно заснул бы за столом, если бы не чувство изумления. Меня поразил Блюхер своими знаниями. Ни немецкий генштабист, ни тем более шахтер, — не могли бы так легко говорить на такую тему, как иконопись или церковная архитектура. В продолжение разговора, поставленный в тупик возражениями Блюхера, батюшка несколько раз обращался к авторитетным источникам — книгам, говоря:

— Вы совершенно правы, Василий Константинович, я это запамятовал. Вам, наверное, приходилось пользоваться этим источником?

— Пользоваться нет, но как-то я читал его, правда, давно уже, уклончиво отвечал Блюхер.

Утром я проснулся от голосов на веранде. Это батюшка показывал Блюхеру свои картины при дневном освещении. Блюхер не поленился встать для этого раньше обычного. Перед отъездом, пока матушка хлопотала по хозяйству, а шо-

феры готовили машину к последнему переходу на Волноваху. батюшка повел нас показать свою церковь.

Церковь была старинной, построенной чуть ли не в петровские времена владельцем соседнего поместья, каким-то вельможей.

— Весь иконостас моей работы. Запрестольный образ я написал около 30-ти лет тому назад, это одна из первых моих работ. Эти хоругви тоже писал я. Это — копии васнецовских творений, написанных мною еще в молодые годы. Вот жалко краски на исходе, уже сколько лет достать нельзя, а планов у меня много, успею ли только, говорил батюшка, обходя с нами свою церковь.

— Запишите мне, батюшка, для памяти. Я постараюсь прислать вам всё, что нужно, радушно говорил Блюхер.

Церковка оставила необыкновенное впечатление. Точно картинная галлерея, где собраны экспонаты из истории иконописи. Невольно мы говорили шепотом и старались ступать тише. Сколько бескорыстного труда вложил в свою церковь этот талантливый старик!

Расстались мы с гостеприимным батюшкой, как с старым другом. Матушка на дорогу дала нам с собой в небольшой корзиночке вкусных домашних пирожков.

Блюхер молчал почти всю дорогу. Только один раз проговорил:

— Хороший, талантливый старик. Жалко, что священник.

В Волновахе мы с Блюхером расстались. Он не дал мне возможности приготовить ему ни карты нашего маршрута, ни обработать записей из моей полевой книжки, — пришлось отдать ему всё в виде черновых набросков.

— Спасибо. Я сам всё приведу в порядок.

В дороге у меня было много времени, чтобы привести в порядок свои впечатления о Блюхере. В памяти остался образ интеллигентного, образованного, начитанного человека и авторитетного командира. Ничего не мог я сказать о нем, как о коммунисте; однако у меня осталось впечатление, что к социальной ломке даже того времени он относился критически. Несколько портили общее впечатление его сухость и та подчеркнутая корректность, которые, точно барьер, всегда отделяли Блюхера от его собеседников. Но Блюхер, в то же время, был совсем другим, находясь в окружении крестьян, красноармейцев и посторонних, не связанных с ним службой, людей; точно два разных человека.

Но каким бы внешне замкнутым Блюхер ни был, я уверен, что обещанные краски он батюшке-художнику всё-таки послал.

\*\*

В последний раз я видел Блюхера только издали и всего несколько минут летом 1935 года. Это было в Севастополе. Я уезжал домой после санаторного лечения в Крыму и болтался по Севастополю, всегда праздничному, сияюще-белому, уютному и манящему своим героическим прошлым, следы которого попадались на каждом шагу в виде памятников и мемориальных досок, остатков бастионов, старых пушек. Так и казалось, что над городом витают образы Нахимова, Корнилова...

Я встретил старого приятеля и вместе с ним мы шли по ул. Фрунзе (раньше, кажется, Нахимовской). Наше внимание привлекла толпа людей, молчаливо стоящая у гарнизонной столовой. У входа в столовую стояла прекрасная вместиельная машина.

— Что случилось? — спросили мы у кого-то.

— Блюхер обедает в столовой, — ответили нам.

Мы вмешались в толпу, решив посмотреть Блюхера. Много женщин и детей, краснофлотцы и командиры в белой форме, служащие городских учреждений, рабочие местных заводов и случайные зеваки вроде нас — плотно заняли тротуар углового здания столовой и мостовую улицы. Стояли тихо, вполголоса переговариваясь, терпеливо ожидая выхода Блюхера. Из открытых окон жилых домов, расположенных у столовой, тоже выглядывали любопытные севастопольцы.

Несколько милиционеров пытались было установить «порядок», но встретили отпор толпы.

— Не поднимай шума, приятель, говорили из толпы, стань вот тихонько, как и мы, и жди, пока товарищ Блюхер выйдет. Не мешай!

Милиционеры, почувствовав бесполезность вмешательства, стали ждать вместе с толпой.

Наконец, в свободном проходе у двери столовой показался Блюхер. Он сильно возмужал и, я сказал бы, постарел. В этот год ему было уже за 45 лет. Бросались в глаза многочисленные ордена на скромной защитной гимнастерке. За Блюхером выбежали двое детей 8-10 лет; две женщины сопровождали их, очевидно, жена и няня.

При появлении Блюхера толпа, как один человек, обнажила головы. Став во весь рост в машине, снял фуражку и Блюхер.

Никогда ничего подобного этой встрече севастопольцев с Блюхером мне видеть не приходилось, так она не была похожа

на устраиваемые партийными организациями казенные встречи советских обывателей со всякого рода «вождями», сопровождаемые всегда слашавыми приветствиями, неискренними выкриками и аплодисментами, кордоном из милиции, наглоухо закрытыми окнами зданий всего района и шныряющими в толпе осведомителями НКВД.

Молча следила толпа за Блюхером и в этом молчании чувствовалось глубокое, искреннее уважение народа к своему герою, полководцу и человеку. Машина Блюхера, осторожно двигаясь в толпе, скрылась за поворотом улицы.

Толпа медленно расходилась.

Не прошло и полминуты, как у входа в гарнизонную столовую остановились две машины с военными, одетыми в форму НКВД.

— По какому случаю здесь собиращие? Расходитесь по домам, граждане, не загромождайте улицу! — кричал один из них, обращаясь к тем, кто еще успел отойти от столовой. — Вы за чем здесь смотрите? Установите порядок немедленно! — кричал он, обращаясь к милиционерам.

Но люди расходились демонстративно медленнее, чем следовало.

\*\*  
\*

Вплоть до 1937 года счастье сопутствовало Блюхеру. Его боевое прошлое знали даже ученики начальных деревенских школ, его официальная биография не раз помещалась в советских газетах, редкий клуб или учреждение не имели портрета Блюхера, не было человека в Советском Союзе, который не знал бы имя Блюхера.

Деятельность Блюхера началась на Урале. В 28 лет он уже командовал большим отрядом партизан, а затем дивизией красной армии. Победа Блюхера над крупной группой белого генерала Молчанова у Волочаевки стала темой многочисленных песен, пьес и кино-фильмов. В боях на подступах к Крыму его дивизия первой ворвалась в перекопские укрепления и получила название «Перекопской». После гражданской войны Блюхер выполнял ответственное поручение советского правительства в Китае. Не менее ответственной задачей было и командование Народно-революционной армией ДВР (Дальневосточной республики), «буферной» республики, созданной большевиками после гражданской войны в Сибири. Первым боевым орденом «Красного знамени» Реввоенсовет СССР наградил Блюхера; Блюхер — первый орденоносец СССР. К 1937 году он получил

четыре ордена «Красного знамени», орден «Красной звезды», орден «Ленина» и несколько медалей красной армии. В 1936 году Блюхер, командуя уже Особой Краснознаменной Дальневосточной армией и будучи одним из первых пяти маршалов Советского Союза, становится членом Верховного Совета СССР.

А в мрачные дни «великой чистки», в июне 1937 г. уже отставленный от командования войсками в Сибири, маршал Блюхер за столом высшего советского судилища занимает место судьи-члена специального судебного присутствия верховного суда СССР и приговаривает к расстрелу маршала Тухачевского и его сподвижников.

Членом именно этого судилища Блюхер был назначен неспроста. Прежде, чем казнить Блюхера физически, Сталин казнил его морально, вынудив Блюхера казнить своих же единомышленников.

Вскоре после казни Тухачевского и других командармов, исчез и маршал Блюхер. Его портреты были отовсюду сняты, имя вычеркнуто из истории красной армии, а заслуги — присвоены Сталиным. Как расправился Сталин с маршалом Блюхером — неизвестно; советские газеты, как и в случаях исчезновения маршала Егорова, командармов Алксниса, Дыбенко, Каширина, Белова и др., ничего не сказали; ни слова не сказало об этом и советское правительство. Блюхер исчез в подвалах Лубянки.

## Г. П. ФЕДОТОВ

Георгий Петрович Федотов скончался 1-го сентября с. г. Его нашли мертвым в гостиной той больницы, где он провел последние недели своей жизни, в кресле, с раскрытым томом гётеевского «Вильгельма Мейстера» в руках. Близкие к Г. П. люди рассказывают, что после смерти Н. А. Бердяева он сказал: «Николай Александрович умер за письменным столом, и это была подходящая для него смерть, потому что он так много писал. Я пишу меньше, но зато очень много читаю и потому, вероятно, умру за книгой».

Читал Г. П. действительно очень много, но и писал он немало, и писал притом замечательно. До сих пор живо вспоминаю то чувство радости, которое я ощутил, когда около четверти века тому назад прочел первую (для меня) статью Г. П. Она называлась «Три столицы» и появилась в эмигрантском журнале «Вёрсты». Подписана она была именем Е. Богданова — псевдонимом, которым Г. П. пользовался в начале своей эмигрантской жизни (если не ошибаюсь, под этим псевдонимом он напечатал всего три статьи: еще одну статью в тех же «Вёрстах» и первую свою статью в «Современных Записках»).

Радость, которую я тогда испытал, была радостью встречи с новым и большим талантом. На статье была видна печать яркой творческой индивидуальности автора. Своеобразно было и то, *что* он говорил, и то, *как* он говорил. Было ясно, что в русской литературе появился автор, у которого были своя тема и свой стиль. Тема его была значительна, а стиль свидетельствовал о высокой степени словесного мастерства. Это первое впечатление подтвердилось и укрепилось в течение последующих десятилетий — всего того времени, которое Г. П. пробыл с нами. Сейчас у меня нет никакого сомнения, что Г. П. был одним из первых русских стилистов нашего времени и одним из самых замечательных явлений в русской культурной жизни пореволюционной эпохи.

О Г. П. Федотове, как стилисте, мыслителе и историке, надо было бы писать подробно, и надеюсь, что это будет сделано — в частности, на страницах нашего журнала. В этой небольшой заметке мне хотелось бы остановиться на более общей теме —

на теме того своеобразия, которое так поразило меня в первой же, прочтеною мною, статье Г. П. Федотова. Скажу прямо, что я редко встречал такого умственно и духовно независимого человека, как Георгий Петрович. И эта его независимость проявлялась одновременно в двух направлениях — моральном и стилистическом.

Моральная независимость Г. П. выражалась в том, что там, где дело касалось его убеждений, он органически не был способен ни к каким уступкам и компромиссам. В этом отношении в нем даже были, пожалуй, некоторый максимализм. Когда он находил нужным о чём-нибудь высказаться, — а он едва ли когда-либо писал иначе, как под давлением внутренней потребности, — он писал без всякой оглядки по сторонам, не считаясь с тем впечатлением, которое его слова могут произвести — всё равно, на его ли идеальных противников, или на его друзей и сторонников. И временами он даже, как бы сознательно подставлял себя под удары, не сглаживая никаких углов, не обходя никаких подводных камней, напротив — заостряя самые смелые и самые спорные свои мысли. Иногда казалось, что он говорил больше, чем хотел сказать. И так как он был такой большой мастер слова, то могли возникать и возникали подозрения, что в этих случаях он становился жертвой собственного своего стилистического таланта. В какой-то мере такие подозрения законны по отношению ко всем людям, наделенным даром красноречия — устного или письменного. И всё же, я думаю, что преувеличения Г. П. истекали не из любви к «красному словцу», а из увлечения мыслью или увлечения чувством, — что в его случае, в сущности, было одно и то же, поскольку у него, как и у Герцена, мысль всегда была эмоционально окрашенной.

Едва ли можно объяснить эти преувеличения Г. П. «полемическим задором», так как, по моим многолетним наблюдениям, любви к полемике в нем не было. Он мог бы быть блестящим и опасным для своих оппонентов полемистом, но он им не был и, повидимому, быть не хотел. Я не могу вспомнить почти ни одной его полемической статьи, т. е. либо статьи, написанной специально для опровержения чьих-либо взглядов, либо ответа на направленную против него критику. И в устных дискуссиях спорщик Г. П. был плохой. На обращенные к нему возражения, иногда даже на очень резкую критику, он обычно отвечал сдержанно и кратко, как бы не желая поднимать брошенную ему перчатку. И, конечно, не потому, что в нем не было боевого темперамента или чтобы он был образцом терпи-

ности. В нем было очень много страстности, он умел разгораться огнем негодования и иногда мог бы быть несправедлив. Но, вероятно, он старался побороть в себе эти чувства, а кроме того, может быть, просто не верил в целесообразность полемических споров. И он предпочитал выражать свои мысли-чувствия в положительной форме, как бы уповая на то, что в свой час из столкновения мнений родится истина.

Иногда Г. П. называли также парадоксалистом. В обычном словоупотреблении «парадокс» стал означать внутренне-противоречивую или вообще ложную мысль. Но не надо забывать, что не таково было первоначальное значение этого термина. В более строгом и более точном языке парадоксом называется мысль, противоречащая общепринятыму мнению, или такое утверждение, которое, при своей *кажущейся* неправдоподобности, на самом деле заключает в себе истину. Для меня, если не все, то большинство парадоксов Г. П. Федотова относятся именно к этим категориям.

Стилистическая независимость Г. П. состояла в том, что он был почти предельно свободен от всяких словесных трафаретов. Быть может, в этой необыкновенной свежести, в этой, в самом прямом смысле понимаемой, оригинальности стиля Г. П. и заключалось всё его очарование. В языке Г. П. было мало новшеств: и его словарь, и его синтаксис были в достаточной мере «классическими». Но как-то выходило так, что даже привычные слова (часто, правда, в непривычном сочетании) звучали у него по-новому, что слово у него всегда было полноценной, только что отчеканенной, а не стертой от долгого употребления и полученной из сотых или тысячных рук монетой.

Своебразие ума и таланта Г. П. делает очень трудной характеристику его литературной и общественной деятельности — если пользоваться для этой цели рубриками традиционной, или вернее — рутинной, классификации. Боюсь, что, к огорчению рутинеров, его никак не удастся уложить ни на одну из этих прочно сколоченных, но порядочно запыленных, полочек. Уже самая форма его литературных работ была своеобразна — особенно в истории русской публицистической и научной литературы. Ближе всего к определению его литературного типа подошло бы не русское, а иностранное слово: эссеист. Не знаю, какие определения “*essay*” или “*essai*” дают английские и французские литературные словари, но в моем представлении отличие *essay* от обычной публицистической или научной статьи заключается в том, что по форме он приближается к худо-

жественной прозе, а по содержанию — трактует всякий частный вопрос в связи с какой-нибудь проблемой общего, нередко даже философского характера. Едва ли не все статьи Г. П. соответствуют обоим этим признакам. А между этими статьями и историческими работами Г. П. существует очень тесное сродство — и в темах, и в подходе, и в стиле. В сущности, они принадлежат к одному и тому же литературному жанру, и книги Г. П. могут быть названы разросшимися *essays*.

Основной темой Г. П. — на протяжении всей его литературной деятельности (по крайней мере в эмиграции) — оставалась тема России, и Запада. Но тема эта неизменно ставилась и обсуждалась Г. П. в связи с более общим вопросом о судьбах человеческой свободы и человеческого достоинства, а еще глубже, в самой основе его рассуждений, лежала общая религиозная его философия. Предметом занятий и размышлений Г. П. было то, что когда-то называлось «историософией», а теперь называется «философией истории» или «философией культуры».

В самой постановке той темы, которую я считаю для Г. П. основной, ничего особенно нового, конечно, не было. Всем известно, что это старая, «вековечная» русская тема, ставшая в наши дни лишь более обостренной и, можно сказать, трагической. Не нов был и «историософский» подход к теме: именно так ее обычно и ставили. Всё своеобразие Г. П. Федотова сказалось, однако, в том, как он эту тему трактовал и на каких путях он искал разрешения связанных с нею проблем. Согласно традиционной и довольно прочно укоренившейся схеме, славянофильство было связано с религиозностью конфессионального, т. е. церковно-православного, характера, с «почвенностью», понимаемой, как стойкая верность национальным традициям, и, наконец, с политическим, а часто и социальным, консерватизмом. По контрасту, западникам полагалось быть вольнодумцами того или иного типа, космополитами, тяготеющими к западной «иностранице», а в политике — представителями левых течений, от конституционного либерализма до революционного социализма включительно. Во второй половине девятнадцатого века эта схема, в общем, отвечала реальности. Но уже к началу нашего столетия она стала превращаться в анахронизм, по мере того, как обе предусматриваемые ею антигностические группы стали терять свою бытую «монолитность». Схема оказалась тем не менее живучей и в сознании многих дожила и до наших дней.

И вот в эту-то схему Г. П. Федотов никак не укладывается.

Можно даже сказать, что самым фактом своего существования он способствовал дальнейшему ее разрушению. В самом деле, в западничестве Г. П. сомневаться не приходится. На западе, а не на востоке, видел он истоки, оплот и обоснование человеческой свободы. В русской истории он любил Киевскую Русь и императорскую Россию — именно потому, что и та, и другая были обращены лицом к западу. В противоположность славянофилам, он не любил Московскую Русь — за ее несвободную, тяжелую, косную восточно-византийскую природу. В советском государстве, которое он отрицал со всею страстностью своей души, он видел как бы возвращение к «Московии», ее новое, пересмотренное и дополненное в худшую сторону, издание. Но так же, как нельзя сомневаться в западничестве Г. П., нельзя сомневаться и в подлинности его религиозности и, смею думать, его православности. Он принадлежал к редкому в истории русской мысли типу *религиозного западника*, наряду с Чаадаевым и Владимиром Соловьевым, только, если не ошибаюсь, без католических увлечений того и другого.

От, так называемых, «правых» кругов, иногда считающих себя хранителями славянофильской традиции, Г. П. отделял, а подчас и отталкивал, их социально-политический консерватизм, в котором он усматривал равнодушие, если не враждебность, к делу человеческой свободы и социальной справедливости, для него, быть может, высших земных ценностей. Напротив, с так называемыми, «левыми» кругами его сближало убеждение в том, что из всех до сих пор известных форм общественного устройства демократия дает наиболее верные гарантии для обеспечения свободы и осуществления социальной справедливости. Поэтому он был не только политическим демократом, но и демократическим социалистом. Но тогда как он был *христианским демократом и социалистом*, большинство его политических единомышленников не разделяло его религиозно-философского мировоззрения. Весь замысел «Нового Града», — журнала, в создании которого Г. П. принимал самое активное участие, — можно определить, как попытку соединить то, что обычно бывало «славянофильской» философией, с тем, что обычно бывало «западнической» политикой.

Отделяло его от правых и его отрицательное отношение ко всякой форме и всякой степени узкого, самодовлеющего и нетерпимого национализма. И в религии, и в политике Г. П. был космополитом, чувствовал себя членом вселенской церкви и гражданином мира, и к традиционному понятию родины присоединял, в качестве высшей ценности, понятие «нового оте-

чества», пересекающего национальные границы, объединяющего в разных странах мира людей одного духа и одинаковых устремлений. И вместе с тем, только в партийном ослеплении можно было бы обвинить Г. П. Федотова в отрыве от русской почвы, от русской национальной традиции, в измене России и русскому народу. Против этого говорит всё дело его жизни, вся направленность его мысли, всё содержание его трудов, вся сила, с которой он переживал русскую трагедию. На упреки в недостатке патриотизма он мог бы ответить словами Чаадаева, что он «не умеет любить свою родину с закрытыми глазами, опущенной головой и запечатанными устами». На обвинение в том, что Россия не была для него высшей и непререкаемой ценностью и что он не проявлял к ней достаточной сыновней почтительности, он мог бы ответить вместе с тем же Чаадаевым, что как ни «прекрасна любовь к родине, но есть нечто еще более прекрасное — любовь к истине: не через родину, а через истину ведет путь на небо».

Свообразно в Г. П. Федотове было сочетание традиционализма и радикализма. В нем было очень сильно развитое чувство истории, и недаром именно в этом чувстве он видел одну из основных черт русского христианства. Но вместе с тем в нем было столь же сильное чувство современности, и он с большой остротой ощущал все ее основные проблемы, а в поисках их решения не останавливался перед далеко идущими и очень смелыми выводами. Для него в этом не было противоречия. Он понимал, что в истории начало вечного изменения столь же важно, как начало преемственности. Его традиционализм включал в себя элемент отбора и оценки отдельных частей многообразного исторического наследства. Он не столько верил в суд истории, сколько оставлял за собою право на суд над историей. Традиция для него не означала рутины. Он правильно видел в ней преемственную передачу культурных ценностей из одного поколения в другое — не для того, чтобы они хранились в музее, как неприкосновенные реликвии, а для того, чтобы, постоянно обновляясь, они служили, как духовное оружие в борьбе с новым злом и во имя новых целей.

Г. П. часто шокировал многих из своих читателей. Его упрекали иногда в политической безответственности, в высказывании опасных и смущающих умы мыслей. Очень часто это происходило от того, что игнорировалось своеобразие его подхода, что его историософские размышления принимались за формулировку практической программы политического действия. Практическим политиком Г. П. может быть и не был. Но,

если политика не есть самодовлеющее занятие, если и она, при всей своей злободневности, должна быть укоренена в каких-то высших ценностях, то и политические программы и даже тактические установки нуждаются в такого рода пересмотре. А это значит, что многие рискованные мысли Г. П. Федотова, помимо их теоретического интереса, имели и свою прагматическую ценность — если не для политики сегодняшнего дня, то для политики дальнего прицела.

Все мы способны стать жертвами рутины и все мы нуждаемся время от времени в целительной встряске застоявшихся понятий и эмоций. Вот почему, при мысли об уходе из жизни Георгия Петровича, к чувству большой личной потери присоединяется и горькое сознание того, что на трудном нашем пути нам будет не хватать его творчески беспокойного ума и всегда живительного слова.

**М. Карпович**

### **ПАМЯТИ Т. Н. ТИМАШЕВОЙ**

Мы хотим, хотя бы и с некоторым опозданием, отметить первую годовщину со дня смерти Т. Н. Тимашевой, скончавшейся 21-го сентября прошлого года.

Татьяна Николаевна была не только сотрудникой нашего журнала, но и одним из его самых верных друзей. Она всегда живо интересовалась всем, что появлялось на страницах журнала, и со свойственной ей горячностью выражала свое одобрение или, как иногда бывало, неодобрение тому, что на них находила.

Наряду с ее церковно-религиозными интересами судьба русской культуры и, в особенности, русской литературы были тем, чем она жила и волновалась. Она была одним из самых деятельных членов нью-йоркского кружка поэтов, и после нее осталось значительное по размерам литературное наследство.

Ниже мы печатаем два ее посмертных стихотворения.

**Редакция**

Черными бусами  
птицы мелькнули  
там, далеко, между труб . . .  
В воздухе легком,  
весенне-прозрачном,  
облик домов сер и груб.  
Давит мне душу . . .  
Раздвинуть бы стены . . .  
Чистый открыть небосклон . . .  
Пленница жизни,  
я скучная птица . . .  
песня моя — только стон.

\*\*

Обжег холодным поцелуем  
Лицо и руки первый снег.  
С раската, не сдержавши бег,  
В сугроб с салазками лечу я.  
Не страшен снежный пуховик.  
Объятья снега — жарче юга.  
Танцуй, приветливая выюга,  
В сугробе поднятая в миг.  
Не знаю, радостно мне, больно ль —  
Вдали — лазури пелена.  
Но, кажется, близка она  
И светит мне в снегу привольно.

Татиана Тимашева

# КАК ОТКРЫТЬ РОССИЮ?

Немецкий сержант, опубликовавший свои воспоминания о войне на восточном фронте<sup>1</sup>, описывает поразившую его сцену, которую он наблюдал в августе 1942 г. в районе Майкопа. Немцы атаковали деревню, занятую советскими войсками, которые держались так упорно, что немцы наконец решили «выжечь» их из деревни зажигательными бомбами. Соломенные кровли запылали. Советские войска оставили деревню. Когда немецкий сержант был уже на деревенской улице, из одного горевшего дома выбежала старая женщина и, задыхаясь, закричала: «Немец! скажи: Бог есть?». Сержант утвердительно кивнул головой и ответил: «Да, да. Бог есть». Тогда она торжествующе повернулась к стоявшей на улице группе девушек и подростков и пронзительным голосом прокричала: «Ну, что? Вот — первый немец. Мне вы не верили, а ему должны поверить. Он говорит, что Бог есть. Да, Бог есть и Он сделает так, что всё опять будет хорошо».

«Такова Россия», замечает автор. «Их дома горят, целый мир рушится над ними, а старая женщина не думает о том, чтобы спасать себя или свои пожитки, потому что вопрос о Боге важнее».

Сцена, действительно, изумительная, и автор заслуживает благодарности за то, что описал ее в своих воспоминаниях. Но за описанием следует заключение, тоже изумительное, но уже совсем в другом отношении: «Как возможно управлять этим народом посредством рациональных законов и программ? Разве что большевистскими методами, методами системы, которую мы собирались разрушить».

Можно отнестись не слишком серьезно к такому суждению, высказанному верующим национал-социалистом, каким, по его собственному признанию, был еще в то время автор. Ему можно даже это простить, и за описание переданной здесь сцены, и за другие ценные наблюдения, которыми изобилует его очень интересная книга. Но всего любопытнее, что при-

---

<sup>1</sup> Erich Kern: *Dance of Death*, London, 1951.

говор, вынесенный им русскому народу, очень близок к тому, что постоянно приходится читать в литературе, претендующей на самую серьезную научность. Те, кто читал, например, последнюю книгу Кранкшоу<sup>2</sup>, наверное, уже подумали, что английский автор, претендующий на особую глубину своих познаний о России, говорит, по существу, то же самое (только очень странно), что в одном коротком замечании выразил несомненно умный, но совсем не ученый немецкий сержант Эрих Керн. Правда, Кранкшоу не считает советский режим единственной возможностью для России. Но, по его мнению, после свержения царя та или иная «абсолютная диктатура» была неизбежна. Анархия русского народа так беспределен, что без деспотической власти Россия рассыпалась бы; русские сами всегда это понимали и потому мирились со всяким деспотизмом: «если русский человек не может иметь анархию, т. е. абсолютную свободу, то ему всё равно, что он имеет». Кранкшоу, видимо, не подозревает, что русская история уже знала период полной анархии (Смутное время), и что тогда «русский человек» нашел в себе и волю и силу восстановить временно распавшееся государство. Правда, тогда выбрали нового царя, но какое большое государство было в то время республикой? Кранкшоу же убежден, что если бы предоставить русский народ самому себе, то Россия распалась бы на бесчисленное множество отдельных маленьких общин.

Психологией русского народа, русским «национальным» характером сейчас много занимаются, и это было бы очень хорошо, если бы при этом проявлялось больше фактических знаний и меньше буйной фантазии. Стоит только вспомнить ставшую уже в своем роде знаменитой «пеленочной» теорию Горера. В самом предположении, что способ обращения с детьми в первые годы их жизни оказывает влияние на их характер, ничего нелепого нет. Какое-то влияние, вероятно, оказывает и пеленание. Не знаю, можно ли с какой-либо точностью установить это влияние, но во всяком случае для этого необходимо было бы очень точное наблюдение в условиях, допускающих сравнение (в пеленках и без пеленок). А Горер вместо этого набрал целую кучу иллюстраций, до такой степени неверных и вздорных, что похоже, будто кто-то над ним просто издевался. Ведь не мог же, например, кто-нибудь серьезно утверждать, что в русских ругательствах особенно большую роль играют гиены, шакалы, моржи и крокодилы! Горер, прав-

<sup>2</sup> Edward Crankshaw: *Cracks in the Kremlin Wall*. New York, 1951.

да, называет еще собак, которые действительно фигурируют в русских ругательствах, но совершенно так же, как в английских и американских.

До таких нелепостей, как Горер, другие всё-таки не договариваются. Ему, несомненно, принадлежит рекорд. Но многие разделяют с ним стремление найти простую однозначную формулу для понимания всей русской истории или всех черт русской психологии, найти «ключ», которым можно было бы отворить все двери. И таких ключей, к несчастью, имеется уже не мало. Это и «абсолютный анархизм», и принцип «всё или ничего», и «Восток», и стихийный колlettivizm, и какое-то своеобразное мессианство. Ну, а если ни русская история, ни современная действительность тому или иному ключу не поддаются, то тем хуже и для истории и для действительности, с которыми тогда расправляются беспощадно.

Что касается истории, то слишком очевидно, что для того, чтобы ее истолковывать, ее нужно прежде всего знать. Это, казалось бы, трюизм, а между тем больше всего «толкают историю» те, кто ее меньше знают, а историки, как правило, в этом отношении много острожнее. В русской истории немало спорных пунктов, но всё же количество бесспорно установленных фактов достаточно велико, чтобы положить предел фантазированию. Можно, например, спорить о том, была ли Россия когда-либо кастовым обществом (я лично считаю, что никогда не была). Но уже никак нельзя утверждать, как это делает Маргарет Мид<sup>3</sup>, что до 19-го столетия Россия была кастовым обществом, а в 19-м столетии появилась интеллигенция «рекрутируемая из различных каст», тогда как известно, что со временем Петра Великого не только личное, но и *потомственное* дворянство приобреталось не-дворянами, дослужившимися до определенных чинов. Между тем для Мид ее совершенно неправильное утверждение представляется суммированием «широких исторических тенденций», на которых должно базироваться ее исследование.

Много сложнее обстоит дело с фактами современности и, в особенности, с фактами психологического порядка. Объяснять, почему проверка этих фактов в Советской России связана с очень большими трудностями, излишне. Не так очевидно, почему, после того как с волнами новой эмиграции стал разливаться поток подлинной информации от очевидцев, положение стало еще более запутанным. Оказалось возмож-

---

<sup>3</sup> Margaret Mead: Soviet Attitudes Toward Authority. New York, 1951.

ным спорить буквально обо всем, обосновывая очень надежными свидетельствами самые противоположные выводы. Тут недостаточно ограничиться другим троизмом, что «действительность полна противоречий», а нужно нечто вроде «рассуждения о методе».

Я имею здесь в виду не объективно контролируемые факты, как, например: разрешается или нет колхознику иметь собственную лошадь?, а те, которые, главным образом, относятся к особенно волнующей и вызывающей бесконечные споры проблеме о «русском человеке» вообще и о «советском» или «подсоветском» человеке в частности, т. е. к проблеме национального характера, играющей решающую роль и в споре о том: является либо нет большевизм органическим русским явлением (Кранкшоу говорит о «глубокой органической связи между советским режимом и русским народом, т. е. великороссами»). Трудность начинается с того, как установить, что такое национальный характер. Думаю, что прав был Бердяев, начиная свою «Русскую идею» словами: «Есть очень большая трудность в определении национального типа, народной индивидуальности. Тут невозможно дать строго научного определения». Можно итти путем перечисления отдельных, установленных наблюдением, характерных черт. Один французский автор насчитал для русского народа не меньше сорока таких черт, отчасти одна другую исключающих. И подбор кажется, в общем, удачным. Но, не говоря уже о том, что ни у одного русского человека нет и не может быть всех этих черт, у огромного большинства не найдется и половины их. Бердяев перечисляет «противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически-messианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смиренение и наглость; рабство и бунт». Получается определенная концепция народного характера: русские — народ крайностей и противоречий. Но и это не так ясно, как может казаться. Значит ли это, что большинство русских в себе совмещают противоречивые крайности, или что различные группы представляют различные крайности? Если первое, то очень сомнительно, что может быть широко распространенным явлением совмещение таких противоположностей, как обострен-

ное сознание личности и безличный коллективизм или искание Бога и воинствующее безбожие. Именно последнее явно относится к разным категориям, но как раз может быть сведено к общей черте, также отмеченной Бердяевым, а именно, что русский человек и в безбожии остается психологически страстно религиозным. Если же разные категории представляют противоположные свойства, то выходит, что нет общего национального характера. Но мы все, или почти все, убеждены, что он есть; у нас есть *ощущение «русского»*. Мы узнаем русских людей. Мы говорим, что такой-то поступил «по-русски», что то-то типично для русских, характеризуем кого-нибудь как «настоящего русака».

Ту сцену, описанием которой начинается эта статья, вряд ли кто-либо из нас найдет неправдоподобной. Она представляется типично русской — и не только старшему поколению, но и молодым из новой эмиграции. А между тем подобных сцен, вероятно, было очень немногого, потому что до сих пор они не описывались, о них не рассказывали. Может быть, это был единственный случай. И примечательно, что от этого он не стал бы менее типичным. Дело в том, что мы воспринимаем такую сцену как типично русскую уже потому, что в России она является гораздо более вероятной, чем в других странах. Типичными для данного народа представляются те черты, которые с большей вероятностью могут быть встречены у его представителей. Существует очень большая вероятность встретить француза скептика и гораздо меньшая — встретить русского скептика. Поэтому имеется «тиично французский скептик» и типично русское отсутствие скептицизма — русские менее всего народ скептиков.

Думаю, что это определение правильно. И всё же оно недостаточно. Существует еще нечто, очень трудно уловимое, какой-то особенный психологический тон, для точного определения которого пока что, как-будто, нет средств, но который явственно отличает представителей различных народов. Кто-то сказал, что в музыкальном произведении самое ценное то, о чем ничего нельзя сказать. Похоже на то, что и в национальном характере наиболее существенно то, что не поддается выделению в определенную формулу. Но есть критерий, позволяющий измерять это существенное: степень взаимного понимания. Русский лучше «понимает» русского, француз француза, англичанин англичанина, на каких бы языках они ни говорили, и понимают часто даже молча (но есть и глубокая связь между национальным характером и языком).

Но как же всё-таки быть с такими проблемами как: изменился ли русский человек? существует ли новый тип советского человека? является ли он преобладающим или свойственным только некоторым категориям населения, но не его большой массе? Ответ на такие вопросы может дать только тщательная обработка возможно более обширного конкретного материала. Но ответ возможен благодаря тому, что существует историческая обусловленность народного характера, т. е. возможность его изменения. Изменения легче констатируются, чем постоянные черты. В народном характере имеются черты постоянные, что, собственно, означает, что они могут меняться лишь в больших промежутках времени (например, свойства обусловленные биологическими, географическими или климатическими факторами), и свойства, могущие изменяться сравнительно быстро. Соответственно предыдущему заключению основной метод должен заключаться в том, чтобы определять, как изменяются вероятности встретить ту или иную черту — скажем для примера, больше или меньше вероятности встретить теперь русского скептика, чем 10, 20 или 40 лет тому назад. Ограничением этого метода является то, что оперировать приходится не с точно измеряемой статистической вероятностью, а с суждениями о вероятности. Все же он представляется многое более надежным, чем обычно применяемые методы (включая отсутствие всякого метода).

Для изучения изменений сейчас можно располагать уже очень богатым материалом. Прежде всего, конечно, показаниями очевидцев. В новой эмиграции уже имеются различные слои, советский опыт которых относится к различным знаменательным отрезкам времени. Самую многочисленную категорию составляют бывшие военнопленные или вывезенные из России на работу. Опыт большинства из них, поскольку дело касается жизни в Советском Союзе, кончается первым периодом войны. Затем идет волна участвовавших в войне до конца, но затем не вернувшихся в Россию. И, наконец, постепенно накапливается категория «новейших», которые уже имеют и опыт послевоенной советской жизни. Изучение различных суждений и оценок у представителей разных категорий может быть очень плодотворным, обнаруживая именно происходящие изменения, их тенденции, направления, то, что по-английски называется «трэндс». Но на нас обрушилась такая лава крайне противоречивых показаний даже людей, имевших, казалось бы, один и тот же круг наблюдения, что новых загадок оказалось, пожалуй, больше, чем ответов на относящи-

ется к познанию России вопросы. Особенно противоречивы сведения именно «новых» по вопросам, касающимся проблемы «советского человека».

В качестве не только примера, но в известной мере и образца, попробуем разобраться в одном вопросе, имеющем исключительно важное значение для выяснения психологии и настроений «подсоветских» людей: в вопросе, как в действительности, а не согласно различным легендам, сражалась советская армия. По этому вопросу делаются утверждения совершенно категорические и в то же время диаметрально противоположные. Очень большое количество очевидцев из числа новых эмигрантов вероятно, подавляющее большинство — на основании собственного опыта рассказывают о грандиозном пораженчестве в первый год войны, о добровольной сдаче в плен миллионов. Некоторые из эмигрантов это оспаривают, а немецкие источники изобилуют указаниями на поражающее упорство сопротивления, проявленное Красной Армией с самого начала войны. Liddel Hart<sup>4</sup>, опросивший большое количество немецких генералов, пришел к следующему заключению: «Только отсутствие тактического умения или отсутствие боевого духа могли быть причиной таких колоссальных поражений (первого периода войны). Но немецкие генералы сами признают, что русские упорно сражались с самого начала... Таким образом причиной должно было быть отсутствие умения». Вывод, как мы увидим, неправильный, но интересно свидетельство об единодушном мнении немецких генералов, нашедшее теперь выражение и в немецкой литературе. Так, генерал Гудериан в своих воспоминаниях<sup>5</sup>, говоря о первых днях войны, отмечает: «Неприятель, как всегда, оказывал упорное сопротивление». Таких свидетельств имеется очень много. Германские генералы в своих суждениях о боевом духе Красной Армии фактически единодушины. Но что же представляют тогда собою рассказы множества очевидцев: плод воображения или сознательную неправду? В отдельных случаях возможно и то и другое, но в высшей степени неправдоподобно, чтобы и воображение разыгрывалось и неправда сочинялась в таких массовых размежах, с полным совпадением в основных пунктах. И дело, действительно, обстоит совсем иначе.

---

<sup>4</sup> Defense of the West. New York, 1950.

<sup>5</sup> Erinnerungen eines Soldaten, Heidelberg, 1951.

Каждая сторона прежде всего *видела* то, что произвело на нее наибольшее впечатление. Немецкие генералы считали, что было бы совершенно нормальным, чтобы армия, подвергшаяся таким страшным ударам, сражавшаяся под неспособным командованием и тактически очень неумелая, вообще потеряла способность сопротивляться. Огромное количество пленных представлялось им совершенно естественным следствием понесенных поражений. Но их поражало то, что, несмотря на это, сопротивление не прекращалось, что многие русские солдаты бились до последней капли крови, а другие вырывались из окружений и группировались в новые боевые единицы. Существуют различные подсчеты, какой процент потерь различные армии могут выдержать. Красная Армия теряла гораздо больше, чем полагалось по этим подсчетам, и всё-таки продолжала сражаться. В этом и было «чудо русского сопротивления», над которым ломали себе головы немецкие (да и не только немецкие) наблюдатели. Те же русские солдаты и офицеры, которые попадали в плен, и, в особенности, те, которые сами сдавались добровольно, видели совсем другую сторону, и каждый из них был, естественно, склонен обобщать свой личный опыт, условия той обстановки, в которой он находился.

Однако, истина находится не просто по середине между противоположными утверждениями, а скорее вне их, в какой-то другой плоскости. Может быть, лучше всего это определил один из бывших военнопленных, который сказал мне: «Мы шли на фронт с двумя чувствами: с одной стороны чувствовали, что нужно защищать родину, а с другой — хотели поражения и гибели ненавистной власти. Какое чувство побеждало, зависело от обстоятельств». Были и убежденные коммунисты, которые фактически сражались сами и заставляли сражаться других. Были и такие патриоты, которые готовы были защищать родину, на время не считаясь с властью и режимом. Обстоятельства, при которых у людей с двойным чувством побеждало то или другое, тоже были различны. Словом, картина была очень сложная, которую одной простой формулой охватить никак нельзя.

Богатый материал имеется в германских документах, захваченных союзниками, но по непонятным основаниям в Америке эти документы считаются секретными и всё еще недоступны для пользования. Некоторые данные всё же были опубликованы, благодаря чему стали известны, по крайней мере, подлинные цифры русских пленных, как они регистрировались

для самого германского командования, а не для опубликования. До 1-го апреля 1942 г., т. е. за первые девять месяцев войны было взято в плен 3,6 миллиона, в том числе около 2.160.000 в шести более значительных операциях, имевших место от 29-го июня по 18-ое октября, т. е. менее, чем в четыре месяца. В двух случаях, в «киевском котле», ликвидированном 24-го сентября, и в брянско-вяземском окружении, ликвидированном 18-го октября, число пленных, по поразительному совпадению, достигло одной и той же цифры — 665 тысяч. По поводу этих цифр делалось замечание: раз люди были взяты в плен в окружении, причем же тут пораженчество? Но такое замечание совершенно игнорирует характер войны, которая велась тогда на русском фронте. Окружения не были плотными и тесными кольцами, лишавшими окруженных всякой возможности уходить. Они совершались, главным образом, танковыми войсками, пересекавшими тыловые сообщения, но распределенными лишь небольшими группами по окружностям, измерявшимся сотнями верст. Бряд-ли можно допустить, что такая масса, как 665 тысяч, оказалась в плену, потому что никому из нее нельзя было вырваться. Помимо попавших в плен, многие вырывались; из пленных одни оставались, потому что были, действительно, в безвыходном положении, другие потому, что были совершенно истощены или серьезно ранены, а значительная часть и потому, что не хотела спасаться, чтобы продолжать войну.

Гудериан пишет, что русские «капитулировали» в брестоцком (342.000 пленных), а позднее в киевском котле. Но формальных капитуляций вовсе не было и в советской армии быть не могло. Командование не славало армий. Командующий группой войск и члены его штаба были убиты в последних боях в киевском котле. Командующий 5-ой армией, защищавшей Киев, был взят в плен, и его опрашивал сам Гудериан, который, очевидно, говорит о капитуляции в том смысле, что войска перестали сражаться, а не были насильственно забраны в плен. Но определить долю пораженцев в числе пленных, конечно, невозможно, как с другой стороны нельзя судить, сколько павших в бою при других обстоятельствах сдались бы добровольно. Была изумительная стойкость, но было и много случаев паники. Одни хотели защищаться, другие хотели поражения, третья находили тот или иной выход из своих колебаний в зависимости от обстоятельств. Обыкновенно упускают из виду то, что для офицеров и солдат сражение есть действие, не требующее собственного реше-

ния. Это их естественная функция, они на это тренированы, обязанность сражаться за родину внушается всяkim, а не только большевистским воспитанием, их воля скована дисциплиной. К тому же уже в сентябре 1941 г. приказом Сталина были введены заградительные отряды, беспощадно расправляющиеся с поддавшимися панике или уклонившимися от боя. И уже факт этого приказа показывает, что в Красной Армии тогда дело обстояло неблагополучно. Это может казаться парадоксальным, но, чтобы сражаться, не нужно никакого решения и никакой активной воли, а дезертирство или добровольная сдача в плен являются активными волевыми действиями, результатами *решений* и при этом часто чрезвычайно трудных решений. С этим надо считаться, как с важным психологическим фактором, независимо от его морального оправдания или осуждения.

Тот немецкий сержант, который наблюдал переданную выше сцену, пишет, что он и его товарищи часто изумлялись тому, почти нечеловеческому упорству, с которым русские защищали безнадежные позиции, и в его книге имеется ряд таких примеров. Стремления умалить доблесть противника у него совершенно нет. Но он же рассказывает, как, приехав вдвоем с офицером на разведку в оставленный советской армией Херсон, они обнаружили во дворе одного здания 40-50 офицеров и солдат в полном вооружении и уже считали себя погибшими, когда неприятельские воины совершенно спокойно сдались. Он рассказывает о таких случаях, как русские солдаты яростно сражались, а затем вдруг бросали оружие, бежали к немцам и просили папирос, или как только что взятые в плен после упорного сопротивления сами хватали лежавшие на земле ружья, чтобы стрелять в свой же советский самолет. Очень ценные и наблюдения автора о поведении населения, с которым он непосредственно соприкасался. Интересно, например, что он два раза отмечает, как общее правило, что русские девушки держались дружелюбно, приветливо; но не переходя определенных границ и сохраняя, по выражению автора, «чистые» отношения, так что один из его товарищей как то заметил: «я надеюсь, что наши девушки не хуже».

Значительное количество противоречивых суждений объясняется и тем, что они высказываются в такой форме, как «русские сражались так-то» или «советское население вело себя так-то», причем русскими или советскими оказываются при более близком рассмотрении то великороссы, то украинцы, то татары, башкиры, кавказские горцы и т. д. Но посколь-

ку вообще возможно говорить о народном характере, никак уж нельзя набирать элементы этого характера у различных народностей, часто резко отличающихся друг от друга историческим прошлым, степенью культурного развития, бытом, верованиями, темпераментом и т. д. Советская власть далеко еще не превратила все народы Союза в одну однородную массу.

Вообще степень однородности, достигнутой при советской власти и под ее воздействием, нередко преувеличивается с разных сторон. Советская пропаганда безмерно преувеличивает мнимое преобладание нового типа «советского человека»; некоторые иностранные наблюдатели утверждают, что советский режим всех обезличил и «механизировал»; другие говорят, что все народы и, за исключением правящего слоя, все части населения объединены ненавистью к власти и общностью реакции на террор и всяческое угнетение. Всё, что мы постепенно узнаем, убеждает в том, что никакого такого уравнения нет, что и при тоталитарной диктатуре сохраняются, иногда ослабевая, а иногда и усиливаясь, национальные особенности, существуют различные социальные типы, различные настроения и различные реакции на советскую действительность. Познание этой действительности — задача очень сложная и трудная. Но она не безнадежна. В источниках недостатка нет. Иногда даже кажется, что их слишком много. Для особенно важного периода, а именно для времени войны, есть многообещающая возможность сопоставлять материал наблюдений, делавшихся с различных сторон. А это время должно быть исходным пунктом для исследования, направленного как вперед к современности, так и назад к советской предвоенной жизни. Война была для всей страны безмерно громадным потрясением, которое не могло пройти бесследно, и пережитое во время войны, без сомнения, оказало и продолжает оказывать очень большое влияние на психологию подсоветских людей. Но в то же время война обнаружила и такую правду об этих людях, до которой раньше нельзя было добраться и которая оказалась, по крайней мере отчасти, неожиданной и для самой советской власти. Но уже накопившимся и продолжающим накапляться материалом нельзя овладеть с помощью поспешных обобщений и предвзятых однозначных формул. Как ни хотелось бы «торопиться», но необходимо сначала итти путем *критического описания*, как кирпич за кирпичом укладывая тщательно проверенные и очищенные от сомнительной примеси данные.

Та сцена, с которой я начал свою статью, является одним из таких кирпичей. Немецкий сержант правильно ощутил ее типичность, но сделал из этого очевидно нелепый вывод. Иначе настроенные люди могут с такой же поспешностью делать совсем другие выводы. Другие могут совершенно основательно возразить, что страстно верующая старая женщина отнюдь не является типичной представительницей советского общества. Тем не менее, как я имел случай установить, и бывший подсоветский человек, выросший после революции, может считать эту сцену типично русской. Конечно, очень соблазнительно сейчас же истолковать ее, как подтверждение той или иной теории русского народного характера. Но фантастические теории именно так и создаются. При желании можно объяснить поведение старой женщины и кастовым характером русского общества и тем, как ее пеленали, но также и гораздо более разумными и обоснованными теориями. Но каждое толкование будет произвольным, если данное наблюдение не будет включено в достаточно обширную группу других, чем-либо родственных ему, наблюдений. Такими можно, например, считать все наблюдения, которые свидетельствуют о склонности многих русских людей к напряженному «исканию правды», к желанию найти решающий, точный и авторитетный ответ на все «проклятые вопросы». И не этой ли чертой объясняется, хотя бы отчасти, те, не всегда очень толковые, но всегда страстные споры, которые ведутся теперь о «сущности» советского или подсоветского человека?

Ю. П. Денике.

# ИДЕЙНЫЕ КОРНИ БОЛЬШЕВИЗМА

Откуда есть пошел большевизм — проблема большая и сложная. Одними идеологическими причинами она, конечно, не исчерпывается, как высоко ни ставить «надстройку» и, наоборот, как ни умалять «базис», т. е., экономику.

Но и в идеологическом ряду, условно сбрасывая со счетов геополитику, историю страны и психологию народа, было бы упрощением сводить большевизм к какой-нибудь *одной* идеи или к *одному* человеку. У каждой идеи, входящей в комплекс «ленинизма-сталинизма» — материализм, диалектика, атеизм, аморализм, классовая борьба как норма и т. д. — имеется часто не один корень, а несколько, не один прародитель, а не сколько.

Вопрос об идейном происхождении большевизма насчитывает десятилетия, и ответы на него давались и даются разные. Сами большевики считали себя верными и последовательными, единственно верными и последовательными учениками Маркса и Энгельса. Последние были для них абсолютными авторитетами, непревзойденными творцами «научного социализма» — «единственной международной теории революционного социализма» о «единственном действительно революционном классе современного общества» (Ленин). «Октябрь означает идеологическую победу коммунизма над социал-демократизмом, марксизма над реформизмом» (Сталин).

Не было никаких оснований не доверять большевикам в том, кто их духовные предки, — у кого они, по их собственному свидетельству, набирались и набрались большевистского ума-разума. Тем более, что взгляд на марксизм, как на единственную революционную теорию социализма, и на пролетариат, как на единственный действительно революционный класс современного общества, — был характерен для марксизма всех стран, в частности, и для русского марксизма задолго до — и после — появления большевизма. Еще при образовании 2-го социалистического интернационала, в 1889 г., Плеханов заявил, что «революция в России победит, как рабочая революция, или не победит вовсе». А за четыре месяца до того, как в

письме к Энгельсу (30 окт. 1894 г.) он поклялся пожизненною верностью марксизму, в письме к тому же Энгельсу Плеханов подводил итог своему народническому прошлому в таких выражениях: «Революционная пропаганда в современной России может быть только *марксистской*. В прежнее время мы имели *народничество*, которое являлось, по существу, своего рода разновидностью бакунизма, и *народовольчество*, которое было самым обычным ткачеством».

Противоположение социалиста Маркса анархисту Бакунину и проповеднику всех видов устрашения и истребления политических противников Ткачеву достигало двух целей. Оно превозносило истину «научного социализма» и оно изобличало ложь и заблуждение народничества и народовольчества, толькоискажающих и компрометирующих революцию и социализм. Маркс или Ткачев (с Бакуниным и Нечаевым) — это противоположение приобрело обостренный интерес и значение после того, как марксист Ленин оказался властителем России. Те из марксистов, которые не приняли большевизма, нашли в нем искажение марксизма, — теорию и практику не Маркса и Энгельса, а Бакунина и Ткачева. С новой силой и убеждением воскрешена была старая формула (1894 г.) Плеханова, в течение десятков лет влиятельнейшего русского марксиста, после Маркса и Энгельса оказавшего наиболее сильное влияние и на Ленина \*).

---

\* ) Никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним почтением и "veneration", как к Жоржу» (Плеханову), — писал Ленин. И после раскола Р. С. Д. Р. Партии на большевиков и меньшевиков Ленин долгое время сохранял свои прежние чувства к Плеханову. Он убеждает его в 1905 г.: «наше согласие с Вами касается примерно 9/10 вопросов теории и тактики, а ради 1/10 расходиться не расчет... Ваше общее сочувствие взглядам большинства известно». В октябре 1910 г. Ленин повторяет то же: «я стою всецело с 1909 г. за *сближение* с плехановцами. И теперь еще больше. Только с плехановцами мы можем и должны строить партию»

Встречные чувства Плеханова к Ленину можно иллюстрировать одной из острот Плеханова периода «Искры». «У Наполеона была страстишка разводить маршалов с их женами. Иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Иные товарищи похожи в этом отношении на Наполеона, — во что бы то ни стало хотят развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы: я не стану разводиться с Лениным и, надеюсь, и он не намерен разводиться со мной».

«Для историка теперь совершенно ясно», настаивает и по сей день Р. А. Абрамович, что «диктатура пролетариата в понимании Маркса не имела ничего общего с ленинским представлением о диктатуре» и что «Октябрь пошел не по Марксу, а по Ткачеву». («Соц. Вестник», №№ 11-12 за 1950 г. и № 5 за 1951 г.).

Реабилитация марксизма со стороны марксистов, усматривающих в ленинизме отпадение и уклонение от истинного и правоверного марксизма, является, конечно, и естественной и понятной, — как естественно и понятно стремление переложить ответственность с большой головы — не скажу на здоровую: Ткачев, как известно, кончил жизнь в убежище Святой Анны в Париже, т. е. сумасшедшим, — на другие, не более здоровые. Эта естественная реакция неожиданным образом совпала фактически со взглядами иных групп и лиц, с устремлениями совсем другого порядка. Ненавидящие Россию сепаратисты; представители оккупированных советской властью стран, Чехословакии, Польши, Венгрии и т. д.; иностранцы, ставящие политическую ставку на расчленение России и не преследующие такой цели, но пытающиеся «углубить» понимание происходящего или не изжившие в себе симпатий к ленинизму; Лев Добрянский, Стефан Осуский, Бидл Смит, Эдуард Кэрр, Крэнкшоу и несчетное число других авторов согласно сводят коммунизм к «руссизму» и главную причину успеха большевизма в России видят в ее исконных, примитивных и варварских, «московитских» условиях, с опричиной Ивана Грозного, застенками Петра Великого, с Бакуниным, Нечаевым, Ткачевым и прочими «бесами».

«Русские предпочитают анархию, но в ее отсутствие довольствуются автократией». «Все или ничего». Эти взгляды, может быть, питаются частично тем же стремлением к само-реабилитации — к оправданию Запада от обвинения в том, что корнями своими ленинизм упирается в марксизм, в одну из вершин западно-европейской культуры и прогресса. Как бы то ни было,вольно или невольно, но на Западе и консервативные круги, отталкиваясь от большевизма, стали крайними обличителями русского прошлого и вместе с тем неожиданными защитниками западнического марксизма.

Опровержение этой историософии, восходящей в своем существе к суждениям о России маркиза де Кюстина первой половины 19-го столетия, здесь невозможно. Ограничимся указанием, что признание марксизма главным резервуаром тех идей, теоретических и тактических, которые оформили Ле-

нина и ленинизм, отнюдь не снимает известной ответственности с народничества. Еще в 1919 г. я писал: «Та несложная философия, которая послужила обоснованием и оправданием захвата власти в России 25 октября (7 ноября) 1917 г. исторически имеет два идеологических истока, в разной мере ее питавших: это *народничество времен декаданса*, знаменовавшего возвращение к народническому якобинству 70-х и 60 годов, и это марксизм *этюхи примитивизма*, датирующей 60-ми и 70-ми годами на Западе и 80-ми и вплоть до наших дней в России». (Парижский журнал «Грядущая Россия» № 1. — Перепечатано в книге «Всерос. Учред. Собрание». 1932. Стр. 43).

С народничеством были связаны и марксисты 1906-07 г. г. и, так называемые, левые эсэры 1917-18 г. г., которые приложили руку к самому захвату власти, к формированию правительства узурпаторов, к созданию ВЧК, к разгону Учредительного Собрания. Однако, спаянная кровью дружба левых эсэров с большевиками была непродолжительна. Левые эсэры восстали против ленинского сепаратного мира, и с июня 1918 г. большевики-марксисты одни несут всю полноту ответственности за деяния, которые во многом соответствовали тому, что раньше десятилетиями проповедовали некоторые народники.

Можно привести, и приводят, множество извлечений, в частности из Ткачева, близко совпадающих с тем, что говорил и делал Ленин не только после захвата власти, но и задолго до того. При этом обычно исходят, как из данного, что, хотя Ленин и высоко ставил Ткачева и Нечаева, как людей, преданных духу революции, Ткачев по своей идеологии был и остался типичным народником — антиподом марксизма. Между тем это, по меньшей мере, спорно, а, как доказывают некоторые авторитеты, — неверно. Известный народник, хорошо знавший Ткачева по родственной связи с ним, Н. Ф. Анненский, печально характеризуя его, как «крайнего и последовательного экономического материалиста», считает его «первым русским марксистом.» Того же мнения держался и развенчанный Сталиным, но в ленинские времена признававшийся лучшим историком М. Н. Покровский. Во всяком случае это Ткачев в 1865 г. впервые назвал в русской печати имя Маркса, добавляя: «Едва ли умный человек найдет против учения Карла Маркса хоть какое-нибудь серьезное возражение», — его идеи сделались уже «почти общим достоянием всех мыслящих людей».

Едва ли не лучший знаток Ткачева в русской историографии, редактировавший 6 томов его «Избранных сочинений на

социально-политические темы», Б. П. Козьмин, так характеризует его: «Никто в России его (Ткачева) времени не воспринял так сильно и так глубоко учения Маркса, как он (за исключением, может быть, Н. Н. Зибера)». Отмечая «сильное влияние идей Маркса на Ткачева», Козьмин считает, что имеется «гораздо больше пунктов, в которых Ткачев коренным образом расходился с народниками», — нежели пунктов, в которых он с ними сходился. Ткачев относился отрицательно к «целостному миросозерцанию» Лаврова и Михайловского. «Субъективной социологии» Лаврова Ткачев противопоставляет теорию экономического материализма». В 1874 г. Ткачев пишет: «Хотя тихо и вяло, но всё же мы кое-как подвигаемся по пути экономического развития. А это развитие подчинено тем же законам и совершается в том же направлении, как экономическое развитие западно-европейских государств». — В 1875 г.: «Смотрите! Огонь «экономического прогресса» уже коснулся коренных основ нашей народной жизни. Под его влиянием уже разрушаются старые формы нашей общинной жизни, уничтожается самый «принцип общины»... На развалинах перегоряющих форм рождаются новые формы — формы буржуазной жизни».

Не значило ли это, что Россия, по мысли Ткачева, вступила в капиталистическую fazu развития?!

Te, кто оспаривают близость Ткачева к марксизму, — а таких немало среди большевиков (Н. Батурина, М. Балабанов, В. Невский) и среди антибольшевиков, — ссылаются обычно на суровую отповедь, которую Энгельс дал Ткачеву на его письмо, написанное в 1874 году. В своем письме Ткачев говорил о русском народе, что он «проникнут принципами общинного владения» и «если можно так выразиться, коммунист по инстинкту, по традициям», «наш народ, несмотря на невежество, стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Западной Европы, хотя последние и образованнее его».

Понятно негодование Энгельса, который увидел в Ткачеве последователя ненавистного ему и Марксу Бакунина. Но Энгельс основывал свое суждение, как отмечает Козьмин, только на двух брошюрах Ткачева. Он не знал статей Ткачева в «Набате», где было «гораздо больше пунктов, в которых Ткачев коренным образом расходился с народниками». Заключение, к которому приходит Козьмин, таково:

«Ткачев расходился со своими современниками из народнического лагеря. В отличие от них он отрицал особый путь социального развития России. В отличие от них Т. не рас-

сматривал общину, как «палладиум, на котором написано: сим победиши», а лишь допускал, что при известных условиях она может обратиться в общину-коммуну. В отличие от народников Т. считал, что «народные идеалы» не заключают в себе развитого коммунистического идеала. В отличие от народников Т. отводил народным массам лишь пассивную роль в социальной революции. В отличие от них он говорил о необходимости политической борьбы. В отличие от них он не был анархистом. Если же к этому прибавить, что Т. совершенно не разделял социологической доктрины народничества, то мы вправе будем сказать: пора отказаться от причисления Т. к народникам, ибо такой взгляд на него обусловлен лишь недостаточным знакомством с его общественно-политическими взглядами.» (Б. Козьмин, «П. Н. Ткачев и Народничество». — Журнал «Каторга и Ссылка» № 1 (22), Москва, 1926). Тот же взгляд Козьмин развил в своей пространной «вступительной статье» к 1-му тому «Избранных Сочинений» Ткачева. «Где в революционных настроениях Ткачева кончалось влияние Маркса, там начинался бланкизм, якобинство».

В конце концов, не столь существенно, как назвать Ткачева, народником, марксистом или бланкистом. Существенное то, что даже если причислить его к народникам, своим идейным развитием он во многом обязан Марксу и Энгельсу. И Ленин нашел у Ткачева созвучное себе, может быть, именно потому, что оно совпадало с тем, чему его учил марксизм.

Б. Козьмин, как и другие советские писатели, например, С. Мицкевич, или антибольшевик Р. Абрамович держатся мнения, что Ткачев во многом предвосхитил идеи Октября. В предисловии и примечаниях к переведенной на русский язык под редакцией Ткачева еще в 1869 г. книжке Бехера «Рабочий вопрос» уже упоминалась диктатура пролетариата, — замечает Козьмин. Но и он не может, конечно, оспорить того, что за два с лишним десятилетия до 1869 г. ту же идею высказал Маркс с Энгельсом, не один раз говорившие о диктатуре пролетариата в 50-ых годах.

Как же после этого согласиться с тем, что «для историка теперь совершенно ясно», что «Октябрь пошел по Марксу, а не по Ткачеву»? Или с выпадом П. А. Берлина против «многочисленных недорослей русской эмигрантской печати, которые утверждают, что это марксисты создали большевиков». («Нов. Р. Слово» от 18 сент. 51 г.). Нам представляется правильным как раз обратное: *теперь больше, чем когда-либо, для историка должно быть ясно, что если Октябрь пошел и по*

*Ткачеву, он во всяком случае пошел прежде всего по Марксу, — может быть и по Ткачеву пошел только потому, что пошел по Марксу.* Достаточно взять сочинения Ленина, чтобы убедиться в том, чем Ленин обязан Марксу и почему именно в Марксе он видел своего первоучителя. Все 35 томов сочинений насквозь пропитаны не только идеями, но и фразеологией Маркса и Энгельса. Почти каждое положение, особенно такие «основоположные» для ленинизма, как «общее убеждение марксистов в том, что русский рабочий — единственный и естественный представитель всего трудящегося и эксплуатируемого населения России» (т. I, стр. 280), как классовая борьба с беспощадным подавлением классового врага, как захватование власти с гегемонией и диктатурой пролетариата, как мнимое «отмирание» государства, и т. п., — каждое скрепляется бесчисленными ссылками на непреложный авторитет первоучителя.

Ленин мог быть односторонен или неправ в своем понимании и истолковании Маркса и Энгельса. Достаточно, однако, того, что они *могли* быть так истолкованы, что наиболее убедительное для себя обоснование ленинизма искал и находил именно в марксизме, а не у Ткачева или Чернышевского. Это, конечно, ни в малой мере не снимает ответственности с Ткачева, в частности, за его изуверскую проповедь необходимости истребить всё население свыше 25-летнего возраста для окончательного искоренения деспотизма в России.

\*\*

В Ткачеве, Нечаеве, Бакунине, как во французских якобинцах и Бланки, видят обычно родоначальников большевистской *тактики*, проповедников и идеологов той аморальной террористической практики, которую стали применять Ленин и его соратники, когда к тому открылась возможность. На роль теоретических мыслителей ни Бакунин с Ткачевым, ни, тем менее, Нечаев не могли претендовать. Для этого нужны были более глубокие умы. И, наряду с Марксом и Энгельсом, эту роль стали приписывать Н. Г. Чернышевскому.

Поиск идейных предшественников Ленина в этом направлении был предуказан самим Лениным. В том же своем «Что делать?» он называет в качестве предшественников российской социал-демократии или марксизма в России, — «Герцена, Белинского, Чернышевского и блестящую плеяду ре-

волюционеров 70-х годов». Названные трое, с добавлением еще Добролюбова, позднее были выделены в особую категорию «просветителей», — не достигших высшей степени благодати и откровений марксистского социализма, но всё же возвысившихся над всеми другими «разночинными революционерами-демократами». Из этих «просветителей», по той же ленинской подсказке, первым «самым ярким, самым близким предшественником марксизма» был признан Чернышевский — «несравненный диалектик и учитель», сыгравший «значительно большую роль даже чем Герцен в деле подготовки лучших умов к восприятию марксизма». Ленин писал, что наследство, от которого марксисты не отказываются, есть «прежде всего наследство идей Чернышевского». Чернышевского и Плеханова он считал наиболее выдающимися русскими мыслителями в нашем прошлом.

Ленин не мог не понимать, что Чернышевского с его положительным отношением к крестьянству, к крестьянской революции, земельной общине и пр., трудно приобщить к марксизму. Он довольствовался поэтому тем, что называл Чернышевского «великим утопистом, великим социалистом до-марксова периода», и, вместе с тем, хотя и «родоначальником, (вместе с Герценом) народничества», но «не типичным народником», а стоящим особняком, выделяющимся из ряда. Ученики Ленина были менее церемонны и более решительны. Ю. Стеклов, написавший двухтомную монографию о Чернышевском, разглядел в нем не только марксиста, но и ленинца до Ленина. «От системы основателей современного научного социализма мировоззрение Чернышевского отличается лишь отсутствием систематизации и определенности некоторых терминов». Стеклов — не единственный, кто пытался «растворить» ленинизм в идеологии Чернышевского или «слить» воедино Чернышевского с Лениным. В прошлой и этой книжках «Нового Журнала» аналогичную попытку делает Н. Валентинов.

Автор начинает статью с очень интересного воспоминания об обмене мнениями, который имел место в январе 1904 г. в женевском кафэ между ним, Лениным и двумя другими единомышленниками последнего. Во время разговора Ленин с необычайной взволнованностью и горячностью выступил на защиту Чернышевского и его романа «Что делать?» — «Недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать?». Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и при-

митивно... Он меня всего глубоко перепахал», — говорил Ленин.

И эти слова глубоко запали в сознание Валентинова. Уже после смерти Ленина, в 30-х годах, ему как-то пришла в голову мысль, что «духовная и политическая формация» Ленина не могла создаться под влиянием «одного Маркса», и он поставил перед собой вопрос: «Не было ли глубокого и властного влияния кого-то *до* Маркса, внушившего то, что ни Маркс, ни Энгельс внушил ему не могли?»

Двумя десятками лет позднее Н. Валентинов нашел ответ на свой вопрос. Вспомнившаяся беседа с Лениным и запись, сделанная участником собеседования, Воровским, побудили Валентинова сопоставить написанное Чернышевским с тем, что писал Ленин. В итоге он пришел к выводу: «никак нельзя сказать, что это марксизм вылепил и создал Ленина; к моменту встречи с марксизмом, Ленин, под влиянием Чернышевского, оказался уже крепко вооруженным некоторыми революционными идеями, составившими специфические черты его политической физиономии, именно как Ленина». Н. Валентинов считает «лишним ломиться в открытую дверь и доказывать, что с начала 90-х годов Маркс, сев на трон в центре мировоззрения Ленина, стал для него пророком, оракулом, премудрым советником, блюстителем вечной истины». «Хулу на Маркса — писал Ленин в начале 1917 г. Инессе Арманд, — не могу выносить спокойно». А Горькому в 1913 г. Ленин писал: «за попытки поносить марксизм воевать будем не щадя живота». Однако, когда Валентинов начинает характеризовать Чернышевского, тот постепенно вырастает в гораздо более монструозную и зловещую фигуру *главного* искусителя и соблазнителя. Чернышевский оказывается «Иоанном Крестителем» Ленина, его «покорившим первоучителем». Он «первая идеяная любовь Ленина, а первая любовь, говорят, самая сильная».

Само собой напрашивается сравнение: Чернышевский — Мефистофель или Демон искушатель, а Ленин — грешная, соблазненная Маргарита или Тамара... Во всяком случае, Маркс — только оракул и советник, Чернышевский же — Иоанн Креститель, подлинный «предтеча».

Движимый предвзятой мыслью найти корни большевизма в предшествующем Марксу влиянии на Ленина, Н. Валентинов так увлекся своим поиском и розыском, что впал в явное противоречие с самим собой. Первая его статья довольствовалась ограниченной целью: показать и доказать, что «душевную политическую суть Ленина нельзя уложить в футляр од-

ного только марксизма, хотя с внешней стороны всё говорит как-будто за то, что она в этот футляр укладывается без остатка». Но, как аппетит приходит с едой, так в процессе полемического воодушевления незаметно для автора расширилось и задание. И вторую статью он заканчивает уже гораздо дальше идущим выводом: «стремясь понять историческую фигуру Ленина, нужно менее всего думать о Марксе. Несмотря на «марксизм» (кавычки Н. Валентинова) «и пятнадцать лет жизни заграницей, Ленин поднялся не на импортных заграничных дрожжах. Он такое же растение национальной почвы, как воспитанник духовной семинарии, сын саратовского протоиерея, Чернышевский, которого вряд ли кто будет считать типом не национальным, а только отприском Фурье, Оуэна и Бланки».

Противоречивость двух утверждений, как будто, самоочевидна. Что ленинизм и большевизм не от одного марксистского только корня, — это можно признать. Но что, говоря о Ленине, нужно «менее всего» думать о Марксе, при чем самый марксизм уже заключается в кавычки, принимается в каком-то условном смысле, — это такое преувеличение, что и объяснить его трудно, разве только что «сублимированным» желанием — путем атаки на Чернышевского отстоять «пророка и блюстителя великой истины» Маркса.

Трудно проследить, как слагается духовный облик человека. Как складывался, в частности, облик Ленина. У одних, как известно, — «что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет... лишь бы доказано было умно». У других, наоборот, прочитанные в молодые годы книги оставляют неизгладимый след на всю жизнь. Хронология, во всяком случае, не является решающим фактором, не определяет удельный вес того или другого влияния.

Ленин привык брать свое добро всюду, где находил себе созвучное: у Нечаева и Ткачева, у Чернышевского и Плеханова, у Маркса и Энгельса, Бланки и Жоржа Сореля. Не брезговал он и Клаузевицем, Пугачевым и Аракчеевым. В ленинизме можно найти разное: не только «научный социализм», но и утопический, и народнический \*), и др.

\*) В 1929 году советская цензура пропустила работу некоего Н. Сергиевского, который доказывал, что русские марксисты ведут свое происхождение не от женевской «Группы Освобождения Труда» Плеханова, а от петербургской «Группы Благоева», которая «заимствовала на 9/10 свои воззрения от народников 80-х годов». Умерший в

Н. Валентинов прав, когда утверждает, что «теоретически и психологически Ленин стал революционером до знакомства с Марксом». И большевистский канон лжет, когда утверждает обратное. Но Валентинов глубоко ошибается, когда заявляет, что свой первый революционный «заряд» Ленин получил от «Что делать?» Чернышевского. Нет, он получил его, конечно, при вести о казни брата. И в отдаленной степени не обладая чувствительностью Достоевского, на всю жизнь запомнившего минуты, проведенные на эшафоте, молодой Ленин не мог всё же не быть глубоко потрясенным казнью Александра Ульянова. И когда *после* этого он стал, из письета к казненному брату, перечитывать «одно из самых любимых его произведений», он нашел в романе Чернышевского то, что при первоначальном чтении без «карандашика» вовсе не бросилось ему в глаза. Воистину бездарный и примитивный роман легко «перепахал» 17 летнего юношу: потому что и «запахано» было немного, и роман сочувственно откликался на взбудораженные чувства.

Психологическая догадка здесь подтверждается хронологией: казнь брата состоялась 8-го мая 1887 г., а «Что делать?» будущий Ленин перечитывал летом того же года.

«Только тщательно собирая как бы вскользь брошенные замечания» и «вылавливая», по признанию самого Валентинова, из писаний Чернышевского всё, что могло бы подтвердить его предвзятую идею, мог он найти там много такого, что укрылось даже от тюремной администрации, следственной комиссии и царской цензуры, пропустивших «Что делать?» к напечатанию в «Современнике», когда автор романа пребывал под замком в Петропавловской крепости. Ни прокуратура, ни суровые судьи, ни З-ье Отделение, ни бесчисленные врачи — и друзья — Чернышевского не видели в его писаниях того, что 90 лет спустя обнаружил Н. Валентинов. Как могло это случиться?

Это случилось потому, что нынешний критик Чернышевского, производя *историческое* обследование, ни в какой мере не считался с обстановкой, временем, средой, в которых протекала литературная деятельность обвиняемого. Всё это он обходит молчанием. А то, что неожиданно «открылось» в пи-

---

том же 1924 г., что и Ленин, Дмитрий Благоев, македонец по происхождению и будущий основатель и глава коммунистической партии в Болгарии, учился в Петербургском университете и стал марксистом еще в 1883 г.

саниях Чернышевского, открылось Валентинову потому, что существовал Ленин и через Ленина прошел Валентинов. *Только после Ленина можно было понять и истолковать Чернышевского так, как это сделал Валентинов.*

Во второй половине 50-х и первой половине 60-х годов Чернышевский был в центре литературного и общественного внимания. Он был одной из главных мишней нападок и даже возмущения. Но возмущение шло вовсе не по той линии, которую подчеркивает Валентинов. Раздражение вызвали не его политические взгляды, а, главным образом, его признание и за женской правы на свободную любовь. К этому прибавлялось осуждение материализма, атеизма, нигилизма, которые вовсе не были индивидуальным достоянием Чернышевского, а были «идеями века».

Современники ставили «Что делать?» в прямую связь с тургеневскими «Отцами и детьми». В романе Чернышевского критика видела «реплику» на «поклеп», допущенный Тургеневым на радикализм нового поколения и, в частности, на ближайшего друга и ученика Чернышевского — Добролюбова. «Что делать?» Чернышевского преследовал цели литературного памфлета. Ленинское «Что делать?» было наброском партийно-политического плана. Кроме одинакового заглавия между ними мало общего.

По адресу Чернышевского раздавались самые оскорбительные выражения, до прямой брани: «клоповоняющий господин» (и Лев Толстой, увы, не брезговал этим выражением), «кутейник-вандал» (его пустил в обращение Тургенев), «журнальный Чингис-хан» (не то Боборыкин, не то Писемский). Однако даже те, кто негодовали и бралили, часто подчеркивали, что высоко ценят ум и дарование Чернышевского, считаются с его мнением.

Тот же Тургенев «почитал Чернышевского полезным». Достоевский подчеркивал, что «не принадлежит к числу «сейдов» и отъявленных партизанов Чернышевского» и тем не менее считал себя обязанным выступить против тех, кто «из кожи лезут убедить всех и каждого, что он — невежда, даже нахал; что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пусточист... Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном журнале («Отечественные Записки») да еще разом в одной книжке? Достоевский «заступался» за Чернышевского в 1861 и 1863 г. г. и даже в 1873 г. он «отдавал всё должное его уму и таланту».

В конце 60-х и начале 70-х годов Достоевский, как известно, был одержим ненавистью к «иезуитизму и лжи наших передовых деятелей». Под ними он разумел главным образом Белинского и Тургенева, которых он поносил иногда непечатными словами, а не Чернышевского.

Вспоминая прошлое, «ясновидец духа» писал в 1873 г.: «Мне наружность и манера Чернышевского нравились... Я редко встречал более мягкого и радушного человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жестким и необщительном... *Чернышевский никоим образом не обижал меня своими убеждениями.*

Лесков как раз «Что делать?» признавал «явлением очень смелым, очень крупным и в известном отношении очень полезным», хотя «со стороны искусства ниже всякой критики, просто смешным». Вместе с тем уже в 1863 г., точно имея в виду некоторые суждения Валентинова, Лесков писал: «Г-н Чернышевский давно уже многим стал представляться всепоглощающим чудовищем, чем-то вроде Марата или чуть ли не петербургским поджигателем. Эту репутацию г. Чернышевскому устроили людская слепота и трусость».

По мнению Н. Н. Страхова, «именно роман «Что делать?» останется в литературе. Ибо он вовсе не производит смешного впечатления... Роман написан с таким воодушевлением, что к нему невозможно отнестись хладнокровно и объективно, как это требуется для благодушного и искреннего смеха... В чем состоит господствующая идея?... В мысли о счастьи, в представлении благополучной жизни. Роман учит, как быть счастливым».

Наконец, у парадоксального и склонного ко всяческим преувеличениям В. В. Розанова можно прочесть: «Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием. К Чернышевскому я всегда прикидывал не те мерки: *мыслителя, писателя..., даже политика*. Тут везде он ничего *особенного* собою не представляет, а иногда представляет смешное и претенциозное. Не в этом дело: но в том, что с самого Петра (1-го) мы не наблюдаем еще натуры, у которой каждый час бы *дышил*, каждая минута *жила*, и каждый шаг обвеян «заботой об отечестве»... Это — Дизраэли, которого так и не допустили бы пойти дальше «романиста», или Бисмарк, которого за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь «драться на рапирах»... Чорт знает что: рок,

судьба не столько *его*, сколько России... С выходом его в практику — мы не имели бы и теоретического нигилизма» («Уединенное». 2-е издание. 1916. Стр. 26-28).

Мы намеренно привели извлечения из отзывов писателей, причислявшихся к консервативным или охранительным кругам. Радикальный лагерь, естественно, относился к Чернышевскому иначе: ему сочувствовали, на нем учились, ему стремились подражать. Поколения русской интеллигенции воспитывались на Чернышевском, преклонялись перед выпавшими ему на долю страданиями за смелое слово и верность убеждениям. И не только молодежь так относилась к Чернышевскому. Как скинуть со счета такие имена, как Некрасов, Панаев, Щедрин, Елисеев, Пыпин, Писарев, Варфоломей Зайцев, Короленко, Чириков, — лично знавшие Чернышевского, далеко не разделявшие всех его взглядов и всё же не видевшие в нем того «Марата» — или, того хуже, Ленина, — которого обнаружил в нем Валентинов. Ведь это к Чернышевскому обращал Некрасов свое проникновенное стихотворение, кончавшееся словами:

«Его еще покамест не распяли,  
Но час придет — он будет на кресте.  
Его послал Бог гнева и печали  
Рабам земли напомнить о Христе.\*)

Даже при крайне-отрицательном отношении к взгляям Чернышевского, изображать его политическим Мефистофелем равносильно прямому искажению его подлинного лица и образа. Это могло стать возможным только после того, как из Чернышевского-politika, идеолога, позитивиста, материалиста и проч. полностью извлекли и элиминировали Чернышевского-человека, человека любца и гуманиста.

Конечно, и Ленина, как и Маркса, можно назвать в условном смысле гуманистами: в конечном счете они пеклись не о

\* ) Приводя две последние строки, Валентинов умаляет их смысл словами: «Да, было время, когда Чернышевский носил в душе образ Христа», но от этого «он далеко ушел, заменив крест топором». Противоположение добродетельного Чернышевского зловредному и искусственно, и неприменимо к оценке Некрасова, так как тот писал свое стихотворение уже после того, как Чернышевский сменил крест на топор и литературно-общественная его активность, в основном, была уже завершена.

себе и о своем, а о других и об общем благе. Но Чернышевский пекся не только об отдаленном будущем или о «небесном». Он живым чувством был связан с окружавшими его людьми, с близкими и дальными. Сравните личные письма Чернышевского к родным из Сибири с «деловой» перепиской Ленина из эмиграции с единомышленниками. Различные условия написания и различный характер писем не могут всё же скрыть того, что авторы тех и других писем очень мало «конгениальны» друг другу. Чернышевский — задушевный, иногда подетски наивный, склонный к шутке и чаще всего над собой. И Ленин — серьезный как бонза, менее всего способный шутить, особенно над собой, не человек, а скорописный аппарат, беспрерывно извергающий поучение, брань, поощрение, расщепленный волос, выеденное яйцо.

А Валентинов пытается убедить читателей, что Чернышевский того же «духа», что и Ленин — одного поля ягоды. Стилизацию Чернышевского под Ленина Н. Валентинов производит не только в положительной форме — путем извлечения всего, что, в свете последующего ленинизма, может быть воспринято, как «первоучение». Стилизация пользуется и отрицательной формой — умолчания о всем, что характерно для ленинизма, но не имеется у Чернышевского, и, обратно, что есть у Чернышевского, но чего не только нет, но что решительно отвергается ленинизмом.

Чернышевский положительно относился к земельной общине и артели. Его главным героем было существовавшее в реальности крестьянство, а не отсутствовавший промышленный пролетариат и, тем менее, гегемония или диктатура последнего, в частности, и над крестьянством. Будучи материалистом, Чернышевский все же считал, что разумом движется исторический процесс, а не материальными интересами и классовой борьбой. Общество он рассматривал как сумму индивидов и отрицал примат общества над личностью. Классовую борьбу, которой будто бы «веет» от статей Чернышевского, по мнению Валентинова, он на самом деле считал «уроном для общества, растратой сил его». Похоже это на Ленина? Не является ли как раз обратное характерным и обязательным для ленинизма и — марксизма? Мне лично никогда не была близка философия Чернышевского, но я знаю выдающегося деятеля, которого Чернышевский «перепахал» в его юности как раз в обратном Ленину направлении: он стал гуманистом, ан-

тиленинцем, демократом, и на всю жизнь остался таковым, несмотря даже на последующее свое увлечение Марксом и Энгельсом.

Из подцензурных писаний Чернышевского Н. Валентинов извлекает общие суждения, которые мог бы высказать любой историк, и, сопоставляя их со специфическими суждениями Ленина, придает им тождественный с последними смысл. Пример. Чернышевский писал: «вожди революции потому и бывают великими людьми, что спешат ковать железо, пока оно горячо, умеют не терять дней. Только энергия может вести к успеху». Это может показаться тривиальным, общим местом. Оно, однако, никак не похоже на приводимую Валентиновым, якобы, *параллель* из Ленина. «Мы должны взять власть тотчас. История не простит нам, если мы не возьмем власть. Дни решают теперь всё. Промедление смерти подобно. Ждать есть полный идиотизм или полная измена».

У Ленина с Чернышевским общая тема, но говорят они всё-таки разное, во всяком случае не одно и то же. Между тем Валентинов непосредственно за этим сопоставлением заявляет: «Нет ни одной меры, из принятых Лениным, которая не была предусмотрена Чернышевским или не была бы им одобрена. Разгон Учредительного Собрания, лозунг «кто не с нами — того к стенке», — это ведь очень во вкусе Николая Гавриловича. А разве он не подписался бы под знаменитым ленинским приказом: провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов, белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь. Взять заложников из кулаков и богатеев. Заложники отвечают жизнью за точное в кратчайший срок исполнение наложенной контрибуции».

Надо ли говорить, что все эти *предположения* о том, под чем Чернышевский подписался «бы», — совершенно произвольный *домысл*, приближающийся к, так называемому, навету. Они проходят мимо кардинальной разницы, существующей между *словом и делом*, и, главное, между *призывом* к восстанию, к «топору» и террору *унитетенных и бесправных*, этим «страшным ответом праву сильного», как писал Герцен, и *практикой торжествующей силы*, действующей методически, по плану и системе.

Орудием, которым всю жизнь действовал Чернышевский, было перо и только перо. К практической политике он был едва причастен и всё, что ему *post mortem* вменяет его судья

неправедный, — напраслина. Былые симпатии бывшего ленинца\*) к своему первоучителю прорываются наружу, когда он пишет: «объективность требует заявить, что до «всё позволено» Ленин всё-таки не доделал и, судя по некоторым его свойствам, дойти и не мог бы. Тут у него, возможно и у Чернышевского, были пределы...». В Ленине Н. Валентинов совершенно уверен — до «всё позволено» тот, будто бы, не доделал и не мог дойти. Чернышевский же у Валентинова под сомнением: «возможно», что «и» у него оказались бы пределы, — наверняка этого не скажешь.

Начав с того, чтобы найти «кого-то», кто до Маркса оказал на Ленина «глубокое и властное влияние», Н. Валентинов кончил утверждением, что Маркс вообще тут почти не причем: чтобы понять Ленина, «нужно менее всего думать о Марксе». С другой стороны, «вылавливая» из Чернышевского всё, что, в свете последующего ленинизма, Н. Валентинов мог столкнуться в духе Ленина, он в итоге отдал морально-политическое предпочтение перед Чернышевским даже Ленину.

Только что, в издании Оксфорд Юниверсити Пресс, вышла книга английского автора Ричарда Хэра «Зачинатели русской социальной мысли». Рядом со славянофилами, Герценом, Леонтьевым и другими, имеется здесь очерк и о Чернышевском, где, между прочим, говорится: «Некоторые христиане, высоко чтившие Аристотеля (томисты), старались доказать, что он был или был бы христианином, если бы не имел несчастья родиться до Христа. По тем же основаниям некоторые

---

\*) Пользуюсь случаем, чтобы исправить свою ошибку и одновременно, как мёня о том просит Н. В. Валентинов, «доставить (ему) удовольствие». Упоминая в прошлом о взглядах Валентинова, я характеризовал его как «бывшего ленинца и бывшего плехановца». С первой половиной формулы Н. Валентинов соглашается: «ленинцем я действительно был и никогда этого не скрывал». Но вторую половину он решительно опровергает: «а вот плехановцем никогда не был».

Очень сожалею, что незаслуженно «наградил этой кличкой» Н. Валентинова и с полной готовностью «снимаю пришитую этикетку». В объяснение — не оправдание — добавлю: непричастные ни к Ленину, ни к Плеханову только с чужих слов могут различать, в чем в начале века Ленин отличался от Плеханова, а Плеханов от Ленина. К тому же Плеханов никогда не считал себя ленинцем, тогда как Ленин — и ленинцы — всегда видели в Плеханове своего «первого учителя».

патриотические марксисты отталкиваются от мысли, чтобы такой выдающийся социолог, как Чернышевский, не принадлежал к их верованию. Таким образом они постарались канонизировать его, как марксистского Иоанна Крестителя, предтечу, проповедывавшего приближение к подлинному евангелию».

Н. Валентинов не преследовал цели канонизировать Чернышевского, как «марксистского Иоанна Крестителя». Это делали другие, — в частности, Ленин. Н. Валентинов пытается «канонизировать» Чернышевского, как предтечу Ленина. Тем не менее сравнение, которое Ричард Хэр проводит между анти-историческими приверженцами Фомы Аквинского и «патриотическими марксистами», мне представляется не только удачным, но и вполне приложимым к Валентинову.

Его попытка обречена была на неудачу потому, что задуманная, как историческое выяснение идейных корней большевизма, она прошла мимо исторической обстановки, в которой жил и учил Чернышевский, и произвольно перенесла понятия, идеи и действительность 20-го века в условия конца 50-ых и самого начала 60-х годов прошлого столетия. Подкинутый Чернышевскому, по методу томистов, большевизм и осуждение Чернышевского фактически обернулись апологией Маркса и марксизма.

16. X. 51.

**М. Вишняк.**

# КОММЕНТАРИИ

## 1. Споры о народничестве и марксизме

Споры, которым посвящена эта заметка, на первый взгляд могут произвести впечатление некоторого анахронизма. Словно мы перенеслись назад, в 90-е годы прошлого столетия, и над нами витают тени Плеханова и Михайловского! Но отмазываться от них на этом основании было бы неправильно — и с исторической, и с политической точки зрения. Нравится ли это кому или нет — ни народничества, ни марксизма из русской истории не выкинешь. Даже если бы эти явления окончательно ушли в прошлое, и то их надо было бы изучать, как влиятельные течения русской общественной мысли, одно время разделявшие значительные круги русской интеллигенции, как несколько десятилетий до того разделяли их славянофильство и западничество. Но ни народничество, ни марксизм не сданы еще в архив истории. И, конечно, не только потому, что господствующий сейчас в России режим называет себя марксистским, а среди его противников есть и марксисты и народники. По существу, важнее то, что многие из проблем, когда-то служивших предметом спора между марксистами и народниками, до сих пор еще сохранили свое жизненное значение. Спор об этом предмете остается поэтому актуальным, но только для его плодотворности, следовало бы точнее определить его предмет и пределы.

Боюсь, что этому требованию не вполне отвечает полемика М. В. Вишняка против статьи Н. В. Валентинова, напечатанной в этой и предыдущей книгах «Нового Журнала». Статья эта посвящена вопросу о влиянии Чернышевского на Ленина, и лично я воспринял ее, как прежде всего историческое исследование, являющееся частью той большой биографии Ленина, над которой Н. В. Валентинов работает уже в течение нескольких лет. Так как некоторое время тому назад я сам занимался выяснением элементов сходства или преемственности между ленинской концепцией революции и до-марксистской русской революционной традицией, то для меня работа Н. В. Валентинова

была чрезвычайно интересной и поучительной. И опубликованной им записью беседы с Лениным о Чернышевском, и его анализом сходных высказываний Чернышевского и Ленина, он подтвердил многое из того, к чему и я пришел в результате гораздо менее богатого материала и менее тщательного исследования. М. В. Вишняк же, повидимому, воспринял статью Н. В. Валентинова, как своего рода политический памфlet (употребляю это слово не в его обычательском, разговорном смысле), имеющий целью «обелить» марксизм и «очернить» народничество, при чем привлек к делу и других авторов, пишавших, как ему кажется, на ту же тему.

Думаю, что прежде всего следовало бы отделить вопрос о Чернышевском и Ленине от более общего вопроса о марксизме и народничестве. Ни то, ни другое из этих явлений не было монолитным, и Чернышевский так же не совпадает с народничеством, как Ленин не совпадает с марксизмом. Справедливость заставляет меня заметить, что некоторый повод к реакции М. В. Вишняка дал сам Н. В. Валентинов одним своим не совсем осторожным замечанием. Имею в виду его слова о том, что «стремясь понять историческую фигуру Ленина, нужно мене всего думать о Марксе». Это не только противоречит, как уже указал М. В. Вишняк, другому заявлению автора, а именно, что Ленина «нельзя уложить в футляр одного только марксизма», но и неправильно по-существу. По моей формуле, для своей амальгами, которая потом получила название большевизма, Ленин взял то худшее, что было в раннем революционном марксизме, и соединил его с тем худшим, что было в русской революционной до-марксистской традиции. Это очень близко подходит к формуле М. В. Вишняка, говорящего о «народовольчестве времен декаданса, знаменовавшего возвращение к народническому якобинству 70-х и 60-х годов» и о «марксизме эпохи примитивизма», как о двух идеологических истоках, в равной мере питавших большевистскую философию.

Я не знаю только, почему М. В. Вишняк ограничивается одним якобинством — т. е., по тогдашней терминологии, стремлением произвести революцию путем захвата власти группой революционных заговорщиков. Ведь для ленинского замысла было характерно не только это, но еще и непреклонное намерение немедленно приступить к созданию в России социалистического строя. А это же было одной из отличительных черт и раннего русского народничества (я говорю, конечно, только о революционной его разновидности). Бакунисты, лавристы, якобинцы расходились между собой по вопросу о том, каким

путем легче всего произвести революцию — агитацией ли, пропагандой или прямым захватом власти, но для всех них одинаково эта революция должна была быть социальной, почти все они хотели бросить Россию прямо из крепостного рабства в царство социализма, почти все были максималистами (включая Лаврова, который до сих пор по какому-то странному недоразумению иногда изображается «постепеновцем»). Из этого максимализма вытекало презрение к мирным реформам, равнодушие, если не враждебность, к политической демократии и к правовым гарантиям свободы.

Вопроса о «марксизме» Ткачева, которому М. В. Вишняк в своей статье уделил сравнительно много места, я во всем его объеме здесь касаться не буду. Но укажу только одно, на мой взгляд, существенное обстоятельство. Совершенно верно, что Ткачев говорил о развитии капитализма в современной ему России, но из этого факта он делал выводы очень отличные от тех, которые сделал бы из них человек, действительно, усвоивший марксистскую теорию исторического развития. О прогрессивном значении капитализма, о его революционной роли, о пути к социализму через капитализм, обо всем этом у Ткачева нет ни слова. Напротив, для него позволить капитализму и буржуазии укрепиться в России значило бы бесконечно отдалить желанную революцию, а, может быть, и навсегда сделать ее невозможной. Отсюда его почти истерические призывы к русским революционерам начать революцию немедленно, сделать попытку захватить власть, пока еще не поздно, пока капиталистическое развитие не успело создать для русского государственного режима прочную буржуазную базу — и, в частности, пока этот режим не стал конституционным, что в его глазах было бы величайшим несчастием. В этой теории превентивной революции (определение это принадлежит мне, а не Ткачеву) и заключается самая сердцевина ткачевского построения, и в этом же, а не в его сомнительном марксизме, следует, по-моему, видеть наибольшее приближение его к Ленину, замысел которого, по существу, тоже сводился к захвату власти смелым революционным ударом, не считающимся с естественным ходом вещей и создающим насильственный перерыв в нормальном эволюционном процессе. Недаром накануне октябрянского переворота Ленин заклинал своих соратников итти на немедленный захват власти — «теперь или никогда!» — словами, почти буквально повторявшими формулу ткачевского «Набата».

Как якобинец, т. е. тактическими своими приемами, Тка-

чев был неприемлем для большинства современных ему народников, но его враждебность к буржуазной фазе развития и его боязнь утверждения в России конституционного режима были широко распространены в народнической среде. Не был он одинок и в своем признании того, что фактически капитализм в России уже начался. В частности, так же думал и Лавров, для которого это тоже было нежелательное явление. Утешал себя Лавров тем, что в силу исторической своей запоздалости русский капитализм не сможет сыграть той положительной роли, которую он в свое время сыграл на Западе, и лишь ускорит приход революции (конечно, социальной, а не политической) яркостью и обнаженностью отрицательных своих качеств. Нетрудно увидеть и здесь нити, тянувшиеся к Ленину.

Но вернемся к Чернышевскому, вопрос о влиянии которого на Ленина составляет главный предмет спора М. В. Вишняка с Н. В. Валентиновым. М. В. Вишняк, конечно, прав, когда он говорит, что о революционных взглядах Чернышевского мы знаем очень мало. Но в своем скептицизме он идет слишком далеко. Кое-что всё-таки установлено исследователями, в том числе и более осторожными чем Стеклов, и в революционном радикализме Чернышевского сомневаться едва ли приходится. М. В. Вишняк упрекает Н. В. Валентинова за то, что он напел в писаниях Чернышевского веши, которых не нашла в них царская цензура. Но в те идиллические времена цензоры особой проницательностью, как известно, не отличались. Гораздо проницательнее их были читатели, обладавшие искусством читать между строк и понимать писателя с полуслова и по самым отдаленным намекам. О влиянии Чернышевского на русскую молодежь того времени, в духе революционного радикализма и максимализма, имеется достаточно свидетельств. Уже самые попытки организовать освобождение Чернышевского из ссылки говорят о том, что в нем видели своего рода вождя русской революции. Нельзя забыть и позицию Герцена, которого испугала в Чернышевском, конечно, не защита идей женской эманципации, а его революционная «твердокаменность».

Я считаю поэтому вполне законной и вместе с тем убедительной попытку Н. В. Валентинова истолковать «Что делать» и иностранные обзоры Чернышевского (я добавил бы еще его «историческую трилогию» — статьи о французских событиях середины 19 века), как достаточно стройную систему радикально-революционных взглядов. Думаю, что Н. В. Валентинов прав и в подчеркивании основных элементов этой системы: теории революционной элиты и релятивизма в вопросах поли-

тической этики. М. В. Вишняк говорит о гуманизме и демократизме Чернышевского, но я не знаю, на каких высказываниях последнего он при этом основывается. У Чернышевского был пафос социального равенства, но я не чувствую в нем пафоса свободы. Он призывал своих читателей умереть, если нужно, за общинное землевладение, но я не помню у него призыва умереть за дело человеческой свободы. Нет у него и красноречивой защиты прав человеческой личности, зато есть непрестанная и беспощадная атака на всякое проявление либерализма и в России и на Западе.

Я готов согласиться со всем, что М. В. Вишняк говорит о высоких качествах Чернышевского, как человека. Но ведь речь идет о **политическом** облике Чернышевского. И при этом не столько о теоретическом содержании его высказываний, сколько об общем их духе и стиле. «Твердокаменный» революционер есть прежде всего психологический тип, а в политике (в революционной политике, в особенности) психология играет едва ли не большую роль, чем идеология. «Твердокаменность», а не идеология, прежде всего отличала французских якобинцев от их соперников. Такое же различие — в духе и в стиле — я ощущаю между Чернышевским, с одной стороны, и Герценом, или такими народниками, как Кропоткин и Чайковский, с другой. Та же «твердокаменность» была отличительной чертой Ленина — по контрасту со столь им презираваемой «мягкотелостью» меньшевиков и эс-эров.

К тому же духовному типу принадлежал в моих глазах и Маркс. Вот почему я не могу принять утверждения Н. В. Валентинова, что при попытках объяснения «исторической фигуры» Ленина «нужно менее всего думать о Марксе». Н. В. Валентинов проявляет некоторую непоследовательность, анализируя влияние Чернышевского на Ленина в терминах *психологических*, а затем противопоставляя Ленина Марксу в области чистой *идеологии*. Пусть в главных своих теоретических произведениях Маркс высказал идеи, отклонение от которых у Ленина доказать нетрудно. Но ведь был же и другой Маркс — автор «Коммунистического манифеста», проповедник беспощадной классовой борьбы и революционного насилия, ядовитый обличитель буржуазного либерализма и всяких «идеалистических иллюзий». И здесь, как и в случае Чернышевского, я не чувствую пафоса свободы, как не ощущаю и той любви кциальному живому человеку, без которой не может быть подлинного гуманизма. От Маркса-политика веет тем же духом революционной авторитарности, уверенности в своей непогре-

шимости, нетерпимости к инакомыслящим, который характерен для всех революционеров авторитарного типа. Недаром на авторитарность Маркса жаловались не только анархисты, Бакунин и Прудон, но и многие другие. И не на основании ли своих личных впечатлений от Маркса и раннего марксизма сделал Герцен свое предсказание «самодержавного коммунизма»?

В течение второй половины 19 века марксизм, как исторически-сложившаяся сила, постепенно изживал грехи своей революционной молодости, как на Западе, так (медленнее и не в той же мере) и в России. Но эта демократизация и либерализация марксизма неизбежно принимала форму хотя бы частичного ухода от Маркса — если не всегда от его теории, то всегда от его духа и стиля. И когда в своей знаменитой полемике с Каутским, Ленин упрекал западных социал-демократов в измене марксизму, он был не совсем неправ. Для своих обвинений ему не надо было прибегать к передержкам: он мог найти достаточно амуниции в арсенале самого Маркса. Из этого я заключаю, что вопрос об истоках «ленинизма». Ленина нельзя ставить в форме: Чернышевский или Маркс? Нельзя потому, что единственно правильный, с моей точки зрения, ответ гласит *и* Чернышевский *и* Маркс. Если Чернышевский «перепахал» Ленина, то Маркс его «допахал». Свой революционный заряд Ленин получил и от того и от другого.

## 2. Кто виноват в торжестве большевизма?

Та страсть, с которой М. В. Вишняк возражает Н. В. Валентинову, объясняется, конечно, не только пийететом к памяти Чернышевского. Продиктована она, главным образом, тем, что в статье Н. В. Валентинова и в писаниях некоторых других, цитируемых им авторов, он усмотрел попытку переложить ответственность за Ленина, а следовательно и за большевизм, с марксистской головы на народническую. Повторяю, что я в этом смысле статьи Н. В. Валентинова не воспринял. Но не в этом дело. Я думаю, что вопрос о том, кто виноват в большевизме *так* ставить вообще нельзя.

Я не признаю абсолютного детерминизма в истории и потому не разделяю мнения, что при оценке исторических явлений можно говорить только о причинах, но никак не о чьем-либо вине. Всякая историческая оценка неизбежно включает в себя элемент нравственного суждения и историки, провозглашающие свою полную объективность, такое суждение тоже выносят — только делают это они контрабандным путем, часто

сами того не сознавая. Конечно, при обсуждении ленинской победы в 1917 году надо изучать и пресловутые «объективные условия» — как обстоятельства данного момента, так и глубокие исторические корни русской революции. Последние я понимаю не в том смысле, что большевизм есть специфическое и прирожденное русское явление (это толкование я отвергаю столь же решительно, как и М. В. Вишняк), а в том, что были такие элементы в русском историческом наследстве, которые сделали победу большевизма возможной, облегчили Ленину его задачу. Но за пределами сферы относительной необходимости, в истории есть еще и сфера относительной свободы, и поскольку в ней действует человеческий разум и человеческая воля, вопрос о вине или точнее об ошибках отдельных исторических деятелей или политических партий не может быть снят с очереди.

Заниматься им нужно не только в целях правильной исторической перспективы, но еще и для того, чтобы учиться на уроках прошлого и делать из них надлежащие выводы для сегодняшней политической борьбы. В применении к опыту русской революции задача эта нами далеко еще не выполнена, а попытки ее выполнения слишком часто сбиваются на обличения ошибок других политических групп и защиту действий своей собственной группы. На этом пути мы далеко не уйдем. В нашей национальной трагедии «все виноваты»: — и народ, и интеллигенция, и старый режим, и Временное Правительство, и правые, и левые, и социалисты, и либералы (не говоря уже о большевиках, которые, конечно, в первую очередь «виноваты в большевизме!»). На таком общем утверждении остановиться однако нельзя. В каждом отдельном случае ошибки должны быть уточнены, как должна быть с возможной точностью определена и мера индивидуальной или групповой ответственности. На этой огромной, и по объему и по значительности, теме я здесь останавливаюсь, конечно, не могу, но напомнить о ней я считал нужным, чтобы ввести в определенные пределы связанный с нею спор о марксизме и народничестве.

Та постановка вопроса, которая, как мне кажется, вытекает из подхода М. В. Вишняка, представляется мне неправильной и еще в одном отношении. Нисколько не отрицая исторического значения той или иной идеологии, я всё-таки сильно сомневаюсь в том, чтобы любая идеология играла решающую роль в таком, в значительной мере стихийном и иррациональном, процессе, как революция. И особенно сомневаюсь я насчет роли идеологии в русской революции 1917 года. Для са-

мого Ленина и небольшой революционной элиты, собравшейся вокруг него, идеология, может быть, и имела определяющее значение. Но разве можно утверждать, что они пришли к власти благодаря своей идеологии? Разве не поразителен тот факт, что во всей большевистской пропаганде от февраля до октября 1917 года марксизм, социализм, коммунизм, в сущности, отсутствовали? Что было специфически марксистского или коммунистического в ее главных лозунгах — «земля и мир»? Я знаю, конечно, что при этом большевики разжигали чувство классовой вражды, но социальные антагонизмы существовали во все времена и во всех человеческих обществах, и задолго до Ленина, начиная с классической древности, революционные демагоги знали, как использовать их в своих целях. Нельзя отрицать того, что Маркс впервые в истории возвел классовую борьбу на степень историко-философской догмы и дал ей при этом этическое оправдание. Но можно ли утверждать, что эта марксистская философия была усвоена в 1917 году теми русскими народными массами, которые соблазнились большевистскими посулами — солдатами, которые дезертировали с фронта, или крестьянами, которые принялись делить землю помещиков?

По замечательному предвидению Жозефа де Мэстра, в России появился в 1917 году «Пугачев из университета». Свою университетскую премудрость он до поры до времени оставил при себе, а народу предложил более ему понятную «пугачевщину». И весьма вероятно, что для этого народа новый термин марксистского происхождения «буржуй» звучал просто, как синоним давно ему знакомого «барина». Вот почему я нахожу невозможным говорить о том, что в октябрьском перевороте марксизм победил народничество или что социализм победил либерализм. Победила беззастенчивая демагогия над демократической коалицией, в которой были и марксисты, и народники, и либералы, и беспартийные демократы. И победили «твердо-каменные» революционеры авторитарного типа над людьми иного душевного склада и иного духа, духа свободы и терпимости, без которых нет демократии и которые демократия должна научиться защищать.

**М. Карпович**

# БИБЛИОГРАФИЯ

## ЕВРЕИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Литература на английском языке об еврейском вопросе в Советском Союзе крайне скучна. Обширный труд С. М. Дубнова<sup>1</sup> доведен приблизительно до конца первой мировой войны, а книга Луи Гринберга<sup>2</sup> заканчивается большевистским переворотом. Из последней мы знаем об акте Временного Правительства от 20 апреля 1917 г., уравнивающем евреев в правах. Совет Народных Комиссаров в свою очередь выпустил 15 ноября 1917 г. декларацию прав народов России, предусматривающую свободное развитие народных меньшинств. Еврейский вопрос, надо было думать, потеряет свою злободневность и будет постепенно изжит и ликвидирован.

Однако, в последние годы из России стали проникать тревожные слухи не то о росте народного антисемитизма, не то даже об организованном государственном антисемитизме. Возникал вопрос, чем вызвали евреи враждебное к себе отношение, и, если теперешний антисемитизм и в самом деле государственный, то какая за ним кроется политика, и какие он отражает течения в советской мысли. Обсуждению этого вопроса посвящена только что вышедшая книга С. М. Шварца<sup>3</sup>. Ясно распланированная, она распадается на две части. Первая, большая по объему, освещает положение евреев под углом советской политики меньшинств (240 страниц), вторая рассматривает советский антисемитизм в его различных проявлениях и мотивациях (127 стр.). Даю перечень заголовков четырнадцати глав первой части, точно передающих ее содержание. Историческое наследие. Коммунистическая теория о национальном вопросе. Еврейский народ в Ленинской перспективе. Самоопределение и самоуправление

---

<sup>1</sup> *History of the Jews in Russia and Poland*, I — III, Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1916 — 1920. Перевод с русского оригинала И. Фридлендера.

<sup>2</sup> *The Jews in Russia*. I — II. Yale University Press, 1944 and 1951. Первый том охватывает период от первого века после Р. Х. до убийства Александра II. Второй, посмертный, том, доведенный до октябряского переворота, только что вышел под моей редакцией.

<sup>3</sup> "The Jews in the Soviet Union". Syracuse University Press, 1951.

в советской практике. Пробуждение не-русских национальностей. Защита прав меньшинств. Коммунистическая партия и еврейские массы в период революции. Разрушение еврейской общины. «Национальная» (советская) политика для евреев? Культурная деятельность и учреждения. Еврейская административная автономия. Аграризация и индустриализация. Биробиджан. Война и послевоенный период. Заканчивается первая часть описанием мер в связи с военной эвакуацией и ре-эвакуацией.

Во второй части, посвященной антисемитизму в Советском Союзе, автор указывает на антиеврейские настроения в Советском Союзе, наблюдавшиеся в 1920-ых годах в разных слоях населения. Движение это, встретив отпор в правительстве, временно затихло. Однако, в 30-ые годы замечается новая вспышка антисемитизма. На этот раз власть явно поддерживала и поощряла антисемитские настроения. Поворотным пунктом была чистка 1937/38 гг., сопровождавшаяся удалением евреев с государственной службы. В главе «Под оккупацией наци» автор останавливается на еврейской партизанщине и отношениях к ней не-еврейских партизанских отрядов, крестьянства и других слоев населения. Советская власть, автор констатирует, обнаружила полное безразличие к судьбе евреев, когда немцы в 1941 г. вторглись на советскую территорию. Зверства наци в самой Германии, за период дружбы с ними (1939-1941), замалчивались в советской прессе. Широкие круги населения в Советском Союзе фактически ничего не знали о гитлеровских эксцессах. За время войны антисемитизм в СССР усилился, а после войны пошла кампания против «космополитизма», метившая в евреев. Были ликвидированы еврейские школы, литература и периодическая печать.

Надо отметить, — и автор уделил этому вопросу должное внимание — что еврейская демократическая община, расширившая свою деятельность в благоприятных условиях, создавшихся при Временном Правительстве, в момент перехода власти к большевикам обладала рядом образцово поставленных учреждений, ведавших здравоохранением, воспитанием и социальным попечением еврейского населения. Эти учреждения были переняты установленными в 1918 г. местными Еврейскими Комиссариатами, которые подчинены были Главному Еврейскому Комиссариату. Однако, с течением времени управление всеми этими учреждениями перешло в руки местных советских административных органов.

Один фактор, нам кажется, недостаточно учтен автором, а именно роль Евсекции (Еврейской Секции Коммунистической Партии) в деле разгрома еврейской общественности. Во время съезда ОЗЕТ'а (Общество земельного труда среди евреев Союза), в ноябре 1926 г., на который были приглашены представители еврейских обществен-

ных организаций из Берлина, Лондона и Нью Йорка, — в их числе участвовал в съезде и пишущий эти строки, — П. Г. Смидович, председатель Комзета (Комитета по устройству евреев на земле), назначенный Советским правительством в 1924 г., заявил иностранным представителям, что антирелигиозные экспессы были делом рук Евсекции. М. Калинин, президент СССР, призывал на съезде к землеустройству в широком масштабе (тогда в центре внимания стоял Крым) и к культивированию собственных культурных ценностей на отведенной евреям территории. Еврейско-национальные лозунги, подчеркнутые Калининым, не были по вкусу еврейским коммунистам, лидеры которых, главным образом, генеральный секретарь Евсекции, Чемериский, критиковали его речь. Надо, однако, иметь в виду, что ОЗЕТ не состоял исключительно из коммунистов. В состав общества входили многие беспартийные, бывшие общинные деятели, интеллигенты, поселенцы из новых колоний в Крыму и на Украине и другие. Речь Калинина нашла совершенно иной отклик среди этого сектора съезда ОЗЕТ'а. Беспартийный А. Брагин, обращаясь к коммунистам-делегатам, сказал (цитирую по моим записям): «Когда вам заявляли несколько лет тому назад, что необходимо и возможно поселить 100.000 еврейских семей на земле, вы утверждали, что это мечты, опасные, мелко-буржуазные, националистически-территориалистские утопии. Сейчас, когда движение разрослось, вы начинаете поговаривать о 100.000 поселенческих семей. Наш лозунг: еврейская территория, еврейская республика, еврейская национальная база».

Ю. Ларин, председатель ОЗЕТ'а, руководивший прениями на этом заседании, подчеркнул желательность сотрудничества широких кругов беспартийной еврейской интеллигенции<sup>4</sup>. Не в пример другим коммунистам-евреям, Ларин серьезно поддерживал проект еврейской крымской земельной колонизации. Важно указать на то, что местная крымская власть всячески саботировала проект поселения евреев в Крыму и предоставляла колонистам участки худшего качества. Автор извлек эту деталь из архива покойного И. Б. Розена. Когда в конце 1926 года стало ясно, что нельзя расчитывать на значительное расширение поселенческой площади в Крыму, Ларин с другими руководителями Озета и Комзета стал изучать колонизационные возможности на Кавказе, в Донской Области и в Биробиджане. Шварц, мне кажется, несколько скомкал эту фазу советского экспериментирования, упустив из виду отчеты присутствовавших в Москве иностранных корреспондентов. В двух обстоятельных статьях «Берлинер Тагеблатт'а» можно было найти непосредственные впечатления

---

<sup>4</sup> См. мою статью “Die Judenfrage in der Sowjetunion” в журнале *Osteuropa*, II (1926/27). Seite 199.

о тех памятных днях. Немецкие журналы посвятили в 1927 г. ряд статей еврейской советской колонизации<sup>5</sup>.

Более широко использован автором материал о Биробиджане. В Соединенных Штатах создалось крайне преувеличеннное представление о значении Биробиджанской Автономной Еврейской Области. В 1927 г., когда заговорили о Биробиджане в связи с планом землеустройства евреев, область обнимала около 15 тысяч квадратных миль (территория размером больше Бельгии), при населении в 32 тысячи душ. Страна была первобытная, покрытая девственным лесом и болотами. Дорог не было. Длительные периоды дождей и многое другое создали крайне тяжелые условия существования. Таковы были впечатления комиссии Комзета, посетившей край летом 1927 года, и пробывшей там, кстати сказать, шесть недель, срок необычайно короткий для такого рода исследования. Спешка, как подчеркивает автор, вызвана была политико-стратегическими соображениями. Советское правительство при выборе Биробиджана для еврейской колонизации руководилось желанием противопоставить растущей инфильтрации китайских земледельцев — своих, советских поселенцев.

А. Н. Мережин, вице-председатель Комзета, в своем отчете Комзету от 12-го июля 1928 г., подчеркнул, что «вопрос сводится к тому, удастся ли заселить в ближайшие 10-15 лет Биробиджанскую Приамурскую полосу, и как плотно. Если она будет заселена своевременно, то тогда китайская сельско-хозяйственная иммиграция станет невозможной». Советское правительство, кроме того, намеревалось создать из Биробиджана прифронтовый оплот, имея в виду будущие политические осложнения на Дальнем Востоке.

В программе колонизации, данной Комзету 28-го марта 1928, земледелие было поставлено на первую очередь несмотря на то, что эксперты, даже советские, считали условия края более благоприятными для индустрии. Таков был не очень многообещающий прогноз. В 1928 году в Биробиджане было устроено на земле 950 еврейских поселенцев. Шестьсот выбыло в том же году. Это явление стало типичным и из 19.635 евреев, прибывших в период 1928-1933 гг., 11.450 покинули край. В 1934 году, вслед за провозглашением Биробиджана Еврейской Автономной Областью, официально было заявлено, что для разработки естественных богатств край нуждается в не-еврейском переселенческом элементе. Вместе с тем, советская власть про-

---

<sup>5</sup> См. также мои статьи: “Die jüdische Agrarkolonisation in Sowjetrussland”, *Osteuropa*, I (1925/26), “Zur Geschichte der jüdischen Kolonisation in Russland”, *Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden*, Berlin (1927) и “Di Geserd Konferenz in Moskve. Tog-buch Eindruken fun zuslendishen Delegat”, *Zukunft*, New York, February 1927.

должала, однако, подчеркивать еврейско-национальный характер новой области. Так, в постановлениях Президиума Центрального Исполкома СССР от 17 августа 1936 г. мы читаем: «*Впервые в истории еврейского народа* (курсив мой) осуществилось горячее его желание о создании своей родины, о создании национальной государственности».

Об «искренности» советского правительства свидетельствует следующий факт. Когда в 1934 г. группа евреев из Польши и Литвы выразила желание поселиться в Биробиджане, ей было отказано, причем военное советское ведомство категорически высказалось против допущения иностранных евреев.

После 1934 года приток еврейских поселенцев из разных частей СССР несколько усилился, а в 1937 г. Биробиджан насчитывал 20.000 евреев. Положение, однако, мало изменилось в последующие годы. После войны, в 1946 и 1947 годах, прибыло несколько тысяч беженцев из Украины, где свирепствовал антисемитизм. В 1948 году еврейский элемент (35.000 человек) составлял всего треть всего населения.

С. М. Шварц заканчивает главу о Биробиджане несколько оптимистически, признавая, конечно, факт полного развала еврейской культурной жизни. «Может быть», пишет он, «еврейская эмиграция в Биробиджан будет возобновлена, хотя трудно себе представить, чтобы Еврейская Автономная Область стала когда-либо центром еврейской культурной жизни». Газетные сведения, появившиеся после выхода книги С. М. Шварца, не оправдывают надежд на осуществление Еврейской Автономной Области. Еврейские административные и партийные деятели Биробиджана исчезли после чистки 1950 года. Все руководящие позиции сейчас заняты русскими. Еврейский орган «*Shtern*» закрыт. Биробиджанский проект рухнул так же, как и проект «Крымской Республики» 20-х годов.

Хотелось бы указать на некоторые неточности в книге, которые, впрочем, нисколько не умаляют ее значения. Так, по словам автора, евреи появились на Северном побережье Черного Моря в 7-ом или 8-ом веке. Это не так. В Керчи евреи имели свою синагогу уже в 80-м году по Р. Х. Кроме того, имеется немало данных об евреях на юге России между 2-м и 7-м веком. Не совсем ясно, что автор имеет в виду, говоря об освобождении крестьян (повидимому, польских) в 1807 г. и об экономических последствиях этого акта. Основанное Наполеоном в 1807 г. Великое Герцогство Варшавское просуществовало только до 1812 года, а конституция, провозглашавшая равенство всех жителей, включая крестьян, не была приведена в исполнение. Крестьяне в Царстве Польском были освобождены в начале 1860-х годов.

Книга С. М. Шварца, как и другие книги о Советской России, страдает от недостатка непосредственных личных впечатлений. Пожалуй, правильнее было бы озаглавить ее «Советская власть и евреи», а не «Евреи в Советском Союзе». Евреи трактуются в ней, как объект советского законодательства. Они играют в ней, сравнительно, незначительную роль, как живая национальная группа, как носительница определенной культуры, в интересах которой книга написана. Чтобы понять всю трагедию культурной ликвидации определенной группы читатель должен проникнуться сознанием ее ценности. Однако, изолированные железным занавесом, евреи Советского Союза говорить за себя не могут.

Автор сумел найти, в пределах доступных ему источников, обильный материал. В основание книги положены извлечения из правительственные распоряжений, партийных резолюций, из переписей, газет и журналов на русском языке и иддиш, из отчетов общественных организаций, частью неопубликованных. Само собою разумеется, что работы о советском еврействе Ю. Гергеля (1926 г.), Я. Лещинского (1941 г.) и Г. Я. Аронсона (1944 г.) были использованы.

Книга безусловно полезная, хорошо документированная. Предисловие написано видным американским общественным деятелем, Алвином Джонсоном, основателем New School for Social Research. Книга издана при содействии American Jewish Committee в Нью Иорке.

М. Вишницер.

RUSSIAN EPIC STUDIES, Edited by *Roman Jakobson and Ernest J. Simmons*. American Folklore Society, Philadelphia, 1949. Printed by Rausen Bros. New York.

В 1948-м году появился в Нью Иорке коллективный труд, посвященный «Слову о полку Игореве» (*La Geste du Prince Igor, Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales et slaves, tome VIII*. Printed by Rausen Bros., New York).

В нем приняли участие несколько видных американских и европейских славистов, и он по справедливости был признан одним из самых выдающихся трудов, опубликованных на эту тему в нашем веке. В целом ряде проблем текстуальной критики и выяснения смысла некоторых «темных мест» труд этот предлагает решения, которые можно назвать окончательными. К тому же, вряд ли найдется много компетентных филологов и историков, которые станут оспаривать, что Роман Осипович Якобсон, главный вдохновитель этого сборника, в своей весьма решительной полемике против современных «скептиков» доказал подлинность «Слова», как произведения второй половины 12-го века.

Сборник, озаглавленный “*Russian Epic Studies*” и основанный на исследованиях и заключениях авторов предыдущего тома, может рассматриваться, как его продолжение или как дополнение к нему. Он содержит восемь статей разных авторов, с кратким вступлением Эрнеста Симмонса. Три из этих статей посвящены тому эху, которое «Слово» вызвало за пределами России: М. Кридль дает краткий отчет о довольно свободном и сокращенном польском переводе «Слова» Киприана Годебского, опубликованном в 1806-м г.; А. фон Гроника впервые публикует полностью перевод, сделанный Райннером; наконец, А. Ярмолинский дает весьма полезную критическую сводку тех работ, которые были посвящены «Слову» в англо-саксонском мире. В ней большая часть англо-американских переводов и критических работ, появившихся до сих пор, подвергается справедливо-суворой оценке.

Две другие статьи пытаются заново пересмотреть спорный вопрос об иностранных влияниях на «Слово». Кларенс А. Маннинг рассматривает некоторые, на первый взгляд соблазнительные, параллели между «Словом» и древне-греческой поэзией (в частности, Гомером) и приходит к почти неизбежному заключению, что сходства эти слишком неопределены и общи, чтобы служить доказательством прямого заимствования. Главная заслуга этой, не особенно богатой результатами, статьи заключается в том, что она лишний раз подчеркивает тот уже довольно хорошо установленный недавними работами по древне-русской литературе факт, что культурная «элита» киевского общества была лучше знакома с классической греческой традицией, чем историки склонны были предполагать. Г-жа М. Шлаух рассматривает вопрос о скандинавских влияниях на «Слово» и при помощи доводов, свидетельствующих о большой начитанности и находчивости, но достойных, пожалуй, более благодарной темы, приходит к отрицательному решению вопроса.

Самые существенные работы сборника, это несомненно — мастерские исследования об «Эпосе Всеслава» Романа Якобсона и Марка Шефтеля и о русском «Девгениевом Деянии» Анри Грэгуара. Первые два автора приводят новые аргументы в пользу органической связи между образом Волха Всеславича, князя-оборотня былины, исторической личностью князя Всеслава Полоцкого, портрет которого дан в *Повести Временных Лет*, и полу-эпической, полу-исторической фигурой того-же князя, как ее отражает «Слово». Об этой связи, как они указывают, уже догадывались русские ученые начиная с 1846-го г., но догадки эти были преданы забвению в результате скептических суждений на этот счет, высказанных столь авторитетным ученым, как Всеволод Миллер. Авторы приводят веские и убедительные доводы в пользу этой связи и показывают, как близка

характеристика и как сходна фабула, которые мы встречаем в былине, с тем, что говорится в Повести Временных Лет и в «Слове» о незаурядной судьбе князя Всеслава Полоцкого. Каждый из этих трех источников, по их мнению, сохранил особый подбор отрывков, восходящих к первоначальному «эпосу Всеслава», который они пытаются восстановить. Анализ этого реконструированного сказания показывает присутствие в нем трех раздельных, но нелишенных взаимной связи, элементов: древнего славянского мифа об оборотне; международного литературного образа, в котором черты оборотня сочетаются с мудростью и стремительностью некоего славного завоевателя, которого авторы склонны отождествлять с Александром Македонским; и наконец исторической фигуры князя Всеслава Полоцкого, чья переменчивая судьба и быстрые передвижения с места на место могли внушать представления о магических средствах и сверхъестественных силах. Эпос Всеслава, думают они, возник еще до смерти его героя (в 1101-м г.), иначе говоря в конце 11-го века.

Работа Анри Грэгуара о «русском Дигенисе» не имеет прямого отношения к «Слову». Она связана с другими статьями сборника только тем, что первая по времени открытия рукопись русской версии Дигениса Акрита составляла часть того-же самого Мусин-Пушкинского кодекса, в котором находилась и рукопись «Слова» и который погиб в пожаре Москвы в 1812-м г. Но тогда как другой рукописи «Слова» с тех пор не обнаружили, две других рукописи русского «Дигениса» впоследствии были найдены — одна Пыпаниным в 1858-м г., а другая Тихонравовым в 1890-м г. Грэгуар, в свете своего несравненного знания греческих версий «Дигениса», а также заключений Веселовского и Тихонравова, трудам которых он платит заслуженную дань восхищения, приходит к выводу, что две существующие русские версии этого произведения были обе переведены с византийского оригинала, ныне потерянного, который был архаичнее и ближе к первоначальному греческому эпосу, чем все другие имеющиеся на лицо греческие его рукописи. Этот вывод, подкрепленный весьма убедительными доводами, присваивает русскому «Дигенису» достоинство первоначального источника и придает ему тем самым повышенное значение в глазах, как византиноведов, так и славистов.

“Russian Epic Studies” составляет полезное приложение к “*La Geste du Prince Igor*”, и статьи Романа Якобсона, Марка Шефтеля и Анри Грэгуара всецело находятся на том же высоком научном уровне, как и статьи предыдущего сборника. Можно, тем не менее, пожалеть, что ни в том, ни в другом труде не содержится никакого литературного истолкования и литературной оценки произведения, которое занимает такое высокое место в художественном наследии русского народа. Небольшая статья Д. Чижевского, в рецензируемом

сборнике, об аллитерации в древне-русской эпической литературе, пробела этого не заполняет, и мы хотим надеяться, что этот авторитетный знаток древне-русской литературы даст нам подробный литературный анализ «Слова», быть может, в одной из дальнейших посвященных «Слову» публикаций, обещанных одним из редакторов сборника.

**Д. Оболенский.**

A. T. ГРЕЧАНИНОВ. Моя жизнь. Изд-во «Новый Журнал». Нью-Йорк, 1951. Printed by Rausen Bros.

Литература о русской музыке чрезвычайно бедна автобиографиями больших композиторов. «Записки» Глинки, «Летопись моей музыкальной жизни» Римского-Корсакова и вышедшие на французском языке воспоминания Стравинского — вот, кажется, всё, что создано в этой области. Между тем такие автобиографии необычайно ценные и как материал для истории русской музыки, и тем, что они вводят нас в психологию творчества композитора. В обоих этих смыслах книга А. Т. Гречанинова — радостное и большое событие для всех поклонников его многообразного и сильного творчества, для всех, кому дороги судьбы русской музыки.

Как композитор, Гречанинов прежде всего романтик и лирик. Свой музыкальный романтизм он донес в неприкованности и до нашей эпохи разочарованности, усталости, всевозможных умствований, исканий новизны ради новизны... Он остался энтузиастом, полным подлинного горения и верным служителем музыки, как одной из высших духовных ценностей. Лирик в музыке, Гречанинов лиричен и в жизни. Весь тон его книги лиричен. Описание его детства, юности, его первых музыкальных шагов очаровательно в своей простоте и искренности. В этих же главах автор воскрешает перед читателем целую эпоху русской музыки. Тогда еще был жив Чайковский, музыкой которого Гречанинов пленился с юных лет. Мастер русского эпоса, Римский-Корсаков создавал свои самые лучшие произведения. Начинали творить Рахманинов и Скрябин. В этом блестящем окружении развивалось и музыкальное творчество самого Гречанинова.

Перед нами ярко предстает образ этого большого композитора и человека с редкой чистотой души. Его книга говорит нам о его трудном пути композитора, далеко не всегда получавшего должную оценку. Непонимание критиков и музыкантов (кто из больших композиторов от этого не страдал?), тяжелые годы революции, потом эмиграция и жизнь на чужбине — на всех этапах этого трудного пути Гречанинов никогда не терял бодрости, увлечения творчеством, ве-

рил в свое призвание. Его идеализм и преданность искусству часто страдали от соприкосновения с действительностью. Но Гречанинов, и как композитор, и как человек, никогда не шел на компромиссы. Никогда не гнался за «новыми течениями» и внешним успехом. Он писал и жил всегда в соответствии со своим идеалистическим мировоззрением. И в этом тайна вечной юности его искусства.

Музыка Гречанинова это мир, замкнутый в себе. Уже с первых романсов его индивидуальность выявила определенно и ярко. В его позднейших произведениях обогатилась гармония, структура стала тоныше и изысканнее. Но общий основной тон творчества остался тем же. И теперь, когда многое из произведений других композиторов, во времена молодости Гречанинова казавшееся «дерзким» и «передовым», кажется нам уже устаревшим, творения Гречанинова, как ранние, так и позднейшие, попрежнему полны неувядаемой свежести.

Не изменяя основному духу своего творчества, Гречанинов не престанно работал над усовершенствованием своего мастерства и пробовал свои силы в разных областях музыкального искусства. Две области, однако, остались особенно близки Гречанинову — вокальная камерная музыка и музыка церковная. Его романсы и песни уже давно приобрели широкую популярность в России и во всем мире. В области церковной музыки Гречанинов — смелый новатор, открывающий в ней новые возможности. Он вводит в православную церковную музыку инструментальное сопровождение. В своей мессе «Оесипеника» (т. е. «Вселенская») он соединяет напевы православной церкви с греко-иранскими (католическими) мотивами. В своей книге Гречанинов пишет о своей борьбе с консерваторами церковной музыки, о своих взглядах на богослужебную музыку. Человек глубокой религиозности, Гречанинов расширил рамки православной церковной музыки. Можно даже сказать, что в своей духовной музыке Гречанинов предвосхитил современные религиозные тенденции к единению церквей. Последние главы книги посвящены жизни Гречанинова в Западной Европе и Америке. В этот период им был создан ряд замечательных произведений; а многие выдающиеся певцы и певицы (в том числе Шаляпин, Нина Кошиц, Мария Куренко, Ф. Гонцов) содействовали росту его популярности в западном мире.

Книга А. Т. Гречанинова говорит о радостях и горестях творческого пути, о жизни, полной созидательной работы и неостанавливающегося стремления к высшим духовным ценностям. Это — книга о вечной юности в непреходящем мире искусства.

В. Пастухов.

А. М. РЕМИЗОВ. ПОДСТРИЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ. ИМКА-ПРЕСС.  
ПАРИЖ. 1951.

До начала 1930-ых годов имя Ремизова в России было одним из самых живых имен: более десяти лет молодые советские прозаики выростали и зрели на его книгах: во имя его создалось в 1921 г. содружество «Серапионовых Братьев», молодой Бабель, молодой Леонов в самом начале своей деятельности питались его книгами, не говоря уже о старших двух его друзьях, близких по слову и духу — Замятине и Пришвине. В то десятилетие, которое сейчас хочется назвать «началом, которое оказалось концом», Ремизов был — как это сейчас ни кажется невероятным — ближе советским писателям, чем Горький, и литература словесного узора нужнее и питательнее, чем литература факта. «Серапионовы Братья», как и не принадлежавшая к ним группа московских молодых прозаиков, почти без остатка делились в то время на две части: одни искали сюжета, другие — слова, обе отталкиваясь от бессюжетных и формально примитивных «бытовиков», и эта вторая часть ставила Ремизова на очень большую высоту.

«Пруд», «Пятая язва», «Крестовые сестры» и другие его произведения принадлежат к тому лучшему, что принес нам XX век, предреволюционная эпоха нашей словесности. Но «начало, которое оказалось концом», отодвинуло всё это так далеко, что когда здесь, в свободном мире, появились первые литераторы — новые эмигранты, мы почти не удивились, услышав, что Ремизова они не знают. Узнав его, они не полюбили его.

Вся та область, которой Ремизов отдал свою душу и свое перо, ныне в Советском Союзе запрещена. Скажут: запретный плод сладок. Но сладок он был во времена Новикова и Герцена, а не теперь. В тоталитарном раю, конечно, Адам не вкусила бы от древа познания добра и зла! Мы стоим перед фактом: Ремизов жив, но как бы уничтожен, и современная русская литература, проделавшая по крови свой путь от «Цемента» Гладкова до нынешних псалмов Сталину (из совершенно нового источника *de profundis*), ушла от него столь же далеко, сколь далеко она ушла от всего, что дышало свободой и новизной последнего предреволюционного десятилетия.

30 лет человек — французский, китайский, американский — жил, т. е. шел от конфликта к конфликту, то разрешая, то не разрешая ничего, но в Советском Союзе не было того, что мы называем движением, а были только ждановские или иные окрики. Конфликты были свыше приостановлены, а некоторые — элементарные — государством насильственно разрешены. Ремизову в этих условиях, как и вообще писателю, художнику, творцу, делать сейчас у себя на родине нечего. Свою сущность он и унес с собой, в изгнание, помня

о том, что потерял целое поколение, шедшее за ним, и в изгнании, из **мұки и слова**, делал свои книги.

Передо мною его автобиография, вернее, история его детства. Конечно, основа этой книги — ее метод, и о нем говорить я не хочу, т. к. об основном каждый будет судить при чтении в меру своего понимания. Автобиографии нашей эпохи прежде всего строятся на методе, и без метода вообще нет ни истории, ни личной истории каждого человека. Автобиография Бердяева была, главным образом, любопытна и цена методом, с которым он подошел к самому себе. Вряд ли кто-нибудь сейчас мог бы дочитать до конца книгу, которая начиналась бы так: «Я родился тогда-то и там-то. Мои родители занимались тем-то». Через метод, с которым автор подходит к своей жизни, к судьбе, к личности, мы постигаем эту жизнь, эту судьбу и личность. Так случилось и с Ремизовым: «Подстриженными глазами» оказалась той книгой, которая дала объяснение всему творчеству писателя, вручила нам некий ключ к тому, что вышло и что выйдет еще из-под его пера.

Певучий голос, ведущий никогда до сих пор не существовавшую мелодию, звучит в наших ушах, хотя читаем мы глазами печатные страницы. Певучий голос надтреснут какою-то болью. Рассказывается начало человеческой жизни: как мальчик из богатой семьи, купеческой московской «знати», выростал диким побегом куда-то в бок, в сторону, в среду обездоленных, юродивых, молчальников, безымянных, нищих и блаженных, словно со дня своего рождения предназначенный стать загадкой или «уродом», как в смысле индивидуальном (на фоне англоманов, музыкантов, докторов и биржевиков), так и в смысле социальном. Всё таинственное и страдающее, вся мучительная тайна человечества, липла к нему, не проходила мимо, но шла сквозь него, и наделенный чудным даром нашего незавершенного, но уже уходящего языка, он представляет собой, как автор, явление единственное, неповторимое и несравненное. «Мой голос прозвучит через колокольную черноту, за всех, помохи требующих, послушайте, вот откуда, за что меня будут гнать по тюрьмам и неприкаянным проживу я жизнь среди людей», — так кончает Ремизов рассказ о своем детстве, рассказ о себе самом.

В этом рассказе рассеяны не только образы людей, встреченных когда-то, не только среда, не только Россия, но и между строками, где-то в глубине атонального текста, заостренные стрелы полемики с пошлостью, с реальностью, с трезвым миром. «Тупая норма», «натуря», — ненавистью к этому Ремизов заражает и нас, мы проникаем куда-то между строк, в его чудесный мир, следуем за ним в его страдания, и оттуда, как он, ненавидим всё то, что ненавидит он, любя с ним вместе «волшебное сияние».

Какое оружие эта книга для тех, кто восстает и будет в будущем восставать каждым своим словом, каждой мыслью против всяческих реализмов — социалистических, капиталистических и иных!

Н. Берберова

### НОВЫЕ СБОРНИКИ СТИХОВ

**НИКОЛАЙ ОЦУП.** Дневник в стихах. Париж. 1935-1950.

Монументальность этого дневника в стихах (366 стр.!) скорее вызывает страх... Мы отвыкли от такого количества стихов. Но этот страх следует преодолеть и книгу прочесть. Материал книги обилен: раскрывая наудачу страницы, находим Псаметиха, Виргилия, гвельфов и гибелинов, Гитлера, Пруста и всю русскую номенклатуру вплоть до парижан — Бердяева, Шестова, Адамовича, Иванова, Ходасевича, Поплавского. Но эта книга прежде всего — памятник последнего полувека, и ее энциклопедичность оправдывается историзмом и эклектизмом эпохи.

Существенно в этом дневнике — противоположение лирического героя дневника — поэта и его подруги. Последняя — не Беатриче, не Прекрасная Дама, а земная женщина. Ее образ воспринимается через русский роман XIX в. и через некрасовскую легенду о «русской женщине». В ее сердце «и любовь и жалость», без которых «мало, что не стоило бы жить, всей земли могло бы и не быть». Ее красота — «как совесть судит». Она поддерживает героя в итальянском концлагере (в последнюю войну). Она его моральная точка опоры и часто — его точка зрения. Это в традиции русского романа. К своему герою — эстету, нигилисту и к его тонкой (утонченной!), но морально слабой культуре, Оцуп беспощаден. Стихи об этом — сильны, выразительны. Ему иногда удается возвыситься до настоящего суда над своей эпохой. Но поверхностно примиренчество героя. Он хочет примирить непримиримое: готов простить большевизму за русские победы над нацизмом, и при этом высказывает также сочувствие «человеку особенному» — Д. П. (стр. 256). Но в области нравственного, — куда порывается Оцуп, — нельзя быть беспартийным. Данте и Блок — пусть пристрастно, несправедливо, — были «партийными». Источник нравственности — человеческое сердце — всегда что-то одно выбирает. Прекраснодущие ему чуждо. Сентиментализм «умудренного» героя дневника — бессердечен.

Поэтические срывы в такой большой книге стихов неизбежны. Но есть мастерство во многих его десятистишиях — лэ (в русской поэзии строфа этого типа встречается очень редко). Несравненно больше удач у Оцупа в его прежних небольших лирических вещах. Однако, этот его том стихов останется памятником своего времени.

**ЮРИЙ ТЕРАПИАНО.** Странствие земное. Изд-во Рифма. Париж. 1951.

К последней книге стихов Терапиано следует отнести с вниманием. В ней собраны и переработаны многие лучшие его стихотворения. Своих философско-исторических вещей он в ней не перепечатал, но зато поместил удивительные белые стихи. «По утрам читаю Гомера»... и др. Они воспринимаются на фоне блоковских «Вольных мыслей», но остаются своеобразными. Может быть, в этой свободной и такой трудной форме еще откроются какие-то новые пути для русской поэзии. Немцы (поздний Рильке), многие французы, англичане уже сравнительно давно отдали предпочтение белому стилю. Но мы все еще на поводу у рифмы.

Прелесть стихов Терапиано незаметна и иногда несколько монотонна. Он отлично умеет передавать земные черты вещей и детали (напр. «Ласточек», «Кот», «Девочке»), но все предметы у него накануне развоплощения и полного одухотворения — это всегда ослабляет силу стиха. Пусть юный Мандельштам говорил: «и слово в музыку вернись»... его поэзия оставалась плотной, не только слышимой, но и осозаемой. У Терапиано другой путь, другой, очень неблагодарный, творческий труд, т. к. в поэзии, вообще в искусстве, всегда будет более восхищать Афродита земная. У ней, по крайней мере на земле, больше прелести, чем у Афродиты небесной. Не погрешая против слова формально, Терапиано слишком небесен, беспристрастен. Все поэты имеют отношение к тому, что обычно называют вечностью, но они волнуют, заражают нас, когда могут сказать о жизни вместе с Пушкиным: «ее ничтожность разумею, но все же к ней привязан я...». У Терапиано никогда не будет много читателей, но зато будут немногие друзья его слишком одухотворенной поэзии.

**Е. ЩЕРБАКОВ.** Свет и камень. Изд-во Рифма. Париж. 1951.

Щербаков часто пользуется чужими поэтическими идиомами. Но у него есть свои мысли, есть творческая индивидуальность. Может быть даже он скорее мыслитель, а не поэт, и впоследствии окажется, что пройденная им школа стихотворства была первым этапом его творческого пути. За некоторыми его строчками чувствуется большая тема:

«Нам суждено на всей великой суще  
Затосковать последнею тоской...».

**Ю. Иваск.**

**НАТАЛЬЯ КОДРЯНСКАЯ.** Сказки. Париж. 1950.

Сказки Натальи Кодрянской богаты и разнообразны по содержанию и по форме. Среди них можно наметить несколько категорий; конечно, это только условно, так как элементы разных категорий присутствуют в сказке обычно одновременно. К категории первой отнесем сказки «бытовые». Это — форма, в которую облекаются большей частью и народные сказки. В них центр тяжести — передача черт вполне реального человеческого быта и человеческой психологии, воплощаемых сказочными персонажами, обычно животными. Вот, например, в сказке-отрывке «Отлет»: «— папа-заяц начал вставлять в окна зимние рамы, а мама-зайка, озабоченная и хлопотливая, принялась набивать обручи на бочку со свеже-просоленными огурцами». Большая часть сказок о зайцах и многих других «лесных зверях» в книге Кодрянской относится к этой категории. «Лесное царство», на подобие «человечества», представляет собой одно сплоченное целое. Персонажи таких «лесных» бытовых сказок очерчены Кодрянской живо и человечно: лесной кудесник, философ и сказочник еж; «серый зубарь» волк, который «всё знает», и который, как всякий делец, постоянно куда-то спешит; кокетливая рыжая лиса, тщеславная и хитрая, но ничуть не злая; медведь — всегда доброжелательный, с большим воображением, как будто, спокойный, но способный разбушеваться (очень «русский»); меланхолик грач; веселая белка; сухой, черный, с военной выпривкой, муравей... и много других. Среди них, зайчиха Марфинька и заяц Рыжик изображены с особой любовью и теплом. «Я зайка серая, мне под кустом жить, кусок неба среди веток беречь, на полянке ушами прятсти, с ветром незнамо над чем посмеяться», — говорит о себе Марфинька, отказываясь от подаренного ей богатства. Марфинька несребролюбивая, незлобивая, всегда веселая, и всем хочет добра и радости: «— столько радости и песен в мире, что двумя заячьими лапами не захватишь. Вот разве превратиться в одуванчика и понести радость по миру и рассеять ее светлыми пушинками в каждой норке, в каждой лачуге, в каждом уязвленном сердце!». А вот другой заячий характер, Рыжик младший — заячий Икар, что задумал без крыльев совершить полёт и совершил — хоть и не вверх, а вниз. Много поэзии и юмора, игры, фантазии и литературных находок — метких сравнений и неожиданных ярких образов — рассыпано в этих «бытовых» сказках.

Другой тип сказок — сказки «социальные» по теме. К ним относятся «Белый Ворон», «Король вермишелей», «Письменные принадлежности», «Театр для детей», отчасти «Заячий рай», и другие. Белый Ворон, добрый правитель, как бы «уходит в народ» — к людям, и с новым опытом возвращается в свое царство, где побеждает злую поработительницу-королеву, лишившую народ солнца и радости. Схе-

ма эта, для сказки, могла быть сухой, но у Кодрянской она играет сказочными образами. Вот, например, как изображена победа доброго короля: «Ветви синего дуба подошли к самой башне и стучали в окно. Ржал на привязи и подымался на дыбы ее (королевы) нетерпеливый алый конь. — А на третьей заре — огонь охватил башню. И всё сгорело: и королева и все ее сокровища, и колдовские черные книги, и лебяжье волшебное перо, и алый конь. — А кругом чадило: черная память о злой королеве». К этой же категории относится сказка о кротином царстве («Глаша-кротиха»), где «любить солнце смертный грех». В этих сказках элементы сатиры, — основная «социальная» схема, — переплетены со сказочными образами.

Третий тип сказок — философские и символические. Из них отметим «Деревянную палку» и «Голубую лошадку». Первая отличается почти от всех других по своему языку и построению: в ней всё логично и просто, по здравому смыслу, кроме того, что героиня — деревянная палка, пустившаяся в путешествие в поисках чего-то, о чем томилось ее деревянное сердце; после многих исканий и трудностей она становится зеленеющим деревом. Это — рассказ о духовном росте. Прелестная «Голубая лошадка» — история зеленой плюшевой собачки, которую все преследуют за то, что она зеленая, «а зеленых собачек не бывает». Добрая голубая лошадка помогла ей обрести веселость, «эту легкую дорожку души к душе», и стать признанным членом общества, всеми любимым за то, что «снимает хмурь и скуку с озабоченных и равнодушных одним взглядом» и всем хочет только счастья. «А голубая лошадка? Да такой никогда и не было. Это я ее выдумала, чтобы зеленого пёсика сделать счастливым» — заканчивает автор сказку.

Четвертую категорию сказок можно было бы назвать «сказки логики сна». К ним относятся «Ванг-ки», «Тень Луны», «Лунный конь», и другие. Сказки этой категории по форме наиболее «неправдашние», и в них, пожалуй, больше всего свободы воображению сказочника. Но в то же время они самые «трудные» — не всякий такую сказку придумает, удержавшись в рамках художественной меры (если меру эту перейти, получится гротеск). Кодрянской это удается. Характерна в этом отношении сказка о сыне портного, Ванг-ки. Отец оставил в наследство Ванг-ки волшебное зеркальце, портняжные инструменты и двух заказчиков: «один был толстый Ли, на халат которому требовалась целая штука материи, и худущий бедняк Ли-ту-и, ему на одежду довольно обрезков от халата Ли». Волшебное зеркальце и «штука материи» — мечта и реальность... Под конец, Ванг-ки находит им примирение, но вначале он целиком во власти волшебного зеркальца, он такой же «пленник стеклянного царства», как и являющаяся ему в мечтах принцесса. В «стеклянном царстве» (волшеб-

ном зеркале) всё построено по особенному, по закону отражений, который есть — «логика сна». Это — мир превращений, метаморфоз. Перед глазами Марфиньки, наслушавшейся сказок ежа, («Тень Луны») выходит из растущей у реки ромашки русалка, и хочет непременно Марфинька «на-яву» с этой пригрезившейся ей русалочкой подружиться. А как удивительно «убедительны» этот, как будто, совсем «неправданий» трехногий конь (в сказке «Лунный конь»), сожравший вместо травы новое изумрудное платье Луны, и сама Луна, превратившаяся в «курносую девчушку» в розовом бумазейном платье и клетчатом переднике.

Предисловие А. М. Ремизова является проникновенным напутствием «сказочнику-страннику».

Прекрасные иллюстрации Н. Гончаровой как нельзя больше соответствуют духу книги, в них есть удивительная «сказочная свобода», богатство фантастической россыпи, и одновременно правдивость. Формат книги, бумага, шрифт, — всё ее «художественное оформление» — безупречны.

Е. Рубисова.

ВЛАДИМИР ГЕССЕН. Герои и предатели. Нью Иорк. 1951  
(154 стр.) Printed by Rausen Bros.

После окончания последней войны, во Франции возникла большая литература, посвященная французскому *Resistance* — движению Сопротивления, ведшему подпольную и открытую борьбу с немецкими оккупантами. Многое из «сопротивленческой» литературы, как, например, талантливая книжка «Европейское воспитание» Б. Гари, в свое время имело успех. Движению Сопротивления посвящались, как воспоминания участников, так и художественные произведения (Сартр, Арагон, Триолэ, Реми и многие др.). В русской эмигрантской литературе это французское движение почти не отразилось. Этот пробел пытается восполнить книга Вл. Гессена, она почти вся посвящена темам Сопротивления, в котором автор участвовал. Но это, конечно, не воспоминания. Это очерки о Сопротивлении, сплетенные, как справедливо замечает в предисловии к этой книге М. А. Алданов, из *Wahrheit und Dichtung*.

Как явствует из заглавия, очерки рецензируемой книги посвящены и «героям» и «предателям», а иногда и «предателям-героям» и «героям-предателям», что часто случалось в темноте двойной подпольной борьбы. Желая показать нам этих рядовых людей Сопротивления, автор, к сожалению, пользуется методом *рассказа* о них, то-есть, сухо передает ту или иную историю, или судьбу. Было бы

правильней, если бы автор художественно показывал нам этих людей. Но, конечно, тогда каждый очерк мог бы развернуться в роман, повесть или пьесу.

«Я прочел очерки «в один присест» и думаю, что не меньший интерес они вызовут и у большинства читателей», говорит в своем предисловии М. А. Алданов. В особенности у читателей, добавим мы от себя, незнакомых с движением французского Сопротивления, «дух» которого автор «Героев и предателей» уловил.

Р. Г.

**Н. ВОРОНОВИЧ. Всевидящее око.** Из быта русской армии. Нью Иорк. 1951 (75 стр.).

**Н. ВОРОНОВИЧ. Русско-Японская война.** Воспоминания. Нью Иорк. 1952 (78 стр.).

Обе книги Н. Вороновича читаются с большим интересом и несомненно найдут в русской эмиграции читателя, особенно, из числа молодежи. Книга «Всевидящее око» содержит ряд прекрасно написанных очерков из быта старой царской гвардии, где автор прослужил долгое время. «Мои очерки, говорит в предисловии автор, не являются художественными произведениями. Это — моментальные снимки, в которых, быть может, мало красок, но много правды». Именно с этой подкупающей правдивостью Н. Воронович и рассказывает о быте и традициях царской гвардии, стоявшей в Петербурге; о «всевидящем оке» (по прозвищу солдат) — великом князе Николае Николаевиче, командовавшем тогда гвардией; о «празднике храбрых» (георгиевских кавалеров) с торжественным обедом для генералов и офицеров в Зимнем дворце, а для солдат — в Народном Доме, с неизменным присутствием на обедах императора Николая II-го, и о многом другом. Несмотря на скромную авторскую оговорку Н. Воронович красочно зарисовывает, как отдельных лиц (в. к. Николай Николаевич, ген. Исарлов, ген. Лопухин), так, в особенности, и «типы» гвардейских солдат-сверхсрочников. То же самое надо сказать и о «больших полотнах» этих очерков: — о полковых и эскадронных праздниках, где льется «море разливанное», в котором солдаты участвуют наравне с своими офицерами, и где гремит общая старинная песня «С краев полуночи на полдень далекий — Могучий российский орел прилетел...»; о боях в войне 1914 года и др.

Автор подчеркивает большую демократичность отношений солдат и офицеров, и даже высшего начальства, в гвардии. «С хорошиими сторонами быта старой русской армии мне хочется познакомить тех читателей, которые ничего не знают о дореволюционной жизни, или имеют о ней совершенно превратное представление. Мне хочет-

ся познакомить их с теми традициями, на которых воспитывались офицеры и солдаты нашей армии. Традиции эти были неплохи, ибо благодаря им, старые кадровые полки представляли собой крепкую и дружную семью». Приводимые Н. Вороновичем факты и описания жизни царской гвардии это вполне подтверждают. Но вряд ли, жившая в непосредственной близости ко двору, к царю, к великим князьям, рассматривавшим ее как «свою военную семью», петербургская гвардия своей жизнью и традициями могла быть типична для всей российской армии.

Из очерков, посвященных петербургской гвардии на войне 1914 года, хорош «Каушенский бой», где прекрасно обрисован «рыцарь без страха и упрека» ген. Лопухин, словно вышедший из толстовской «Войны и мира».

Вторая книжка Н. Вороновича — о Русско-Японской войне. Здесь автор рассказывает, как в начале 1904 года он «самовольно отлучился» из Пажеского корпуса и бежал на войну, чтобы участвовать в ней добровольно. И эта книга читается с таким же интересом, но тут автор касается как раз другого — «купринского», так сказать, мира старой армии и описывает совсем других людей, другие традиции и нравы. Рассказ Н. Вороновича о трагедии российской армии в Японскую войну, о ее разложении, как предвестнике надвигавшейся революции 1905 года, а за ней и 1917 года, ценен как еще один документ той эпохи. Что касается художественной стороны этих очерков, отметим, что автору очень удалось портрет своего необычайного начальника, подполковника Н. М. Иолшина, этого «бешеного сумасбродца», воплощенного «Дениса Давыдова», участника греко-турецкой, англо-бурской, испано-американской войн, участника китайского похода... русско-японская война для Иолшина была уже пятой войной, в которой он участвовал. Рассказ Н. Вороновича о его службе на передовых позициях в отряде Иолшина — лучшее место этой интересной книги.

Обе книги Н. Вороновича изданы изящно и снабжены целями фотографиями и рисунками автора.

*P. Г.*

BORIS SHUB and BERNARD QUINT. *Since Stalin: a Photo History of Our Time*. Swen Publications Co. New York. 1951 (184 pp.).

«Эпоха Сталина: история нашего времени в фотографиях» представляетя книгой исключительного интереса, не только для иностранцев, но и для русских. Ее смонтировал и написал американский журналист Борис Шуб в сотрудничестве с Б. Квент. Б. Шуб известен

## БИБЛИОГРАФИЯ

русской политической эмиграции своей, вышедшей в прошлом году, книгой «Выбор», которая была благоприятно принята русской эмигрантской печатью, без различия ее направления. Основная идея книги «Выбор» была: российский народ — первая жертва коммунистической деспотии. И как вывод для Запада: — с российским народом против Кремля.

Та же самая идея проникает и вторую книгу Шуба, при чем эту свою основную мысль автор удачно подчеркивает эпиграфом к «Эпохе Сталина», взятым из замечательной, но забытой речи теперешнего премьера Англии Винстона Черчилля о большевизме, произнесенной им еще в 1919 году. Нам думается, что каждому русскому следует знать этот отрывок из речи Черчилля и читатель, вероятно, не посетует, если мы приведем его полностью: — «Россия, как всякая великая нация, не может быть уничтожена. Или она будет продолжать жить в страданиях и своими страданиями отравлять весь мир, или она должна быть спасена... Я говорю людям не задумывающимся, говорю невеждам, простакам, обращаюсь к дельцам, говоря: — вы можете бросить Россию на произвол судьбы, но она вас не оставит в покое, ибо нельзя построить мир без России. Вы не можете наслаждаться результатами победы, благосостоянием и миром, в то время как громадная часть человечества обречена на страдания и варварство».

Это варварство эпохи Сталина, под которым живет Россия, и которое растекается по всему миру, и показывает наглядно книга Б. Шуба. Большого формата, роскошно изданная книга содержит больше 400 фотографий, подчас редких и ценных. К фотографиям автор дает пояснительный текст, разъясняющий изображаемые события.

Книга начинается с фотографий и текста, иллюстрирующих «рождение героя» в скромном Гори, в Грузии, 21 декабря 1879 года. Здесь приводится редкая фотография Сталина-ребенка. Далее дается фотографический материал и текст, иллюстрирующие жизнь былой дореволюционной России (наука, искусство, литература). Это очень ценно, ибо книга предназначена для рядового американца и англичанина, которых пропаганда «пятых колонн» давно убеждает в том, что дореволюционная Россия была «дикой, варварской страной». В этом смысле нам кажется удачным даже — невольно вызывающее у каждого русского улыбку — фотографическое изображение объявлений различных торговых фирм, взятых со страниц самого распространенного дореволюционного журнала «Нива».

Фотографии, иллюстрирующие различные этапы русского революционного движения, заканчиваются октябрьской революцией и Брест-Литовским миром, где Троцкий стоит, окруженный немецкими

## БИБЛИОГРАФИЯ

генералами. Очень хорошо отражена борьба русского народа с большевиками в гражданскую войну, а также эпоха красного террора, коллективизации, московские «процессы ведьм», «великая чистка», уничтожение верхушки Красной Армии и пр. Остроумно иллюстрировано и снабжено меткими подписями движение про-коммунистических попутчиков во всем мире, начиная с Ромэна Роллана и Бернарда Шоу до американского миллионера Ламонта и кентерберийского декана Джонсона.

- Включая в «эпоху Сталина» и тоталитарные движения в Европе, автор во множестве иллюстраций показывает гитлеризм с момента его зарождения до знаменитой «кровью спаянной» дружбы, заключенной в рукопожатии Сталина и Риббентропа. Вслед за тем помещена большая фотография, изображающая «гестапистского» и «энкаведистского» офицеров, стоящих на демаркационной линии в 1939 г., на границе территорий захваченных Гитлером и территорий, захваченных Сталиным.

Хорошо сделан отдел книги, посвященный оккупации Сталиным стран-сателлитов. Тут мы видим и маршала Рокоссовского, в качестве военного министра Польши, и Анну Паукер, и Берута, и Димитрова, но самым удачным, как по тексту, так и по фотографиям, является изображение трагической судьбы Чехословакии. История последних лет этой страны в этой книге начинается с фотографии торжественного вступления Томаса Масарика в Прагу после победоносной для союзников войны 1914-18 г.г. и кончается самоубийством Яна Масарика и смертью Бенеша. Большая фотография пражан, рабочего люда, плачущего на похоронах Бенеша, выразительно говорит о трагедии этого народа. В книге есть и процесс Давида Руссэ, и процесс В. А. Кравченко; и «прыжок» Косенкиной. В краткой рецензии нельзя передать всего богатого и умело подобранныго фото-материала, снабженного дельными комментариями автора.

Хорошо осведомленный в русских делаах автор выпуском этой книги делает большое антибольшевистское дело, наглядно и доступно каждому иностранцу (книга, вероятно, будет переведена с английского и на другие языки), разъясняя сущность коммунистической диктатуры и показывая ту пропасть, какая отделяет живую Россию и ее народ от Сталина и его партии.

Р. Г.

## **КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА**

- К. Мочульский.** Вл. Соловьев Жизнь и учение. Изд. 2-е. ИМКА-Пресс. Париж. 1951 (268 стр.).
- Православная Мысль.** Труды Православного Богословского Ин-та в Париже. Выпуск 8. ИМКА-Пресс. Париж. 1951.
- Литературный Современник.** № 2. Мюнхен. 1951.
- В. Гессен.** Герои и предатели. Нью Иорк. 1951 (154 стр.).
- Н. Воронович.** Всевидящее око. Нью Иорк. 1951 (96 стр.).
- Н. Воронович.** Русско-японская война. Воспоминания. Нью-Йорк. 1952 (78 стр.).
- Globe Trotter.** Дневник. 1899-1906 г.г. Нью Иорк. 1951 (153 стр.).
- Джемс Бернхэм.** Грядущее поражение коммунизма. Авториз. перевод Евг. Шугаева. «Посев». 1951 (172 стр.).
- З. Гиппиус-Мережковская.** Дмитрий Мережковский. Изд-во ИМКА-Пресс. Париж. 1951 (308 стр.).
- Н. Бердяев.** Царство духа и царство кесаря. Изд-во ИМКА-Пресс. Париж. 1951 (165 стр.).
- Ф. М. Достоевский.** Село Степанчиково и его обитатели. Повести и рассказы. Изд-во ИМКА-Пресс. Париж. 1951 (524 стр.).
- Ф. М. Достоевский.** Дневник писателя за 1873 год. Изд-во ИМКА-Пресс. Париж. 1951 (502 стр.).

### **От Института по Изучению Истории и Культуры СССР (Мюнхен) получены:**

- Проф. д-р П. Л. Кованьковский.** Финансы СССР во вторую мировую войну.
- П. Галин.** Как производились переписи населения в СССР.
- Б. Микорский, б. научн. сотр. Укр. Ак. Наук.** Разрушение культурно-исторических памятников в Киеве в 1934-1936 годах.
- Д-р Григор Сааруни.** Борьба Армянской церкви против большевизма.
- Материалы конференции научных работников (эмигрантов), состоявшейся в Мюнхене 11-14 января 1951 г. Вып. 1. Засед. первое.*
- Материалы конференции научных работников (эмигрантов), состоявшейся в Мюнхене 11-14 января 1951 г. Вып. VI. Секция экономики.*
- А. И. Попплюйко.** Послевоенная металлургия СССР.
- Материалы конференции научных работников (эмигрантов), состоявшейся в Мюнхене 11-14 января 1951 г. Вып. VI. Секция искусства и культуры.*

## И С П Р А В Л Е Н И Я

Мы указываем на следующие необходимые исправления в кн. 26 «Нового Журнала»:

Стр. 137, 3-ья строка снизу: читать «обернулись» вм. «обернулась».

Стр. 180, 5-ая строка снизу: читать «из Италии» вместо «с острова Капри».

Стр. 181, 9-ая строка сверху: читать «в Италии» вместо «на острове Капри».

Стр. 195, 11-ая строка снизу: читать «Костомаров» вм. «Комаров».

Стр. 198, посл. строка снизу: читать «1893 г.» вместо «1898 г.»

Стр. 206, 19-ая строка снизу: читать «социологический» вместо «социалистический».

Стр. 247, 7-ая строка сверху: читать «1918» вместо «1922».

## Д Р У З Ъ Я М - Ч И Т А Т Е Л Я М « Н О В О Г О Ж У Р Н А Л А »

Желая пойти навстречу своим подписчикам и читателям, «НОВЫЙ ЖУРНАЛ», начиная с 26-й книги, снизил продажную цену журнала с 2 дол. 75 цент. до 1 дол. 25 цент., а подписку на 4 книги до 4 дол. 50 центов.

К сожалению, такое снижение оказалось убыточным для издания, далеко не окупая себестоимости выпуска журнала. Кроме того, многие из бывших наших читателей в Европе оказались в очень тяжелом материальном положении, не имея возможности платить даже такую пониженную цену. Этим своим старым друзьям, а также многим другим ди-пи, находящимся в убежищах для престарелых и нетрудоспособных беженцев, «Новый Журнал» высылает свои издания бесплатно.

Всё это заставляет нас, начиная с 28-й книги, несколько повысить продажную цену журнала, а именно — одной книги до 2-х долларов, а при подписке на 4 книги — до 1 дол. 75 цент. (т. е. до 7 долларов за 4 книги с пересылкой).

Извещая об этом подписчиков и читателей, «НОВЫЙ ЖУРНАЛ» надеется, что друзья-читатели поймут причины, вызвавшие такое повышение, и помогут нам продолжать бесплатную высылку журнала обездоленным «забытым людям», лишенным радости пользоваться благами культурной жизни.

**«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»**

## В МЮНХЕНЕ ВЫШЕЛ № 2 ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННИК»

Содержание: **ПРОЗА:** А. Голубцов — Жизнь, волной размытая, Вяч. Завалишин — Мир под косым углом. Б. Яковлев — Рассказы. Л. Дувнинг — Я упрекаю Бога. М. Соколов — Концерт по «заявке». С. Балыков — Сильнее власти. **СТИХИ:** Ирколина, Кассима, Подгорного, Ростовского, Денисова и др. **ПЕРЕВОДЫ:** Виктор Серж — Отрывок из романа «Дело Тулаева». **ВОСПОМИНАНИЯ:** И. Иванов — И я жил в этом раю. С. Петров — Судьба поэта. **КРИТИКА:** Р. Менский — О языке. А. Гаев — Идилия по заказу. О. Анстей — Мысли о Пастернаке. А. Волков — Мейерхольд. В. Федоров — Марк Шагал. **БИБЛИОГРАФИЯ:** Рецензии Л. Ржевского и Вяч. Завалишина. А. Голубцов (некролог). Цена номера 1 дол. Выписывать можно через редакцию «Нового Журнала».

## « Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л »

### КНИГА 26-я

Содержание: **ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ:** Н. Берберова — Мыс бурь. Н. Воинов — Беспризорники. М. Добужинский — Деревня. **СТИХИ:** Ю. Джанумова, И. Елагина, Д. Кленовского, А. Неймирова, И. Чиннова. **ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:** Д. Кеннан — Америка и русское будущее. М. Карпович — Комментарии. **ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:** Ф. Степун — Москва перед первой мировой войной. Ю. Елагин — Театр имени Вахтангова. Е. Замятин — Встречи с Б. М. Кустодиевым. Н. Валентинов — Чернышевский и Ленин. М. Вишняк — Израиль. С. Васильев — «Великая железнодорожная держава». **БИБЛИОГРАФИЯ:** Н. Тимашев — Советское право в американском освещении.

**Цена книги с пересылкой** — 1 долл. 25 центов. Подписные деньги (чеками или монетой ордерами) направлять по адресу: The "New Review," 223 West 105th Street New York 25, N. Y.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1952-Й ГОД

на

## "НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией проф. М. М. КАРПОВИЧА  
ДЕСЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

В 1952-м году в отделе художественной прозы будут помещены новые произведения И. А. БУНИНА, «Повесть о смерти» М. А. АЛДАНОВА, «Древо жизни» Б. К. ЗАЙЦЕВА и др.

•

В 1952-м году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,  
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара,

в Бразилии — 30 крузейро,  
во Франции — 400 франков,  
в Германии — 4 марки.

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

“The New Review”, 223 West 105th St. New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня.

